

*НОВЫЙ
Журнал*



*THE NEW
REVIEW*

Нью-Йорк

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

Книга 36-я. Содержание: ПРОЗА: Гайто Газданов — Пилигримы. Борис Зайцев — Чехов. Галина Кузнецова — Поцелуй свиданья. Т. Петровская — Интеллигенция. СТИХИ: В. Злобина, В. Корвин-Пиотровского, С. Маковского, Н. Моршена, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, М. Толстой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов — После Бунина. А. и Т. Фесенко — Язык войны и послевоенного периода. В. Седуро — Истоки белорусского искусства. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Бердяев — Выдержки из писем к г-же Х. Ф. Степун — Россия накануне войны 1914 года. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Ранние годы Ленина. Е. Двойченко-Маркова — Американское Философское общество и Россия. Д. Анин — Перспективы и внутренние противоречия большевизма. Н. Бурназельский — Хартия вольностей. Д. Далин — Американская политика и Россия. ПАМЯТИ УШЕДШИХ: М. Вишняк — Памяти друга, С. Васильев — В. М. Зензинов, Н. Калашников — Из воспоминаний о В. М. Зензинове. БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Андреев — G. Vernadsky. The Mongol and Russia. М. Карпович — L. C. Stevens. Russian Assignment. М. Вишняк — I. Steinberg. In the Workshop of the Revolution. Ю. Денике — Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». Прот. А. Шмеман — «Православная мысль». Роман Гуль — И. Елагин «По дороге оттуда».

КНИГА 37-я. Содержание: ПРОЗА: Б. Зайцев — Чехов. П. Ершов — Нинель. В. Набоков — Другие берега. СТИХИ: В. Брюсова, Л. Алексеевой, Н. Бернера, З. Гиппиус, В. Злобина, Н. Моршена, И. Одоевцевой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Роман Гуль — Цветаева и ее проза. Н. Ульянов — Еще об историческом романе. Ю. Елагин — Мейерхольд и Коммиссаржевская. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Ф. Степун — В русской провинции. М. Вишняк — З. Н. Гиппиус в письмах. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Ленин в Симбирске. Г. Аронсон — Е. Д. Кускова. Н. Лосский — Какой идеал противопоставить коммунизму? М. Карпович — Комментарии. СОБЩЕНИЯ И ФАКТЫ: А. Давыдов — «Государственные банкиры». Подп. В. Ершов — Работа НКВД в госпиталях во время войны. БИБЛИОГРАФИЯ: Г. Струве — Чехов в советской цензуре. Б. Гершун — Courts, Lawyers, and Trials under the last three Tzars by S. Kucherov. В. Р. The Secret History of Stalin's Crimes by A. Orlov. С. Петров — Н. Клюев. Плач о Есенине. М. Г. Э. Бок. Как я стал американцем.

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатель М. ЦЕТЛИН

Четырнадцатый год издания

**Кн.
XLII
1955**

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, September 1955.

Quarterly, No. 42.

223 West 105th St. New York 25, N. Y.

Publisher: New Review, Inc.

Subscription Price \$7. — for one year.

*Second Class Mail Privileges authorized at
New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

<i>М. Алданов</i> — Бред	5
<i>Н. Нароков</i> — «Могу»	56
<i>Е. Таубер</i> — Возвращение	86

СТИХИ:

<i>Георгий Иванов</i> — Дневник	99
<i>Л. Алексеева</i> (55, 187), <i>Горская</i> (85, 137), <i>Вл. Корвин-Питровский</i> (108), <i>Н. Моршен</i> (104).	

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<i>Роман Гуль</i> — Георгий Иванов	110
<i>М. Добужинский</i> — Историческая выставка портретов	127

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Г. Андреев</i> — Трудные дороги	138
<i>В. Марков</i> — Et ego in Arcadia	164
<i>П. Милюков</i> — Студенческие годы	188

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Е. Двойченко-Маркова</i> — Американское Философское Общество и Россия	205
<i>Прот. В. Зеньковский</i> — Черты утопизма в истории русской мысли	221
<i>М. Вишняк</i> — Пересмотр устава ООН	235
<i>Е. Юрьевский</i> — О С. Н. Прокоповиче	249
<i>М. Карпович</i> — Комментарии	267

ВИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Ф. Степун</i> — Сборник памяти С. Л. Франка. <i>Дм. Чижевский</i> — К. Мочульский. <i>Андрей Белый</i> . <i>Г. Струве</i> — Е. Замятин. <i>Лица</i> . <i>Г. Забежинский</i> — Е. Таубер. Плечо с плечом	285
--	-----

БРЕД*

XXVII

На следующий день они покинули Венецию. Рамон действительно приехал проводить их на вокзал. Привез Наташе огромную коробку конфет, был чрезвычайно любезен. Шелль весело с ним болтал. Предчувствия у него как рукой сняло еще ночью в гостинице, а особенно утром в их домике на Лидо.

— ...Главное, это здоровье! — сказал Рамон Наташе таким тоном, точно высказывал замечательную мысль. — У вас сегодня очень утомленный вид.

Этого Шелль Наташе не перевел.

До отхода поезда Рамон не остался: он торопился домой. Горячо благодарил Шелля, и было не совсем ясно, благодарит ли он его за праздник или за Эдду.

— Может быть, мы еще с вами увидимся в Берлине. Она сказала мне, что ей надо будет туда съездить, ликвидировать квартиру, взять вещи. Разумеется, я поеду с ней, — сказал он с некоторым замешательством, хотя и не скрывал своих отношений с Эддой. Шелль одобрительно кивал головой и просил кланяться.

— Какая прелестная женщина! — сказал он. — И какая бескорыстная! Представьте себе, она хотела вернуть вам эту корону! Думала, что вы ее возьмете назад! Я едва ее уверил в том, что это был ваш подарок ей. Зная ваш характер грансеньера, думаю, что я не ошибся?

* См. кн. 38, 39, 40 и 41 «Нов. Журн.».

— Разумеется! О чем тут говорить! Теперь понимаю, почему она меня за нее не поблагодарила.. Вы пользуетесь у нее большой милостью! Она мне говорила, какой вы замечательный человек. «То-то», — подумал Шелль, впрочем, не сомневавшийся, что и Эдда gentleman agreement выполнит. — Я это знал и без нее. А каков был праздник?

— Выше всяких похвал. Я уверен, мировая печать будет трубить о Празднике Красоты еще целый месяц. Вы оказали обществу огромную услугу. И всё было совершенно так, как у дождей. Но едва ли они могли тратить на праздники столько денег, сколько истратили вы. Секретарша сказала мне, что одного шампанского выпили четыре тысячи бутылок.

— Предположим, что выпили только половину, а остальное досталось секретариату и лакеям, — сказал весело Рамон. — Но это в порядке вещей. Богатый человек должен понимать, что надо при нем жить и бедным людям.

— Бедным, разумеется. Где же вы остановитесь в Берлине? Я хотел бы предложить вам гостеприимство в своем доме. У меня там есть собственный дом, — небрежно вставил Шелль, всё-же смутно надеясь, что Рамон верит в его богатство, — но моя квартира в нем недостаточно велика.

— Что вы! Есть гостиницы. Мы верно туда отправимся недели через три-четыре. «Тогда всё в порядке. Нас уже давно там не будет», — подумал Шелль. — Мы еще совершим небольшое путешествие. Я ей предлагал съездить в Париж, но она почему-то в Париж не хочет. Вероятно, полетим в Севилью. Наконец-то меня будут понимать без переводчиков.

Как водится, он сказал, что останется на вокзале до отхода поезда; как водится, Шелль ответил, что это совершенно ненужно, — зачем ему терять время, и так слишком мило с его стороны, что он приехал на вокзал. «Одной руки мало, протянем обе. Явно переходим из стадии добрых приятелей в стадию старых друзей. Если б он был русским, пришлось бы и расцеловаться», — подумал Шелль. Рамон поцеловал руку Наташе, которая, скрывая нетерпенье, ждала его ухода, еще раз пожелал здоровья и ушел к своей гондоле.

— Он сто раз говорил мне, что очень занят. Мне всегда хотелось его спросить: «Верно, крестословицы решаете?» Но он, право, милый. И не такой obvious, как я прежде думал. Не удивлюсь, если он когда-нибудь покончит с собой.

— Не говори ерунды. Он очень милый, но слава Богу, что он, наконец, уехал! Хотя нехорошо так говорить.

— Это у тебя тоже такая манера: вставишь «нехорошо так говорить» — и говоришь.

— Вовсе нет, всё ты выдумываешь, Эудженио... Скажи, как меня зовут?

— Ты не рехнулась ли?

— Меня зовут Наталья Ильинишна *Шелль*. Повтори!

— Наташка Шелль. Очень глупая Наташка Шелль, но необыкновенно милая. В мире, в этом all-hating world, порядочные люди едва ли составляют значительное большинство, однако есть люди, очень удачно прикидывающиеся порядочными. Некоторые этого даже не замечают, у других это входит в привычку, но ты...

Она смотрела на него, почти не слушая его слов, думая о чем-то своем. Потом расхохоталась.

— Вечный вздор! Я уже от тебя слышала эту цитату. Из какого она дурака?

— Из Шекспира... Так ты довольна, что ты Наташка Шелль?

— Не особенно, — сказала она. С нее тоже, непонятным образом, как рукой сняло печаль.

Поездка была необыкновенная. Собственно это была их первая поездка вдвоем. Из Неаполя в Венецию они ехали днем, в отделении вагона были и другие люди. Теперь они были одни, никто не потревожит. Кондуктор почтительно попросил отдать ему билеты, чтобы больше их не беспокоить. Всё в вагоне было кожаное, бархатное, лакированное, всё было так ярко и уютно освещено. Роскошь показалась Наташе удивительной, но теперь уже не вызывала у нее угрызений совести. На полках были только новенькие, дорогие несессеры, — Шелль в Венеции подарил ей и несессер, — остальное было сдано в багаж.

На границе чиновник вошел в купэ, сказал: «Pässe, meine Herrschaften», — в присутствии Шелля она не боялась и немцев. Они пообедали в вагон-ресторане, — Наташа в первый раз в жизни, — необыкновенная радость, хотя, по ее мнению, *надо* было жить бедно. Он, как всегда, много выпил и шутил очень весело: дразнил Наташу, тем, что мог бы жениться на богатой и очень подумывает о разводе. Она опять залилась смехом.

— «Припадок беспричинного веселья»? — спросил Шелль. Он с неприятным чувством замечал, что эти припадки, так ему нравившиеся, стали происходить с ней гораздо реже со времени их женитьбы.

— Нет, не «беспричинного»: причинного! — ответила она.

В купэ они вперегонки ели конфеты, съели чуть не половину коробки. Наташа хвалила Рамона.

— ...Ты не думай, что я его не люблю. Во-первых, я всех люблю...

— То есть, никого.

— Тебя меньше всех! А во-вторых, он хороший человек, хоть с недостатками, как мы все.

— Его беда в том, что недостатки у него немного смешные и усиливаются от его огромного богатства. Но он в самом деле недурной человек. На тысячу людей он был бы в первой сотне... Или скорее во второй. Достоинства у него отчасти от того, что ему нечего для себя желать.

Он встал, взглянул на себя в зеркало и, как всегда, остался доволен. Наташа следила за ним с ласковым любопытством. «Хорош, хорош!» — сказала она насмешливо; прежде *так* этого не сказала бы. Он усмехнулся и достал из несессера книгу Тургенева. «Мосье надоело со мной разговаривать», — благодушно подумала она. Открыла книгу, но не читала. Они больше почти и не разговаривали, только сидели рядом, изредка брали друг друга за руку, хотя оба были в перчатках, — Наташа уже не в прежних *suedé*. С внезапным, страшным — точно случилось несчастье — шумом, с адской быстротой, еле успев сверкнуть огнями, проносился встречный поезд, Наташа

испуганно вскрикивала. Шелль, смеясь, целовал ее. Подобного ощущения полного счастья она не испытывала с вечера тарантеллы на Капри.

Остановились они в берлинской квартире Шелля. Мебель очень понравилась Наташе. Кабинет и спальная напоминали ей комнаты в фильмах, в которых изображалась жизнь передовых людей с непонятно откуда взявшимися большими средствами.

— Это немецкое *sophisticated*, то-есть нечто еще худшее, чем *sophisticated*-просто. Не могу понять, зачем я купил такую. Верно я тогда «всякую моду подражал», как говорит у Островского купец.

— А мне, напротив, ужасно нравится! — возражала Наташа и высказывала соображения о том, как можно будет расставить эту мебель на Лидо, в их домике (никогда не говорила «вилла»).

— Спальная здесь только одна, — сказала она нерешительно и покраснела. — Кровать широкая, но, если хочешь, я буду спать в кабинете, на диване, он очень удобный...

— Какой вздор!.. Знаешь, ты еще похорошела. Ты теперь похожа на даму бубен.

Его виолончель привела ее в восторг. Она умоляла его поиграть, он отказался, и лицо его дернулось.

— Больше играть не буду, закаялся.

— Отчего «закаялся»?

— Так. Надо будет ее продать. Я когда-то заплатил за нее большие деньги. Говорят, она принадлежала самому Ромбергу.

— Верно ты после выигрыша купил? — спросила Наташа. Она имени Ромберга не знала. И чтобы не притворяться, будто знает, тотчас спросила: — Кто это Ромберг? Какой-нибудь знаменитый виолончелист?

— Да, после выигрыша купил, — сказал Шелль неохотно. Он купил виолончель после одного из самых тяжелых своих дел.

— И сколько у тебя нот! «Streghe» Паганини... Ведь он был скрипач, а не виолончелист.

— Был гениальный скрипач, но скрипку терпеть не мог. Предпочитал ей гитару! Он и на виолончели играл. Станный и страшный был человек, авантюрист и, говорят, убийца.

— Ты за всем следишь, всё знаешь!

— Всё, что происходило и происходит в мире, и даже гораздо больше.

— А это что? Ноты написаны твоей рукой! «Presto»..., «Animato»... — прочла Наташа. — Неужели ты пишешь музыку! И никогда, ни разу мне не говорил!

— Да нет, я ее переписал. Это «Тарантелла» Шопена.

— «Тарантелла»!

— Не та, которая была на Капри. Ритм, конечно, тот же, но это другая. Та верно была местного производства. Есть, кажется, три известные тарантеллы: Шопена, Мендельсона и Чайковского. Все три очень хороши. Я переписал для виолончели Шопеновскую, которую Шуман называл безумной.

— Даже ее не сыграешь для меня?

— Ни за что!

— Как хочешь. Ужасно жаль, — сказала Наташа, удивленная его словами и изменившимся выражением его лица.

Он скоро отлучился, надо было зайти на почту, достать через агентство уборщицу, Aufwartefrau. Наташа возражала:

— Я всё отлично могу делать сама, всего две комнаты, часа на два работы в день.

Оставшись одна, она опять всё осмотрела уже гораздо внимательнее, хозяйским глазом. «Странно, что на стенах нет ни одной фотографии. Неужели у него нет близких людей?.. Какая огромная ванная!» — Попробовала воду из горячего крана, через полминуты пошел кипяток. «Как хорошо! Сейчас и выкупаюсь». В большом стенном шкафчике была аптека. Там оказались десятки бутылочек, пузырьков, коробочек. «Это у моего геркулеса-то! У меня ничего, кроме аспирина, нет». К удивлению Наташи, в аптеке было пять или шесть снотворных.

Нашла она и несколько колод карт. Разыскала даму бубен.

Они посещали театры и кинематографы, обедали в лучших ресторанах; Шелль сыпал деньгами еще больше, чем прежде. Он был в хорошем настроении духа. Берлин возбуждал в нем тягостные воспоминания, но это было прошлое, — больше никаких полковников. Всё же он, без особой необходимости, побывал в восточной части города. Настроение там показалось ему не совсем таким, какое было прежде. «Еще, пожалуй, готовятся «события». Тогда надо ускорить отъезд. Ненавижу «события» больше всего на свете: довольно их с меня!» Вернулся он с облегчением и сам недоумевал, как мог туда отправиться. «Риска очень мало, но при Наташе я и права не имел идти хотя бы на небольшой риск».

Теперь он жил именно, как «рантье», уже без всяких занятий. Каждый день покупал «Фигаро», «Манчестер Гардиан», немецкие газеты, но не очень их читал. О воспоминаниях больше не думал. «Разве я могу рассказать о своей жизни всю правду? Автобиографии — самый лживый и довольно бесстыдный род литературы. Но «перейти в потомство» хочется. Разумеется, в выигрышной позе. Найти позу можно бы», — лениво думал он. — «И слава Богу, что никого не видим, что не надо говорить о войне, о намереньях Кремля, о сенаторе Мак-Карти».

Никак не скучала и Наташа. Ей нужно было сделать выписки в библиотеках. Работа заняла не очень много времени. На этом берлинские дела Наташи заканчивались. Она побывала в своем пансионе, с застенчивой гордостью сообщила, что вышла замуж, хозяйка любезно ее поздравила. Наташа перевезла свои вещи и размещала их с улыбкой: так они тут выделялись. Расставила свои книги на полках с книгами мужа, которые еще в первый день рассматривала с любопытством. На средней полке теперь заметила большой, страниц в тысячу, справочник по медицине. Оставшись одна, она долго просматривала эту книгу. Не знала, на каком месяце появляются первые признаки беременности. Пойти к доктору или к акушерке ей было неловко. Ничего не нашла.

Книг у Шелля было больше, чем места для них, кое-что

лежало, к его неудовольствию, поверх равных по росту томов. Когда Наташа вдвигала туго входивший справочник, упала объемистая папка, и на пол вывалились гравюры. «Ничего, сейчас всё подберу», — подумала она. Гравюры были старинные и хорошие. Первой была «Embarquement pour Cythère». «Эту картину я знаю, это Ватто, знаменитый». Наташа стала просматривать другие гравюры. На большинстве была неизвестная ей подпись: Бодуэн. Она их откладывала в папку, изнанкой вверх. Неприятное чувство у нее всё росло. Все гравюры были очень легкомысленного содержания; строгий человек мог бы даже назвать их порнографическими. «Неожиданно! Должно быть, он собирал их давно, когда был очень молод... Он просто любит искусство. Странно, что собирал только такие. Верно, этот Бодуэн тоже известный, я так мало знаю»... Почему-то, хотя связи не было никакой, Наташа снова вспомнила о листке с цифрами. Она поспешно положила папку на прежнее место.

В контору по перевозке вещей они отправились вместе. Контора взялась перевезти всё в Венецию очень скоро.

— Но как мы будем жить здесь, когда вещи от нас увезут, а там их еще не будет? — спросила она по дороге домой. — Придется переехать в гостиницу?

— В Берлине не стоит переезжать. Лучше будем их ждать в Италии.

— В Венеции?

— Что ж всё Венеция и Венеция? И я не так жажду опять увидеть дон Пантелеймона, — ответил Шелль. Наташа вздохнула свободнее. — Ты еще ведь не видела Рима. Поедем в Рим. А когда вещи будут доставлены, тотчас отправимся на Лидо.

— Отличная мысль! Отличная... Мне везде с тобой хорошо, но всего приятнее будет в нашем домике, после окончательного устройства. Боюсь только, еще кое-что придется купить. У нас постельного белья очень мало. Ничего, что я куплю? Мышка в норку тащит корку.

-- Ничего, только хорошую корку тащи, дорогую.

— Всё дорогую, дорогую! Что мы за герцоги! А заживем мы отлично! Ты этого не думаешь?

— Думаю и даже уверен, — ответил Шелль.

Всё же, вернувшись домой, он вздохнул. «Неужто жалко бросать эту квартиру? Много было здесь пережито. С ней уйдет большая полоса жизни. Скверная, но большая. Всё-таки никаких несчастий не было, пока я здесь жил», — думал он. Это имело для него значение. — «Но я в ней ни к чему не приложился. Главное для человека — приложиться к чему-нибудь, к семье, к службе, к карьере. Теперь приложился и слава Богу... Вся моя жизнь была бред, с Ололеукви или без Ололеукви, всё бред. И то, что в мире происходит, тоже бред, как только они не замечают? И какой скучный!».

У него в уме скользнули князь Меттерних, вино Иоганнисбергер, папиросы Честерфильд. Довольно долго не понимал, в чем дело. «Ах, да, первый разговор с полковником, он тут сидел. Важный был разговор, я чуть из-за него не отправился на тот свет. Папиросочница с дактилографическими отпечатками... «Тшорт!..» Да, хорошо, что это навсегда кончилось. Теперь тихая пристань, никакая беда и не подкрадется». Он постучал по дереву.

По желанию Наташи, они в этот вечер отправились обедать в Груневальд, в *тот самый* ресторан. Наташа, очень взволнованная, хотела было занять и *тот самый* столик, — хорошо его помнила, — но он был занят; это было ей неприятно: *их* столик заняли чужие люди. Победали на террасе, заказали те же блюда, то же вино, — помнила всё. Сидели часов до десяти. На столиках давно зажгли лампочки с цветными абажурами. От этого на террасе стало уютно; но вечер был довольно холодный, подул ветер.

— Ты не простудишься? — спрашивал он.

— Никогда в жизни! — слишком горячо, несоответственно вопросу, отвечала она, точно при нем, под его защитой, и простудиться было невозможно. На обратном пути она стала чихать. Очень этого стыдилась: насморк!

Ночью она закашлялась. Подавляла кашель, чтобы не разбудить мужа, но он проснулся. Наташа рассыпалась в извинениях.

— Помешала тебе спать! Хочешь, я сейчас перейду в кабинет?.. И ведь три месяца ни разу не кашлянула! Надо же было теперь!

— Ведь так у тебя уже бывало и прежде? — тревожно спрашивал он.

— Нет, *так* нет... Да, бывало... Конечно, бывало, — говорила она, кашляя и стараясь незаметно смахнуть слезы.

Больше в эту ночь оба не спали. Под утро у нее оказался жар. Шелль вызвал того профессора, к которому заставил ее пойти осенью. Наташа умоляла не звать врача, а уж если звать, то какого-нибудь дешевого из их квартала.

— Лучше бы просто купить чего-нибудь в аптеке. Ведь это совершенный пустяк. Самая простая простуда.

Профессор нашел нужным впрыснуть пенициллин. Он успокоил Наташу, старательно делавшую вид, будто она несколько не волнуется. Но в кабинете, в разговоре вполголоса с Шеллем, профессор не скрыл, что левое легкое у больной не в очень хорошем состоянии.

— Конечно, пройдет. Всѣ же больной не следовало бы оставаться в Берлине. Вы имеете возможность уехать?

— Когда угодно и куда угодно.

— Вот через неделю и уезжайте.

На беду Наташа оказалась аллергичной к пенициллину, и ей вечером стало хуже. Профессор приехал снова, отменил прежнее лечение, назначил новое и опять посоветовал уехать, уже более настойчиво.

— У нас есть вилла около Венеции, на Лидо. Можно туда?

Профессор поморщился.

— Море, каналы, — сказал он нехотя. — Нет, я вам советовал бы сначала пожить в горах. В хорошей санатории.

— В Давосе? — изменившись в лице, спросил Шелль.

— Зачем непременно в Давосе? Туберкулеза пока нет.

— Наверное нет, профессор?

— Наверное. Есть только опасность, что он может появиться. Анализы всё покажут. Не скрою, состояние больной стало хуже, чем было осенью. Но опасности я не вижу. У нее очень усталый организм. Вероятно, жизнь была нелегкая?

— Да, нелегкая! Она в шестнадцать лет оказалась *военнопленной!* — сказал Шелль. Он вспомнил о подземном заводе, и глаза у него вдруг стали бешеные. Профессор на него взглянул и смущенно, ни о чем больше не спрашивая, простился.

XXIX

Были сняты две комнаты в швейцарских горах, в санатории, который бодро называл себя домом отдыха. Врач осмотрел Наташу, проделал все исследования и подтвердил диагноз берлинского профессора: туберкулеза нет, есть только склонность к нему, очень ослабел организм, задето левое легкое. Страшных слов, вроде «каверны», сказано не было. Лечение заключалось в отдыхе, чистом горном воздухе, усиленном питании. Наташе было велено проводить большую часть дня в лежачем положении, либо в большом саду дома, либо на сложно устроенной солнечной террасе. «Что ж, это не так трудно. Часть дня и он будет сидеть со мной, будем читать рядом», — думала Наташа. Еще в Берлине ей приходило в голову, что верно она недолговечна. «Может быть, и жизнь так люблю из-за болезни: это у всех чахоточных, вот как румянец. Конечно, лучше, несравненно лучше было бы в нашем домике на Лидо, но что ж делать, и тут можно жить».

Вещи Наташа разложила в первый же день, начала вязать и, как всегда, работа в ее руках кипела. На террасе, когда по близости никого не было, вполголоса пела «Бублички» или «Уймитесь, волнения страсти» и пела лучше оттого, что он хвалил. Шелль хотел сказать, что ей петь вредно, но не

решился. Скоро она приобрела общие симпатии в доме отдыха.

— Ты любишь людей, это редкая черта даже у добрых, — сказал ей Шелль.

— Вовсе не редкая. И мне всех ужасно жалко. Ведь все будут болеть и умрут. Я и книги люблю, и вязанье. Твой pull-over — я правильно говорю: pull-over? — скоро будет готов.

— Правда? Мне он очень пригодится, я так тебе благодарен. Отлично проведем с вами тут лето, Наталья Ильинишна!

— Отлично!

— Вот только есть одно английское выражение: «положить все яйца в одну корзину». Мы с тобой допустили такую неосторожность. Что ты будешь делать, если я вдруг умру, «после непродолжительной, но тяжелой болезни»? Удивительны эти вечные штампы: уж если человек умер, то, казалось бы, ясно, что болезнь была «тяжкая»... А вот я люблю другой штамп: «Приказал долго жить». Выражение хорошее, хотя и странное: умирающий человек едва ли уж так желает долголетия всем другим... Да, смерть... Обычно неизлечимое горе для одного из остающихся, и лишняя *congruë* для всех других: ну, надо выражать сочувствие, ехать на панихиду, на похороны... Прости, что вообще говорю о таких вещах, но я настолько старше тебя. Кто-то, кажется, сказал, что до сорока лет человек живет на проценты от капитала здоровья, а после сорока на капитал.

— Ради Бога, не говори! — Наташа невольно подумала, что такой богатырь, как он, мог бы этого не говорить, особенно ей. — Во всяком случае, не ты первый... Я тоже умирать не собираюсь, но если б моя болезнь стала опасной, то мне всё-таки хотелось бы переехать в наш домик. Я у Гоголя читала, что умирать надо в Италии: в Риме человек целой верстой ближе к Богу. Во всяком случае не здесь.

— Какую ты чушь несешь! — сказал он. Лицо у него дернулось. — Мы переедем в Италию не для того чтобы уми-

рать! Стыдно слушать! У тебя «пахондрия», как говорит у Островского Домна Пантелеевна.

— Да ведь я сказала так, на всякий случай. Извини меня, больше не буду. Я знаю, что выздоровлю. Ах, если б только он ясно сказал, сколько именно надо будет прожить в санатории!

— В доме отдыха. Он мне говорил. Правда, тут наши интересы расходятся с их интересами, — сказал Шелль весело. Он теперь обычно говорил с ней очень веселым тоном, и именно это ее немного пугало. — Мы ведь самые лучшие клиенты, им хочется, чтобы мы оставались подольше.

— Но как ты думаешь? Сколько времени мы здесь пробудем?

— Июнь, июль и август, — уверенно ответил он. — В эти месяцы жизнь в горах очень приятна, а в Италии слишком жарко. Осенью же переедем к себе. Будет *чемерица*. Это, кажется, вреднейшая штука, но всё-таки приятно: *своя* чемерица.

— Что? Ах, да, — с радостной улыбкой вспомнила Наташа. — Дай-то Бог! Но как я осложнила твою жизнь! Прямо ее испортила!

— Верно как раз обратное! Ты спасла меня! — сказал Шелль искренно. Наташа вопросительно на него смотрела. — Без тебя я просто не знал бы, что с собой делать. И верно проиграл бы в карты всё что имею. Я ведь говорил тебе, что игра была моей страстью.

— Ты говорил, но я не знала, что ты играл так крупно.

— Увы, играл. Кинжал в грудь по самую рукоятку! А больше верно никогда карт в руки не возьму. С Рамоном я баловался, да и то редко. Если б я играл с ним по настоящему, мы были бы теперь много богаче!

«Это правда!» — подумала Наташа с облегчением. — «Ведь он говорил, что Рамон совершенно не умеет играть... Но теперь, *что бы там ни было*, я, кажется, всё бы ему простила!» — сказала она себе, с ужасом вспомнив те свои неяс-

ные чувства на представлении марионеток. — «И никогда больше об этом и не думать, никогда!»

— Каких денег тебе будет стоить этот дом отдыха! А я ничего не зарабатываю...

— Я уже тебе не раз говорил, что мне было бы неприятно, если бы ты зарабатывала. Это было бы неестественно. Вот как если бы в балете не танцор поднимал танцовщицу на вытянутой вверх руке, а она его.

— Я не могла бы поднять тебя на вытянутой руке, — сказала Наташа, засмеявшись. — Но в нашем домике мы жили бы совсем дешево. Я, конечно, сама буду стирать. Мне еще у нас в России говорили, что никто не умеет варить борщ по-малороссийски так, как я. Ты любишь борщ по-малороссийски?

— Обожаю.

— Буду его тебе готовить. Но когда еще это будет? Я думала, что мы с июня совсем устроимся у себя, прочно, надолго.

— Ну, а выйдет только с сентября. Беда невелика. И раз навсегда разделаешься с процессом в легком.

— Ты вправду так думаешь?

— Не я так «думаю», а врачи это утверждают категорически.

— Дай-то Бог! Впрочем, я сама так думаю. Скоро буду так крепка, что просто хоть бычка танцуй!

— Какого бычка? — спросил он, бледнея.

— Разве ты не помнишь? Я тебе на третий день после нашего знакомства читала стихи Державина.

— Какие стихи?

— Неужели не помнишь? «Зрел ли ты, певец тиисский, — Как в лугу весной бычка — Пляшут девушки российски — Под свирелью пастушка? — Как, склонясь главами, ходят, — Башмачками в лад стучат, — Тихо руки, взор поводят — И плечами говорят»...

— Да, да, помню, — перебил ее Шелль.

— А пока что плати этим врачам каждую неделю боль-

шие деньги! Они ведь верно за всё считают отдельно, за каждое исследование!

— «Богатый человек, сознающий свои обязанности перед обществом, не должен жалеть денег». Это любимая фраза дона Пантелеймона. По-испански она звучит еще глупее, чем по-русски... Не тревожься и об этом, денег у нас достаточно.

Теперь Шелль был особенно рад тому, что имел состояние. «Хорош бы я сейчас был без денег!» Он снял в доме две лучшие комнаты, купил Наташе в Цюрихе очень дорогой радио-аппарат с граммофоном, выписал из Парижа много русских пластинок и русских книг. При доме отдыха была недурная библиотека, но он запретил Наташе пользоваться ею:

— В этот дом отдыха чахоточных не принимают. Ты видела, на террасе ни у кого нет бумажных мешечков. Но всё-таки больные могут быть, и мы еще заразились бы: книги не посуда, их не моют. Скоро придут кучи книг, я выписал для тебя множество советских романов. И о доярках, и о начальниках станции, и о директорах заводов.

— Почему же не писать и о доярках?

— Я решительно ничего не имею против доярок. Только и о них там всё врут. А особенно почему-то о директорах заводов. Об этих товарищах уж ни одного слова правды.

— Не говори: «товарищах». Там точно такие же люди, как везде.

— Боюсь, уже не «точно такие же».

— Вот ведь меня ты любишь! А я такая же, как они.

— Нет, ты белая ворона, я тебе это сто раз говорил, ты таинственное чудо неизвестного происхождения, как летающее блюдечко. Ну, хорошо, беру свои слова обратно. И я тебе нисколько не мешаю читать о товарище Федюхе, читай сколько угодно... А на Лидо мы и знакомых найдем, в Венеции есть русские. Ты очень мила в обществе.

— Прямо княгиня Буйтур-Хвалынцева. Какие там знакомые, мне они и не нужны. Я буду работать. Видишь, уже всё разложила на столе. Но что будешь делать целый день ты?

— Скучать никак не буду. Я и себе купил много рома-

нов, английских, американских, французских. Чуть не полное собрание Сименона.

— Это детективные романы? Право, уж тогда лучше читай советские. А книги эмигрантов ты тоже выписал?

— Выписал, кажется, всё что есть. Да есть не очень много. Они ведь все умерли, Чан-Кай-Шеки без Формозы.

— Вовсе не все! Я и их читаю охотно. Лишь бы было русское! Французский язык я знаю очень плохо и просто не представляю себе, как я стала бы читать немецкий роман! Ученые книги это другое дело.

Иногда по вечерам он читал ей вслух. Тургенева читать решительно отказался; к огорчению Наташи, не любил этого писателя. Но среди ее книг нашелся томик театральных пьес Чехова. Их Шелль читал охотно.

— Лучшая пьеса в русской литературе, по-моему, «Плоды Просвещения», особенно первые два действия, — говорил он. — Затем «Ревизор» и одна тонкая, прекрасная пьеса Островского «Не всё коту масляница». А уж после этого идут Чеховские драмы. Они хороши, особенно «Дядя Ваня». Чехов создал «новый жанр», но эффекты дешевые, такие же милые старые няни, такие же гитары и бубенчики, как в старых пьесах, такие же элементарные люди с «нет, вы подумайте» или с «двадцатью двумя несчастьями». Их верно легко писать, и они кажутся живыми именно потому, что пишутся двумя-тремя мазками не очень хорошей краски. А эти чуткие, нежные Сони, Ани, Ирины, Саши. А передовой добродетельный студент Трофимов, — он кстати точное повторение передового добродетельного студента Мелузова из «Талантов и поклонников». Никогда таких студентов и не было. И какие провалы: «Проснулся во мне прежний Иванов!» Или Ирина говорит о самой себе: «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян!» А тотчас после убийства ее жениха она начинает что-то болтать о страданиях людей, о каких-то тайнах, о зиме, об осени, о труде. Этим вздором в дореволюционной России всего больше и восхищались, да еще офицерами и не-офицерами, будто бы мечтавшими о том, что будет «через

двести триста лет». Этому придавалось «общественное значение», вроде как обличению взяточников и купцов-самодуров в пьесах Островского. «Небо в алмазах» тоже было взятой критиком, брошенной им костью: «жрите». В «Скучной истории» профессор видит главную свою беду в том, что каждая мысль, каждое чувство живут в нем особняком и что нет у него общей идеи, — «а если нет этого, то, значит, нет и ничего». То есть, будь он либералом, марксистом или народником, то всё было бы в совершенном порядке, история «скучной» не была бы! Критика, разумеется, общественную кость с аппетитом и сожрала. Что ж, теперь у прохвостов в Кремле есть общая идея, кушайте на здоровье... Большой, большой был писатель Чехов. Конечно, он самый правдивый писатель после Толстого, но его мысли... И вышло всё совершенно наоборот. Ах, Боже мой! Неужто он жил на капитал этих дешевеньких, скучных идей!

— То есть, они были не оригинальные? А зачем непременно нужна оригинальность? Главное, чтобы мысль была хорошая, добрая... Вот у них у всех, у Толстого, у Тургенева, у Чехова, есть и жестокое, но преобладает доброе. Притом надо же делать поправку на его время.

— «Поправку на его время»! Отличное было время. И никто не «вопил»... Терпеть кстати не могу это слово, так оно мне надоело в романах Достоевского. Чеховские герои не «вопили», они «тихо грустили», что нет настоящей жизни. А я не знаю что отдал бы, чтобы жить в *их* время. С жиру они бесились.

— Да, было тихо, спокойно. Мне было бы хорошо. Но... но разве ты так мог бы жить? Ты никогда не мечтал о бурях? — Он поморщился. — Я глупо выразилась, я хотела сказать: ты никогда не мечтал о славе?

— Нет, не очень мечтал, — ответил он хмуро, почти сердито, как никогда с Наташей не говорил. — Не люблю неоновое свечение, он верно и жить мешает. Дай Бог тебе прославиться, ты ведь стала писать и здесь.

— Ради Бога, не говори так. Какое там «прославиться»!

Умоляю тебя, не шути!.. Вот ты Тургенева не любишь, а он сказал: «Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти?» Да, сколько он таких семян оставил! Я — никто, но даже я, быть может, оставлю одно. В тебе... Если я умру, вспоминай меня...

Он хотел было пошутить, но почувствовал, что может и заплакать.

Она действительно снова начала работу над диссертацией и была очень довольна. Кашляла уже меньше. Гулять ей не рекомендовалось. Шелль гулял один. Говорил, что был в молодости альпинистом, часто ходил над пропастями по тропинкам шириной в аршин, у которых были надписи: «Nur für Schwindelfreie», — она этого без ужаса не могла себе и представить. Взяла с него слово, что он по таким тропинкам гулять не будет. Ему и не очень хотелось: чувствовал, что устал, отяжелел, для альпинизма не годится. Большую часть дня он проводил дома. Свои снадобья окончательно бросил: для новой жизни они не годились и были не нужны. Читал романы или слушал музыку. Граммофон был с автоматически передвигающимися пластинками. Особенно часто он слушал «Патетическую симфонию», хотя Наташа ее боялась и не любила.

«Беспричинное веселье» на нее находило и в санатории. Тогда она становилась особенно мила. Шелль любил ее остроумие, простое, без всяких mots, полное благодушного юмора. Он смеялся, и от этого ее веселье еще увеличивалось.

Всё же мысль, что ему с ней скучно, преследовала Наташу. Недели через две она придумала для него развлечение:

— Вот что, наши вещи уже в Венеции. Теперь их надо перевезти в наш домик, — сказала она ему. — Съезди туда на несколько дней и сделай всё это. А то еще на вокзале начальство продаст!

— Ничего не продаст. Всё найдем в полной сохранности.

— Да хотя бы и не продало, но если ты всё перевезешь, расставишь, приведешь в порядок, то у меня в сентябре будет

гораздо меньше работы. Заодно и немного развлечешься. Где-то теперь твой дон Пантелеймон и его догаресса! — сказала Наташа по не совсем ей ясной и не совсем приятной связи мыслей. — А меня ты теперь отлично можешь оставить одну хотя бы на целую неделю. Я чувствую себя отлично. Даже скучать буду не очень: моя работа идет.

В первый раз Шелль не согласился. Она заговорила во второй, в третий. Он загадал: вышло — ехать.

— Так всегда! Женщины делают с нами что хотят. Верно с самим Наполеоном делали. Он, кажется, говорил, что в любви есть только одна победа: бегство.

— Вот ты можешь и воспользоваться случаем: уедешь и не вернешься, а?

— Это очень может быть. Но не бойся, я тогда заплачу из Венеции по счету в этом доме отдыха: я джентльмен.

— Кстати, надо было бы устроиться так, чтобы не платить за твою комнату, пока ты будешь там. Ты думаешь, они согласятся?

— Согласятся, — ответил он холоднее. Теперь, когда деньги были, Наташа еще больше раздражала его своей бережливостью.

— Ты поговорил бы с директором.

— На что похоже это облако? — перебил ее Шелль, по смутным воспоминаниям из Шекспира. — По моему, на подвал Лубянки, на «Корабль Смерти».

— На что? — изумленно спросила Наташа, взглянув на небо. — Никаких подвалов Лубянки я не видела, да и ты не видел! («А вот мой брат видел!» — подумал он). И наверное, ни малейшего сходства. Так, пожалуйста, поговори с директором. Зачем тратить зря деньги?.. Я знаю, ты всегда морщишься, когда я думаю об экономии, но ведь это ради тебя: именно ты не создан для бедности. Я к ней привыкла. Иногда почти жалею о ней.

— Знаю, знаю, «голенький ох, а за голеньким Бог», — сказал Шелль. — Нет, я не желаю быть голеньким, спасибо.

О комнате он с директором не поговорил, зато взял с не-

го и с врача слово, что они будут особенно внимательно следить за его женой. Попросил даже об этом кое-кого из новых знакомых по столовой. Все с радостью обещали.

В Венеции он еще с вокзала позвонил в гостиницу Эдды, не сказал своего имени, узнав, что она уехала в Берлин, вздохнул с облегчением: Эдда ему стала так же противна, как Джиму. Он иногда почти с досадой думал, что, благодаря ему, она теперь богата.

Остановился он в той же гостинице. Его встретили с почетом. Управляющий, смеясь, рассказывал о Рамоне. Приглашенные на праздник красоты остались довольны. Он потратил большие деньги и на подарки.

— Кажется, есть такая восточная поговорка: «Человек уносит с собой в могилу только то, что раздарил при жизни», — сказал управляющий, часто разговаривавший в своей гостинице с писателями. — Тогда ваш друг унесет в могилу много.

— Очень этому рад, хотя он не мой друг, — ответил Шелль и автоматически занес в память «для мемуаров». Он сам часть своей сомнительной эрудиции приобрел таким же способом, как управляющий. «А *всё-таки* он человек не пошлый и почти не смешной, Рамон, скорее уж трагический, хоть не очень», — подумал он.

Работы в домике оказалось немало. Три дня он с рабочими расставлял вещи и книги, вбивал гвозди, кое-что чинил: любил и умел *bricoler*. При этом сам удивлялся, сколько у него оказалось хлама. Много выбросил, даже картины не все повесил, — кое-что надоело или перестало нравиться: «Как только я мог купить такую дрянь! И статуэтки дрянь, хотя будто бы и «подлинные». Чорт с ними». Еще больше оказалось совершенно ненужных ему книг. Было многотомное издание «Воспоминаний и писем» князя Меттерниха, — «опять Меттерних!» Ни один том разрезан не был. «Когда же я это купил и зачем? Придется отдать в переплет, не разрезывать же самому. Может быть, и загляну». Поставил на ту полку, на ко-

торой им полагалось стоять по формату. Библиотеку в порядок не приводил, — «когда-нибудь позднее, а до того пусть постоит так. Работы было бы на неделю». Нашелся огромный конверт с фотографиями женщин, которые его любили. Он пересмотрел и не без удовлетворения подумал, что теперь совершенно к этим женщинам равнодушен. — «Даже почти никогда не вспоминаю. Еще хорошо, что этот конверт не попался Наташе. Удивительно и то, что ей добрые люди до сих пор не сообщили об Эдде».

Теперь вилла, залитая июньским солнцем, была чрезвычайно уютна. Он садился в каждой комнате и выкуривал по папиросе, «чтобы ни одной комнаты не обидеть и не навлечь беды. Да, только бы она выздоровела! Неужто придется поселиться совсем в санатории? А этот домик продать, *наш домик!*» Наташа, к его удовольствию, говорила: *наш домик, наши книги, мы проголодались*, — только о деньгах всегда говорила: *твои деньги*. — «Нет, не может быть! Это для нее было бы страшным ударом. Для меня еще большим». Он чувствовал, что, если с Наташей иногда бывало и скучновато, то без нее было скучно и тяжело. Врачи не очень его успокоили относительно ее здоровья, хотя и не очень пугали. — «Да, я правду ей сказал, без нее я пропал бы совершенно. Не выдержал бы того одиночества, в котором проходила моя жизнь! А вот с ней, может, и до глубокой старости дожил бы, чего на свете не бывает! И люди говорили бы со мной восхищенно, как часто говорят с дряхлыми стариками: такой старый и еще не рассыпается! Хочу я этого или нет? Никак не хочу. Станный был бы финал для графа Сен-Жермэна. И без того вышло странно. Были в жизни разные комплексы, кончаю же я, очевидно, комплексом Филемона».

Подумал он и об Эдде, — как почти всегда, с отвращением, но теперь еще больше со стыдом. «Поступил с ней бессовестно. Правда, кое-как исправил»... Теперь Шелль, под влиянием Наташи, старался находить хорошие черты у всех. Особенно трудно было их найти у Эдды. «Сама Наташа — ангел. Полковник № 1 просто хороший человек, советский полковник

тоже недурной, хоть полоумный, есть немало привлекательных черт у Рамона; быть может, есть они даже у такого прохвоста, как я. Но у Эдды в лучшем случае, кроме ее глупости, только «смягчающие обстоятельства», ну, безвременье, беспочвенность, ужасная среда, в которой она жила чуть не с детских лет, полное отсутствие средств. Да, смягчающие обстоятельства серьезные. Скорее уж можно удивляться тому, что у нее есть какая-то даровитость, правда небольшая и чисто раздражительная. Хорошо было бы больше никогда с ней в жизни не встретиться... Да, так буду жить верно до конца дней... Но ничего *конкретного* Майков мне не посоветовал, — неожиданно подумал он, морщась от ученого слова. — «Сторониться зла», больше ничего? Маловато. Когда отказывают в милостыне, говорят: «Бог подаст»...

Без причины он остался ночевать в домике, хотя это было очень неудобно: ничего с собой не взял, ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Просто не хотелось уезжать. «Да вот себя примерю к новой жизни. Впрочем, какая же примерка, когда Наташи нет?» Он снова распределял комнаты и мебель в них. Подумал, что вместо ненужной «комнаты для друзей», устроит гостиную, впрочем, тоже ненужную. «Как же ее обставить? Кое-что здесь до отвращения «новенькое». Разве, как в старых романах из помещицкой жизни, развешать по стенам, над мебелью из *карельской березы*, пистолеты, старинные ружья, кинжалы?» — думал он с улыбкой. — «Или это в кабинете? И не поставить ли еще *станок*? Займусь токарным делом. Времени будет двадцать четыре часа в сутки... День да ночь, сутки прочь. Всё-таки другой житейской мудрости никогда не было и не будет».

Он почувствовал голод, подумал, что в этой дыре всё верно закрывается очень рано, и вышел, заботливо повернув ключ в замке, — «инстинкт нового собственника». Кофейня уже действительно закрывалась. Его, однако, пустили и дали ему холодного мяса и вина. Примеривал себя и к этой кофейне: «Вероятно, буду в ней тысячу раз». Примеривал себя также к этим безлюдным улицам, к слабо раззолоченному звездами

небу, к деревьям, облитым неярким лунным светом. «Теперь мое... *Моя* «чемерица»... Как несказанно прекрасен мир и тем более жаль, что всё неизвестно, почему и зачем!»

Дома он поколебался между креслом и кроватью Наташи. Снял туфли, аккуратно, как всегда, повесил на спинку стула пиджак, расстегнул воротник и лег, положив под голову кожаную подушку из кабинета. Почувствовал, что не заснет. Луна отсвечивалась белым пятном на полу спальни. Тишина была такая, будто не было никакой Венеции, никакой Италии, ничего: стратосфера. Вспоминал самое страшное, самое постыдное в своей страшной и постыдной жизни. «Изменилась душа? Это бывает не чаще, чем меняется пол!» — подумал он и, как с ним бывало прежде, почувствовал, что душа его пуста, пуста, совершенно пуста. Вышел в сад, — теперь это был не *его* сад, не *его* земля. «Всё чужое, а самой чужой, быть может, оказалась бы нынешняя Россия». Шелль вспомнил, что собирался с Наташей сажать здесь фруктовые деревья. «Не будем сажать», — скользнула у него мысль. Он вернулся в комнаты, испытывая близкое к ужасу чувство. «Неужто всё опять! Нет, есть зацепка».

Он развернул газету. Читал ее странно: несколько строк понимал, затем смысл исчезал, точно терялось на минуту сознание; это повторялось довольно долго. «Кажется, понемногу свихнулся от всех этих снадобий, хотя уже давно их не принимаю». Проснулся он на заре. «О таких ночах люди часто врут: «не сомкнул глаз». Часа три-четыре спал. Вернусь на первом же пароходике, в гостинице будет телеграмма от Наташи». Они условились, что писем писать друг другу не будут. «Никогда у меня не выходили любовные письма. «Я *страстно* люблю тебя». Это чистая правда, но, если я ей напишу это, то мне самому покажется, что я вру... Как странно, что мне многие слова просто действуют на нервы, особенно слова развязные. «Познакомьтесь» при представлении людей друг другу, или «Да-с, так вот какие дела», а то в советских романах: «Даешь», «буза» и сотни других, — уж лучше народная брань, обозначающаяся (чтобы никто не догадался)

точками в прежние времена, у еще не-социалистических реалистов», — беспорядочно думал Шелль. От Наташи пока пришла лишь одна телеграмма, написанная по-русски: «Pochti ne kachlaiu. Ostavaisia skolko nuzno. Tseluiu. Lublu». Он обрадовался, даже умилился, хотя русские слова, написанные латинскими буквами, да еще кое-где искаженные, звучали странно-неестественно, и хотя в последних двух было сходство с телеграммами из юмористических рассказов.

В гостинице новой телеграммы не было. Правда, они забыли условиться, сколько раз будут телеграфировать. Всё же это могло означать, что Наташе стало хуже. Не получив телеграммы и на следующий день, он выехал в Швейцарию.

Еще у дверей дома отдыха он с тревогой спросил швейцара, всё ли благополучно. — «Mais oui, Monsieur, Madame va très bien». «Ну, слава Богу!» — подумал он и почти побежал в их номер. Наташа радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. И Шелль, как ни был счастлив, подумал, что они «слились в долгом поцелуе», немного похожем на тот кинематографический долгий поцелуй, которым заканчиваются фильмы.

— ...Прибавила в весе на два фунта, даже скорее на два с половиной! И не кашляю!.. Я сейчас попрошу, чтобы нам дали наш кофе... Твой pull-over готов... Мой Эудженио, мой собственный Эудженио!.. А как наш домик?.. Бедный, ты верно очень устал!..

Вечером Наташа сидела у письменного стола и с пером в руке читала «Шестый помысел Уныния» Нила Сорского. Обычно она читала у окна в кресле и пометки делала карандашом; но теперь на столе был расставлен привезенный им ей в подарок великолепный прибор. «Твоим пером, на твоём бюваре, я и писать буду лучше!» — говорила она. Шелль, без пиджака, в pull-over'e, лежал на кушетке, задрав на спинку пододвинутого кресла свои не помещавшиеся на кушетке длинные ноги. Он опять — теперь как-то агрессивно — слушал «Патетическую симфонию» и думал о своем, о том, что «никогда не поздно», о Наташе.

«Лют сей дух и тяжчайши есть, съпряжен сушь и спспевающи духу скорбному», — читала об унынии Наташа. — «В безмолвии сушем сна рать зелне належит. Егда волны оны жестокия въстанут на душу, не мнит человек в той час избавление от сих приати когда... Яко же бо и той злолютный час не мнит человек, яко претерпеть ему в подвизе жительства благаго, но вся благаа мерзостна показывает ему враг»... «Как верно, как хорошо! Так и буду жить не поддаваясь, и не будет злолутного часа», — думала она, вспоминая о своей болезни, о подземном заводе, о гравюрах, о листочке с цифрами и отгнавая от себя эти воспоминания. — «О чем я думала? Да, что я теперь для себя ничего не могу желать и не желаю: лишь бы всё было так, как теперь, только совсем выздороветь, больше ничего. И людям, всем людям, желаю того же: чтобы никто не знал нужды, чтобы не было неизлечимо больных, чтобы никто из-под кнута не работал на подземных заводах, чтобы везде были сады и вот такие дома отдыха, книги, добрый труд и, главное, чтобы у каждого был любимый, нежно любимый человек, как у меня. Это и будет жительство благое»...

— У каждого из нас есть, конечно, сумасшедшинка. Я знаю, какая у тебя: у тебя патологическая, но не злокачественная правдивость, — сказал Шелль. Наташа оторвалась от книги, взглянула на него и восстановила мысленно его слова. «Обычный его вздор!..» Прежде не решилась бы и подумать о нем такое. — Главное в жизни: это к чему-нибудь «приложиться». Ты приложилась к отзовистам.

— Я знаю, к чему я приложилась. Ах, если б ты мог говорить не в этом тоне! Но я страшно люблю тебя, страшно! И лицо у тебя необыкновенное!

— «Чем не бесподобная партия? Чем не капидон?» — сказал Шелль и подумал, что она права: ему самому очень надоел этот тон, от которого теперь отделаться было трудно. Он продолжал слушать музыку.

«И проживем с ней до конца дней. Если не на Лидо, то хотя бы здесь, и это не так плохо», — думал он. — «Нет, всё это не так, Петр Ильич», — мысленно отвечал он Чайковско-

му. — «Через все авантюры прошел граф Сен-Жермен и попал в тихую пристань... Вы ошибаетесь, Петр Ильич, есть в жизни радости, и большие, и малые. Быть может, есть даже и счастье».

XXX.

В Берлине у Эды, как у Наташи, была только комната в пансионе. Почти все вещи она взяла с собой в Венецию. Теперь перевезла в огромный номер, снятый Рамонем в лучшей гостинице, то что у нее оставалось. Нашлась фотография Шелля в халате, с не очень пристойной надписью. Обычно она, обзаведясь новым любовником, сжигала фотографии прежнего, — приписывала этому мистическое значение. Но эту ей сжигать не хотелось: «Вдруг с ним еще не всё кончено? Вдобавок и камина нет. Не требовать же спиртовку!» Она спрятала фотографию в ящик и ключ положила в сумку.

Рамон был несколько удивлен ее предложением съездить в Берлин. — «Зачем? Скучный город». Эдда не без труда его убедила. Не очень желала отправиться туда и сама, но считала необходимым побывать у советского полковника и получить от него увольнение, окончательное, навсегда, по хорошему: слова Шелля ее напугали.

Переходить в восточную часть города ей теперь особенно не хотелось, хотя десятки тысяч людей ежедневно туда переезжали и беспрепятственно возвращались. На этот раз и времени было еще гораздо меньше, чем прежде: она покупала и заказывала всё, что только можно было купить и заказать. Счета посылались Рамону, он их оплачивал без возражений. «Как только он не боится, что подделают его подпись!» — думала Эдда, не имевшая привычки к чекам. — «Впрочем, подпись у него замысловатая, такой росчерк не легко подделать». Денег он ей не предлагал. «Если попросить, то наверное даст, но напоследок получи больше».

Сама еще не очень понимала, что означает «напоследок». Иногда нерешительно подумывала, не выйти ли за него замуж.

«Правда, он говорил, что никогда ни на ком не женится. Ну, они все это говорят! Да еще стоит ли? Есть pro, но есть и contra». «Pro» было достаточно очевидно, «contra» же были разные. Он совершенно ей не нравился, ей было с ним скучно, она хотела сохранить свободу. «Вдруг он еще пожелает увезти меня на Филиппинские острова? Ни за что не поеду так далеко, в такую глушь! Во всяком случае проживем и здесь, и в его севильском дворце. А там он должен будет отвалить сумму». Какой именно суммы требовать, Эдда тоже не знала. «Разве положиться на его щедрость, а то еще продешевлю?»

На нее в Берлине нашел припадок истерического лганья. Она рассказывала Рамону о своих сказочных успехах и похождениях. Когда ей было четырнадцать лет, ей предсказал огромное сценическое будущее сам Джон Барримор. Позднее в Риме ею чрезвычайно заинтересовался Муссолини. «Но я слышать о нем не хотела, не буду же я какой-нибудь из этих Печаччи! Я тотчас с мамой бежала из Италии, он был в отчаяньи!» Рамон слушал рассеянно и кисло.

По вечерам они ездили в дорогие притоны с элегантными и несколько загадочными названиями. — «Будем танцевать до рассвета!» — говорила она. Ей нравились эти слова, в них было нечто *удалое*. Возила его Эдда и в театры. В драме он не понимал ни слова, музыку же не так любил. Зато балетный спектакль очень ему понравился.

— Балет может спасти мир! — с силой сказал он, выходя из театра.

— Балет был дивный! — подтвердила она. — Особенно «Слава герою», где Наполеон под музыку Бетховена танцует в паре с орлом. Это очень глубоко! Но от чего ты всё спасешь мир? От коммунистов? Да ведь у них-то самый лучший балет.

— Ты не могла бы стать балериной?

— Я чудно танцую, но быть балериной не хотела бы.

— Я создал бы для тебя лучшую труппу в мире... Если мой венецианский праздник пока не имеет исторических результатов, то просто потому, что он неповторим. Красота

могучее орудие, но надо пускать его в ход часто. Балет это выход. Он мог бы показать трагедию, которую переживает мир. Коммунисты говорят, что личность ничто, а коллектив всё, так? А мы покажем обратное: коллектив ничто, личность всё! Мы покажем в балете страдания личности!

— Всё-таки балет невысокий сорт искусства, — сказала Эдда, вспомнив, что ей что-то такое говорил Шелль: «Легкая, запоминающаяся музыка, живописные декорации, пляска, голые тела, как это могло бы не завоевать мир?» — Но и об этом мы как-нибудь подумаем. «Надоел он мне, Рамон! Скучает, так пусть и скучает. Всё равно скоро его брошу», — подумала она. Как и Шелль, она почти решила, что начнет новую жизнь. «Вот только обзаведусь деньгами, и брошу их всех, и его, и полковника. Буду писать стихи и печатать на свои деньги, если этот заговор молчания будет в печати продолжаться. Не надо больше играть жизнью, а то совсем расстроится нервы... И картежника, с его остротами, мне больше не надо. Перееду куда-нибудь в Мюнхен, уж если в Париж нельзя. Устрою у себя литературный салон, буду жить, как порядочные люди».

Рамон действительно скучал. В Венеции он был занят праздником, в Берлине же были свободны двадцать четыре часа в сутки. Знакомых не было. Интервьюеры и фотографы не являлись. Газеты даже не сообщили об его приезде. Он не очень интересовался рекламой, но то, что не было никакой рекламы, было ему не совсем приятно. Вдобавок Рамон не понимал, зачем они здесь сидят: везде было скучно, всё же в Париже, а особенно в Севилье, было бы веселее. Эдда старалась ему угождать, придумывала развлечения, за обедом рассказывала анекдоты. Они еще теряли в переводе на плохой испанский язык. Попробовала она как-то рассказать и непристойный анекдот, хотя не знала по-испански нужных слов. Вышло нехорошо: Рамон вспылил и сказал, что таких анекдотов вообще не любит и что уж *дамам* они совсем непозволительны.

— Поэтессам разрешается многое из того, что другие дамы, конечно, делать не должны, — сказала смущенно Эдда.

Это соображение и ее замешательство его смягчили. Он успокоился и даже попросил извинить его горячность.

— Ты не должна протитуировать такими словами твою личность! — сказал он значительно. У Эдды тотчас на лице появилось такое выражение, какое должно быть у членов парламента, покрикивающих «Hear, hear» во время речи главы партии. — Вот что! Напиши балет на тему «Советская революция». Я найму самых знаменитых артистов и буду возить его по всему миру! Покажем неслыханную историческую трагедию.

— Я никогда не писала либретто, да еще для балета, — ответила Эдда. Его предложение показалось ей несколько обидным, но интересным. «Говорят, авторы получают двенадцать процентов валового сбора».

— Я плохо знаю, что собственно ты пишешь. Прочти мне что-нибудь твое.

— Охотно, — ответила Эдда с радостью. Она любила читать стихи, читала всем своим любовникам. Тотчас принесла записную книжку.

— Стихи, впрочем, не совсем мои. Я в Париже на набережной купила книгу одной старой поэтессы. Заинтересовалась эпиграфом из Гёте: «*Liebe sey von allen Dingen — Unser Thema, wenn wir Singen*», «пусть темой наших песен будет любовь». Поэтесса была неважная, мне всё пришлось исправить, так что собственно можно сказать, что это мое. Я тебе потом переведу, а ты в моем чтении оценишь музыку, ритм, напев, — сказала Эдда. Читала она так, как читают плохие актеры: тщательно скрывая рифму, прилагая все усилия к тому, чтобы стихи казались прозой, но иногда вдруг без причины повышая голос до восторженного крика и так же внезапно и беспричинно возвращаясь к обыкновенному тону:

*La trompette a sonné. Des tombes entr'ouvertes
Les pâles habitants ont tout à coup frémi,
Ils se lèvent, laissant ces demeures désertes
Où dans l'ombre et la paix leur poussière a dormi.*

Quelques morts cependant sont restés immobiles;
Ils ont tout entendu, mais le divin clairon
Ni l'ange qui les presse à ces derniers asiles
Ne les arracheront.

Он слушал внимательно, думая, что в стихах говорится о любви. Но, когда Эдда перевела, мысли стихов очень ему не понравились. Рамон не любил разговоров о смерти: «Достаточно того, что человек умирает, так еще говорить об этом!» Здесь же были всё могилы и мертвецы. Особенно ему не понравились объяснения мертвецов, — почему именно они не желают выходить из могил. Эти объяснения были совершенно не удовлетворительны: с ним никогда не случалось того, на что мертвецы жаловались. «А если она так ненавидит жизнь, то зачем покупает себе столько всякой дряни!» — Он подумал, что Эдда успела ему надоест. Одна пышная женщина типа хищницы стоила другой пышной женщины типа хищницы.

«Хорошо было бы, если б он хоть читать стал. Тогда и мне было бы свободнее», — решила Эдда. В книжном магазине по близости от их гостиницы оказались две книги на испанском языке: «Дон-Кихот» и «Четыре всадника Апокалипсиса». Она купила роман Бласко Ибаньеса, очень ей нравившийся. Находила в себе сходство с Маргаритой Ложье, которая была одновременно и шикарной, и идейной женщиной. Сказала Рамону небольшое вводное слово.

— Обрати особенное внимание на видение этого русского социалиста Чернова! Оно может считаться пророческим!

Рамон прочел роман с удовольствием. Ему особенно понравилась Шиши, тоже очень пышная женщина. От сравнения с ней Эдда потеряла, — никак не могла думать, что подарила книгу на собственную беду. Ему пришла мысль, что и он мог бы кое-что сделать для борьбы с всадниками Апокалипсиса. «Но что именно? Купить яхту и отправиться в голодные страны, встать во главе помощи голодающим?»

Новая идея его заняла. «Продать венецианский и севильский дворцы, на все деньги закупить хлеба? Нет, хлеб всё-таки

Б Р Е Д

есть и у голодающих, нужны вещи получше. Надо доставить и радость бедным, несчастным людям. Консервы! Всякие, но особенно ананасные. Пусть и бедняки едят ананасы! Это тоже полезно в борьбе с коммунизмом. Если денег от продажи двorcов не хватит, я доложу, сколько бы ни потребовалось!» Рамон был увлечен так, как в тот день, когда у него впервые явилась мысль о Празднике Красоты.

Вечером он получил письмо. Оно было адресовано в Венецию, с «please forward» на конверте. Не подписавшийся добрый человек прислал ему газетную заметку об его празднике. Секретариата больше не было, заметка через цензуру не прошла. Эдда переводила со всё росшим смущением. Рамон, без аллегорий, назывался дураком, говорилось о бесстыдных, невежественных богачах, очевидно, думающих, что им всё позволено, и издевающихся — в такое время! — над нуждой и горем девяти десятых человечества: «Эти господа, очевидно, даже не способны понять, что их нелепые затеи оказывают большую услугу врагам культуры и свободы, коммунистам».

Рамон был в ярости. Не привык к издевательскому тону; двадцать лет его осыпали похвалами. Кроме того, было ясно, что идея Праздника Красоты осталась совершенно непонятой. — «Стоит ли обращать внимание на дураков и негодяев!» — говорила Эдда возмущенно. Но странным образом его раздражение перенеслось на нее, точно она написала эту заметку.

— Верно, этот подлец хотел что-нибудь с меня сорвать! Как *все*, — сказал он.

— Конечно! Разумеется! Шантажисты! — говорила Эдда.

За обедом он был гневен и, против своего обыкновения, выпил целую бутылку вина. Затем объявил, что пора ехать в Севилью.

— С меня совершенно достаточно Берлина! Очень сожалею, что сюда приехал. Мне нигде не было так скучно, как здесь.

— Мне тоже... Я именно это хотела предложить: уедем, — поспешно согласилась Эдда. — В Севилью есть отсюда прямой аэроплан?

— Вероятно, есть. А если нет, пересядем в Париже.

— Нет, тогда лучше в Мадриде. Я никогда не видела Мадрида. Я поеду в общество и спрошу.

— Зачем? Это сделает швейцар гостиницы. Назначь день.

— Но, может быть, на этот день не будет билетов.

— Для меня будут билеты на любой день!

— Тогда, скажем, в четверг или пятницу... Как фантастична была наша встреча! Ты просто моя судьба! — желая его утешить, сказала она то, что говорила всем своим любовникам.

— Не знаю, почему я твоя судьба, — мрачно ответил Рамон. Он принял решение расстаться с ней в Испании. «Откупиться от нее будет нетрудно. В Севилье скажу, что еду в кругосветное путешествие. Может быть, и в самом деле поехать? Бесполезно работать на людей, они ничего не понимают или не хотят понять! Конечно, не стоит обращать внимание на шантажистов!» — говорил он себе. Но думал, что, быть может, мертвецы Эдды не так уж неправы.

XXXI

Катастрофа постигла полковника № 2 так неожиданно.

После ответа, полученного им из Москвы, он имел все основания ждать наград. Был почти обеспечен генеральский чин, могли дать орден, денежное пособие. Всё это было чрезвычайно приятно, но вопроса о работе не решало. Оставаться на Западе ему больше не хотелось: всё здесь было ему чуждо и почти всё неприятно. Строевой должности он получить не мог, да и в самом деле для нее больше не годился. На должность в штабах было мало шансов. В том же ведомстве, в котором он служил, еще более высокий пост означал еще более грязную работу. «Всё-таки остался боевым офицером, к полиции не принадлежал», — в сотый раз повторял он себе. Сам чувствовал, что это у него становится навязчивой идеей: как бы не смешали с чекистами! Смешать было очень легко: люди типа чекистов всё больше переполняли его ведомство, и он с

каждым днем яснее чувствовал себя в этом ведомстве белой вороной. Думал, что, пожалуй, лучше всего уйти в отставку.

Перед ним был тот же вопрос, несчастный вопрос пожилых и старых людей: что делать в остающиеся годы жизни? Полковник перебирал всё. На обычной, банальной мысли о воспоминаньях он почти не остановился. «В России воспоминаний не пишут, разве те, у кого есть сейф за границей, да и для них рискованно. И ничего я на войне особенно важного не видел, видел то, что видели все. А о теперешней моей службе и думать лучше поменьше, не то, что писать». В свое время он хотел заняться биографией Суворова, но отказался и от этого: «Было бы пересказом старых книг, с расшаркиваньями в сторону начальства и с экономическим материализмом». К тому же, он чувствовал, что, несмотря на орден имени Суворова, правительство не так уж расположено к царскому фельдмаршалу: «Следовательно издать правдивую книгу будет не просто: Суворов экономическим материалистом не был. Можно, пожалуй, написать историю какой-либо важной операции времен великой войны? Теперь, после смерти Сталина, восхвалять на каждой странице его военный гений незачем, но всё наше командование восхвалять было бы необходимо, то есть, опять-таки бессовестно врать: никаких промахов, мол, не было, всё происходило по заранее разработанному плану». Об этом полковник имел определенное мнение: план был плохой, да он вначале войны и не осуществлялся, точно никакого плана вообще не было. Было сделано множество тяжких ошибок, проявилась полная растерянность начальства, и всё спасли храбрость русских войск, самоотверженная выносливость русского народа.

В свободное время полковник иногда заходил в книжный магазин. Покупал преимущественно военные книги, иногда исторические. Зашел он в магазин и в июне. Новых военных книг не оказалось. Ему попала старая книга Сергея Аксакова. Она привлекла его внимание переплетом, очень хорошим и превосходно сохранившимся. Переплет был желтый, с очень широким кожаным корешком, с такими же углами. Полковник

раскрыл книгу, ему попалась фраза: «Кроме описанных мною трех пород, в Оренбургской губернии изредка попадаются черные зайцы, обыкновенного склада и величины, мне никогда не удалось их убить». Эти слова поразили полковника: он *должен* убить черного зайца!

Настоящим охотником он считаться не мог. Стрелял в лет не очень хорошо, гончих и борзых собак не любил (как, впрочем, не любил их и Аксаков). В молодости охотился в свободное время, которого у него и тогда было не много. Но эта книга была для него откровением: вот что осталось в жизни! Он тут же себе возразил, что с раненой ногой не мог бы ходить по полю, по болотам, по лесу. Книга была следовательно ему практически не очень нужна. Однако, он почувствовал, что непременно ее купит, сколько бы она ни стоила. Увидел в оглавлении главы о ловле шатром и о капканном промысле. Для такой, не слишком утомительной, охоты он еще годился. Попался ему и эпиграф из какого-то древнего охотничьего руководства: «Будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие... О славные мои советники и достоверные, и премудрые охотники! Радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими, добрым и веселым сим утешением в предыдущие лета! — «Точно для меня сказано!» — подумал он и купил книгу, хотя она была напечатана по резавшей ему глаз старой орфографии.

Вернувшись домой вечером, он заварил кофе, сел за стол и сначала перелистал всю книгу. Под одним переплетом в ней были два тома: «Записки об ужении рыбы» и «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах». На первом томе он долго не останавливался. В юности пробовал и удить рыбу, но это дело показалось ему скучноватым и грязноватым: надо было на крючек насаживать живых навозных червей, — на хлебные шарики у него ничего не ловилось. Теперь только пробежал кое-что из «Записок». Ему нравился чудесный, столь простой, безхитростный слог, — «да, наши так писать не умеют!» — нравились технические и вместе с тем чисто-рус-

ские, без «измов», слова, «перекаты», «снулая», «паводки», «верхоплавка», «хребтуг», нравились изумительная наблюдательность, необычайная зрительная память писателя, — он писал о нравах и обычаях рыб, как если б сам прожил всю жизнь под водой.

Скоро полковник перешел к шатрам и капканам. Его поразило сходство этого рода охоты с тем, чем он сам занимался в последние годы. Волков и лисиц ловили так, как он ловил шпионов. «Выбор приманки, правдоподобие, незаметность, всё как у нас!» Охотник искусно подделывал рукояткой лопаточки на снегу волчьи следы для обмана волков и заметал свои собственные. Он должен был даже ходить в свежих незаношенных лаптях, так как запах кожи или ваксы мог спугнуть волка. «Всё это надо так мастерски устроить, чтобы острое зрение зверя ничего не могло заметить, и тонкое его чутье ничего не могло услышать», — советовал Аксаков. «Может быть, настоящий разведчик охотником и должен быть. Шелль, кажется, говорил, что тот американец охотник», — думал полковник, радостно вспомнив о документах из печи в Роканкуре. В капкан мог попасть матерый волк или, еще лучше, черный заяц. «Да, описано на ять, что и говорить. Правда, хорошо ему было описывать, — только с юности и делал, что удил рыбу и охотился, а я был босопляс, питался сеном с хреном», — говорил он себе, борясь с влиянием Аксакова. Но всё больше чувствовал, что его навсегда очаровал этот барин, замечавший то, чего другие не видят.

Книга определила его планы. «Если и предложат новую должность, то стоит ли ее брать? У нас, правда, не предлагают должностей, а назначают на них. Всё же отделаться можно, сославшись на хромоту и увечья. Объясню, что стал неработоспособным. Настаивать не будут. И вот отставным генералом можно бы поселиться в этих местах, тогда уж по настоящему на родине. Родина, конечно, Россия, а всё-таки *настоящая* родина это для кого Москва, для кого Киев, а для меня Верхнее Заволжье. Да, как в старину, нечем платить долгу, так пойду за Волгу. Лошадь куплю, ездить верхом еще могу. Ста-

рого леса кочерга. Может, домик удастся выстроить?.. Буду вставать в пять часов утра, буду брать с собой термос с кофе, бутылку крымского вина, беззубому на орехи... Он пишет, что старые, усталые, не очень здоровые охотники караулят зверя неподалеку в шалаше, где сидят в креслах и курят сигары. Ну, я без кресел обойдусь, а вот можно будет брать с собой карманную шахматную доску. Аксаков любил охотиться в одиночку, так буду делать и я. Знакомство буду водить только с крестьянами, из них вышел, к ним и вернусь. Они наши лучшие люди. Примут ли они меня? Кто их души разберет? Может быть, они больше всего хотят, чтобы иностранцы в русские дела не вмешивались, а может быть, именно жаждут, чтобы кто угодно, хотя бы сам чорт, свернул шею большевикам? Они главная надежда России, они и еще больше офицерство»...

Он читал до поздней ночи и восхищался всё больше. «Знал разных травников, гаршнепов, чернозобиков, курухтанов, широконосок, вяхирей, клинтухов еще лучше чем линей, окуней, сомов и налимов!» Полковника приводило в восторг, что собаки бывают вежливые и невежливые, а волки обыкновенные и озорники, что стрельба диких гусей дело не охотничье, что стрелок благородной болотной дичи не может уважать такую стрельбу, что утка, желая усыпить селезня, долго ласково щекочет ему шею, что народ не признает французских или немецких названий дичи и называет бекаса диким барашком, вальдшнепа лесным куликом, что всё-таки, вопреки общему мнению, первая болотная дичь бекас, а не дупельшнеп, который неправильно называется дупелем, что на севере Оренбургской губернии зимой мерзнет ртуть, а у ее южной границы растут самые нежные сорта винограда. — «Это в одной-то губернии! Поистине необъятна Россия!». Он кончил книгу на рассвете.

Благодаря принятому решению и своему огромному служебному успеху, он стал гораздо веселее, чем был прежде. Стал и снисходительнее к людям; сослуживцы и подчиненные обратили внимание на некоторую перемену в нем и не знали, чему ее приписать. Им был хорошо известен его тяжелый ха-

ракти. Прежде чуть не половина его труда и времени уходила на расстраивание интриг, подвохов, козней сослуживцев. Теперь уходило несколько меньше.

А затем стряслось несчастье.

В полученной им от начальства новой бумаге грозно сообщалось, что он доставил дезинформацию, которая уже повлекла за собой вредные, дорого стоившие распоряжения военных властей!

Дезинформация была составлена так искусно, что и начальство в Москве сначала ей поверило. Не сразу и там было замечено одно обстоятельство, которого не заметил полковник. Оно не оставляло сомнений, — все документы были сфабрикованы для введения в заблуждение советского военного ведомства: главный присланный им документ, содержащий сведения об атомных бомбах, был помечен 18-ым марта. Между тем его шпионка, столь удачно добывшая этот документ прямо из американской печи в Роканкуре, доставила их 17-го. Улика была неотразимая. Полковник остолбенел.

Вместо блестящего дела оказалось дело постыдное и вредное. Вместо ордена, чина, пособия надо было ждать большой беды. В самом лучшем случае он теперь мог рассчитывать на чистую отставку с последствиями немилости. О том, каков может быть худший случай, были допустимы лишь мрачные догадки. «Чему быть, того не миновать», — сказал себе полковник. Это изречение, часто губившее русских людей, ему помогало. «Широк путь в концлагери, узок путь из концлагеря... И подумать только, что судить меня будут по одной ошибке! Все труды, все достижения, все заслуги мгновенно забудут, помнить будут лишь об одном промахе! А невежды скажут: в этом ошибся как дурак, значит и всё дело твое дурацкое!»...

Ему было всего лет десять, когда произошел октябрьский переворот. Тридцать пять лет советской пропаганды не прошли для него даром. Полковник считал всех иностранных правителей фашистами и империалистами, впрочем не вкладывая особенно обидного смысла в эти принятые обозначения. Он

по-прежнему не понимал, зачем нужны еще другие партии, когда и от одной ничего нет, кроме вреда. По-прежнему считал безнравственным всё, что было вредно его делу, т. е. России. По-прежнему нерешительно считал Сталина гениальным человеком — или же думал, что признание его гениальности очень делу полезно. Прежде говорил себе: «Сталин умрет, а Россия останется». Об его смерти сожалел, тем более, что ждал перехода власти к Берии: «Уж если опять грузин, то лучше бы остался Сталин».

Теперь он думал, что все эти люди губят мир. «Их цель будто бы в том, чтобы облагодетельствовать человечество. Но человечество теперь из-за них, — конечно, из-за них, кому и знать? — тратит непроизводительно сотни миллиардов в год. На такие деньги можно было бы переделать жизнь на земле без всяких революций, в два счета положить всему конец и они этому препятствуют». Полковник не мог искренно желать полного разоружения мира. Но ему хотелось бы, чтобы было как в старину: чтобы существовали армии, гвардии, знамена, чины, отличия, ордена с другими, более приятными, названиями. Ордена Ленина или Красного Знамени очень ценились, однако их названия ему слуха не ласкали. Гораздо приятнее звучали св. Георгий, св. Владимир, св. Александр Невский, с их вековой традицией. Так было и кое-в-чем другом. Он, например, был очень рад уничтожению «сиятельств», но про себя иногда сожалел, что больше не было «превосходительств» и «высокопревосходительств». А главное, прежде не существовало ни атомных бомб, ни холодной войны. Когда были войны, то горячие и не очень долгие; в остальное же время был мир. Хотя полковник недолюбливал иностранцев, ему было бы приятно поддерживать добрые товарищеские отношения с союзными офицерами. Он отдавал должное их верховному командованию и особенно почитал Эйзенгауера, который так необычайно быстро из подполковников стал главным командующим.

Как-то раз к концу войны, за ужином, его приятель капитан, много выпив, сказал, что без революции он был бы

«слуга царю, отец солдатам». Это на ужине вызвало смущенный смех, однако никаких последствий для капитана не имело: в полку люди друг на друга не доносили. Теперь полковник про себя думал, что эти стишки, быть может, относились бы и к нему самому. Он говорил себе, что было бы очень хорошо, если бы пошла ко всем чертям и единственная партия, еще существовавшая в России. «А при ней что-то еще с нами будет? Неизвестно, куда идет Россия и чем всё это кончится. Темна вода во облацех небесных!».

XXXII

— Сегодня я утром буду занята, — сказала Эдда. — Если мы послезавтра улетаем, то надо уложить вещи.

— Для этого есть лакеи и горничные.

— Могут кое-что стащить. В Севилье заметим, так изволь оттуда писать жалобу в берлинскую полицию!

Рамон пожал плечами.

— Как тебе угодно, — сказал он. Ему становилось с ней всё скучнее. Разговаривать было не о чем: в отличие от Шелля, она его идей не оценила, да и понимала его всё-таки не вполне хорошо, хотя быстро сделала большие успехи в испанском языке. Теперь разговоры у них были однообразные: — «Вечером пойдем в театр». — «Хорошо, но куда?» — «Как жаль, что ты не знаешь по-немецки! С одним испанским языком далеко не уедешь». — «Как видишь, я живу с одним испанским языком и недурно живу». — «Ты жил бы еще гораздо лучше, еслиб знал, например, хоть французский язык. Я говорю по-французски как парижанка... Значит, в драматические театры идти не стоит». «Ты могла бы пойти одна». — «Одна я не хочу. Опера тоже отпадает, я люблю только музыку Антона Веберна, а он опер не писал. Тогда пойдем в оперетку?» — «Хорошо, пойдем в оперетку». — «Какая сегодня погода?» — «Отвратительная. Это ты выбрала Берлин». — «Вчера была прекрасная погода. А где ты хочешь обедать?» — «Мне всё равно. Может быть, здесь в гостинице? Я что-то

устал». — «Почему устал? Я, напротив, горю жизнью. Я закажу *салъми* из какой-нибудь редкой дичи. И сегодня выпью много шампанского. Мне что-то хочется забыться». «Всё в жизни трын-трава», — добавила бы Эдда, но не знала, как перевести трын-траву на испанский язык.

Всё чаще случались размолвки. Как-то он купил ей браслет. Она была довольна, но браслет ей не понравился, и она его переменяла на серьги, — на длинных подвязках, огромные, рубиновые, почти страшные. — «Они идут к моему стилю, в них есть что-то фатальное. Это немного дороже твоего браслета, ты пошлешь им чек, правда?» Он послал чек, но рассердился, не из-за доплаты, а потому, что она должна была сохранить выбранный *им* подарок. Однако и размолвки казались Эдде благородными; с небогатыми любовниками они тотчас у нее сбивались на денежный спор и переходили в брань.

— Завтра я с утра уйду. Нужно сделать последние покупки, помнишь, я тебе говорила.

— Покупай что хочешь.

Она поблагодарила, не очень горячо, тоже по своему праву: слишком будешь благодарить, меньше будет давать.

— К завтраку я, вероятно, вернусь. Если же нет, то позавтракай один. Будешь скучать? Зато вечером пойдем куда тебе угодно! Я на всё согласна.

Вещи впрочем под ее наблюдением, укладывала горничная. Она очень старалась для богачей. Эдда хотела было подарить ей старое недорогое платье, но передумала: «Завтра как раз такое понадобится». Подарила что-то из старого белья.

По Берлину уже ходили тревожные слухи об ожидавшихся будто бы волнениях в восточной части города, но она о них ничего не знала: знакомых у них не было, с прислугой она не разговаривала, а с портнихами и с модистками говорила о вещах, гораздо более интересных. Газет Эдда не читала; Рамон два раза в неделю просматривал испанскую газету, приходившую в Берлин с немалым опозданием.

Вышла она на следующий день очень рано, надела то

старое платье, запечатала в конвертик свою визитную карточку, — так в свое время указал Шелль. Велела шоферу остановиться довольно далеко от рубежа. Опять увидела мрачное предупреждение: «Achtung. Sie verlassen nach 80 M. West-Berlin», опять подумала, что, быть может, лучше бы не переходить, опять перешла и дальше направилась пешком. Возбудила в себе мрачные предчувствия, — считала, что это помогает: если заранее ждешь плохого, то выходит хорошее.

Она отдала конвертик дежурному офицеру. Приняли ее тотчас, это ее успокоило. Но, войдя в кабинет полковника, она почувствовала: что-то неладно! Выражение его глаз, испугавшее ее еще при их первом знакомстве, теперь было просто страшно. Он не сделал вида, будто привстает, не подал ей руки, не ответил на ее заискивающую улыбку, только кивнул головой, да и кивнул не как люди, а быстро и резко опустил и тотчас поднял голову, при чем угол рта у него дернулся.

— В какой день вы получили бумаги от американского лейтенанта? — не дав ей сказать слова, спросил он ледяным голосом. Эдда очень испугалась. Не сразу могла вспомнить; всё же вспомнила и ответила точно.

— В какой день вы их передали куда вам было сказано?

— В тот же вечер, — ответила она и затряслась: вспомнила, что Джим велел передать пакет 18-го, а она передала днем раньше, из-за примерок.

Полковник смотрел на нее змеиным взглядом. Вид Эдды не оставлял сомнений в том, что уж она-то ни о какой дезинформации не думала. «Арестовать ее и отправить в Москву!» — подумал он в первую минуту. Но его безвинная вина стала бы в этом случае еще более тяжелой: начальство увидело бы, какой дура он поручил важнейшее дело.

— Сказал ли вам этот лейтенант, *когда* надо передать пакет?

— Нет... Да, сказал... Кажется, он сказал, чтобы на следующий день, 18-го, — пролепетала Эдда, трясясь всё больше. — Но я думала... Я решила: чем раньше, тем будет вернее.

Теперь дело было вполне ясно. «Идиотка!» — подумал

полковник. Лицо у него стало почти бешеным. На этот раз ему с особенной ясностью представилась нелепость того, что они делали. «Всё ни к чему, всё гадко, скверно, подло. Затягиваем людей в кровавое болото, даже таких дур, как эта... Вот уж именно убил черного зайца! Расставил капкан, надел свежие лапти!..» Он с некоторым облегчением подумал, что зато не убил черного зайца и американец. «Тоже попался, как болван! Я сел в калошу, но и он со мной, хотя и не так, меньше. Конечно, это было *его* дело, это *его* стиль. Хитро, проклятый, затеял и еще не знает, что сорвалось! Ничего, скоро узнает!.. Ему впрочем за это не покажут Кузькину мать, не то, что мне»...

Он страшным взглядом смотрел на трясущуюся Эдду. И неожиданно полковник сказал себе, что если б *его* агентка *не была* идиоткой, то именно в этом случае американцу удался бы дезинформационный замысел. «Конечно, так! Только из-за ее глупости нам удалось заметить обман». Он вдруг подумал, что незачем губить эту женщину. «Мне пропадать, а она пусть уносит ноги. Никто не может знать, что она опять меня навестила. Карточка была в конвертике, сейчас ее уничтожу. Пользы делу от ареста никакой, мне скорее вред. Пусть она идет к...»

— Я вас прогоняю со службы! Убирайтесь вон! Не смейте показываться мне на глаза! — сказал полковник.

XXXIII

В этот день 17-го июня в обеих частях Берлина стали исчезать надписи «Ami go home», которыми берлинцы старались дразнить американцев довольно неуспешно: «Ami» к этому привыкли в разных европейских столицах и почти не обращали внимания: понимали, что люди всегда благодетелей не любят и тут ничего не поделаешь. Зато с утра в восточной части города мальчишки, и не одни мальчишки, орали «Uhr! Uhr!» Так грабители в 1945 году кричали берлинцам, срывая с них часы.

Граница между двумя мирами проходила у Бранденбургских ворот, по улице Эберта, по Потсдамской площади. К ним стекались люди с разных концов западного Берлина. Говорили, что в восточной части города идут манифестации, что их расстреливают, что пущены в ход советские танки, что повсюду горят дома, что убиты тысячи людей. Где-то вдали поднимался дым. У рубежа было ранено и несколько жителей западных кварталов. Молодые люди перебежали через Бранденбургские ворота и швыряли камнями в Воро: Volks polizei; она отвечала выстрелами. В толпе ахали и спорили: — «Да ведь это бессмысленно! Чем могут помочь камни!» — говорили одни. — «А по вашему, ничего не делать и смотреть в бинокли!» — возмущенно отвечали другие. — «Союзники не могут этого так оставить! Они сегодня же двинут войска!» — «Какие войска? У них и войск нет!» — «Если здесь нет, то есть в других местах!» Никто в западном Берлине войны не хотел; напротив, все ее смертельно боялись. Но в этот день почти у всех было смутное желание, чтобы события приняли «грандиозный характер», о котором зловеще-неясно писали газеты.

По ту сторону Бранденбургских ворот, симметрично, на одинаковом расстоянии один от другого, стояли советские танки и грузовики. Вид у советских солдат был очень мрачный. Какой-то смельчак взбирался на верхушку ворот, держа что-то в руке. За ним следили с волнением: «Сейчас убьют! Сейчас начнут стрельбу!». Красный флаг упал, вместо него появился черно-красно-золотой. Толпа разразилась рукоплесканиями.

Эдда сидела в кофейне и тряслась всем телом, как никогда в жизни до того не тряслась.

Выйдя от полковника, она спешила к станции подземной дороги чуть не бегом, хотя это было неблагоприятно. Держалась обеими руками за сердце, прижала к нему и сумку. «Что такое? Господи! Что я сделала? Просто непонятно! Отчего он взбесился?.. Арестуют! Увезут!.. Но он арестовал бы там же? Передумает! Пошлет погоню!»

Станция была закрыта. «Забастовали!» — радостно сказал кто-то. «Только этого не хватало! Такси? Опасно! Да и нет их! Как быть? Господи, лишь бы дойти домой!»

Кто-то пробежал мимо нее, быстро поставил у решетки огромную фотографию Карла Маркса со срезанной бородой и понесся дальше. Эдда из последних сил бросилась бежать. Недалеко на площади была кофейня. «Нет, опасно, здесь меня его люди отыщут! Надо замести следы». Вбежала в другую кофейню, подальше, там было много людей. Повалилась на стул у первого свободного столика, в темноватом углу, далеко от окон. «Здесь не найдут, не могут знать, куда я зашла...»

К ней долго никто не подходил. Она немного отдышалась. Прислушалась, не поворачиваясь, к разговорам за соседними столиками. До нее доходили слова: «Schluss!.. Schlimm!»... «Что такое происходит? Они говорят о восстании! Здесь восстание? Господи! Зачем только я пошла!». Старалась понять, за что рассердился полковник, и не могла. «Ну, сдала на день раньше. Если б еще рассердился Джим, было бы понятно, а ему-то что, проклятому!»

Подошел лакей и мрачно спросил, чего она хочет. Эдда подумала, что надо бы спросить пива или кофе, так будет беднее, социалистичнее. — «Нет, выпить чего-либо очень крепкого». Она без воды проглотила пилюлю. Угрюмый лакей принес ей двойную рюмку Weinbrand'a. «Дать ему начай марку, а то выдаст!.. Нет, марку нельзя, это вызовет подозрения! И те увидят!» Опять прислушалась к разговорам. «Да, так и есть, восстание! Будь они прокляты! Не могли отложить на два дня! Мы были бы уже в Испании... У Франко порядок, он молодец, он их знает!»

Кофейня была старая, когда-то под что-то подделывавшаяся, с огромным очагом, с пивными кружками и фарфоровыми тарелками по стенам и на полках, одна из тех разбросанных по всей Германии бесчисленных кофеен, где в свое время уютно пьмали и трещали дрова, где бывали Амедей Гофман или Захарий Вернер, если не Альбрехт Дюрер и не Ульрих фон Гуттен. К концу войны кофейня захирела. Эдда,

тяжело дыша, думала, что будет, если ее задержат у Железного Занавеса. «Через день Рамон заявит западной полиции, она примет меры, при его деньгах везде всё можно сделать! Но ведь полиция вскрыет ящик в столе и найдет фотографию, — ту фотографию! Господи, Рамон тогда ничего для меня не сделает. Он просто уедет один! И денег не оставит ни гроша! И увезет все свои подарки!.. Я пропала!»

Она решила пробраться пешком домой. На улицах как будто ничего страшного не происходило, только вид у людей был необычайно мрачный и злой. Вдруг издали послышались выстрелы. Эдда ахнула. Хотела было побежать назад в кофейню. «Да ведь и там могут убить! Кажется, именно с той стороны и стреляют!». Она побежала в прежнем направлении. «Уже не очень далеко... Лишь бы перейти!.. Лишь бы перейти!.. А там я от него потребую, чтобы сегодня, непременно сегодня же, улететь в Испанию или куда угодно! Куда будет аэроплан, туда и улетим!» — думала она. И вдруг ей пришло в голову, что вся ее жизнь была ошибкой, что везде, в самом безопасном месте, с деньгами или без денег, ее существование будет, как всегда было, жалким и постыдным.

Из боковой аллеи на площадь выходила толпа. Манифестанты шли в порядке, чуть ли не в ногу, шли с флагами и с пением. Эдда прислушивалась и могла кое-как разобрать слова: «Ulbricht, Pick und Grotewohl, — Wir haben von euch die Schnauze voll!». «Значит, это не коммунисты? Разве за ними и пойти?» Толпа с тротуаров бешено аплодировала манифестантам. Вслед за ними медленно выехали грузовики с немецкими полицейскими. У них в руках были пулеметы. Вид у полицейских был тоже очень хмурый, как будто и очень смущенный. Сразу наступила тишина.

— Свины! — вдруг истерическим голосом закричала женщина с метлой, стоявшая недалеко от Эдды. И точно этого крика все ждали, — толпу прорвало бешенством:

— Подлецы!.. Убиваете братьев!.. Перевешаем на фонарях!..

Женщина с отчаянным визгом сорвалась с тротуара и, вы-

соко подняв метлу, бросилась к последнему грузовику. Полицейский, побледнев, навел на нее ручной пулемет. — «А-а-а!» — бешено завизжала женщина, — «стреляй, подлец, стреляй!» Рев стал диким. Какой-то молодой человек в куртке выбежал из подворотни, низко изогнулся, откинувшись на бок, и швырнул камнем в грузовик. В ту же секунду послышались выстрелы. Женщина выронила метлу и, схватившись за живот, продолжала стоя кричать. Позади нее на тротуаре, еле ахнув, повалилась Эдда. Она была убита наповал.

XXXIV

С раннего утра полковник № 1 получал в своем кабинете донесенье за донесеньем. Он был гораздо лучше осведомлен, чем другие, но и он знал немного. Ему было во всяком случае ясно, что «грандиозного характера» эти события сами по себе никак принять не могут: как только вошли в город советские танки, успешное восстание стало совершенно невозможным. «Вооруженные восстания могут теперь удаваться разве только в Азии или в Южной Америке, а это вдобавок не вооруженное, а безоружное восстание». Ему приходили в голову разные соображения, — как, например, события отразятся на положении правительства Аденауера? Усилятся ли социал-демократы или, напротив, христианские демократы? Он предпочитал вторых, но ничего не имел и против первых. Большого значения это, по его мнению, не имело. «А обвинять будут всё равно администрацию: она ничего не предвидела. Так, когда умирает больной, то всегда говорят, что его плохо лечили, что можно было вылечить».

Важнее было другое. «Конечно, коммунисты объявят, что беспорядки устроены нами. Само по себе, и это не важно, но вдруг они хотят предлога для войны?» Несмотря на свою осведомленность, полковник не имел твердого мнения о том, хочет ли советское правительство войны в ближайшее время или нет. Многие говорили в пользу каждого из двух предположений. «Правда, предлог им не очень нужен, могут ухва-

тяться за что-либо другое. Но если выбрали это? Перевес в силах у них сейчас еще велик. Что бы ни случилось, он будет понемногу уменьшаться, рискуют упустить момент. Может быть, сегодня, сейчас, в эту самую минуту, у них в Кремле идет бурный спор: воспользоваться ли этим предлогом? Будь Сталин жив, вероятно воспользовался бы. Нынешние скорее не решатся: еще не утвердились, еще не свели счетов между собой. Всё же возможность не исключается: соблазн велик, fifty-fifty. И от этого зависит судьба человечества! Да, кошмарная вещь холодная война. Хуже, чем она, только война настоящая».

В середине дня ему стало известно, что убитые исчисляются десятками, а раненые сотнями. Полковник сожалел о погибших людях, считал дело безнадежным, но и он не мог отделаться всё от того же смутного, страшного и радостного чувства: что-то сдвинулось! «Восстание! Первое у них восстание!» Это мирило его с немцами. Не понимал, каким образом народ, показавший такую храбрость в двух войнах, без выстрела сдался Гитлеру. «Быть может, и война. То, что происходит, это лишь эпизод — кровавый эпизод — в холодной войне. Не мы холодную войну начали, мы готовы прекратить ее в любую минуту, лишь бы ее прекратили те. И если даже это восстание окажется как бы предисловием к мировой войне, то ответственность несем не мы».

Дела у него было не так уж много. Он принимал донесения, сопоставлял и группировал сведения, отправлял доклады по начальству. Для всего этого лучше было не выходить из своего кабинета. «*На месте*» никто ничего или почти ничего не видит. Здесь картина много яснее». Но ему в кабинете не сиделось. «Туда теперь и не пропустят». Поездка в восточную часть города, да еще на американском автомобиле, была связана с немалым риском. Это не было доводом ни против поездки, ни в пользу ее: как Шелль, полковник знал, что упрека в трусости *он* может не опасаться. «Но если б и пустили, то именно с провокационной целью: чтобы скомпрометировать и наше правительство, и меня, и восставших».

Проехать же к Железному Занавесу, к Бранденбургским воротам или к Потсдамской площади, можно было. Полковник велел подать автомобиль. Обычно он правил сам, на этот раз взял с собой шофера. Еще издали он увидел дым, стоявший в разных местах над восточным Берлином. Стрельба была не очень сильна: всё-же это была давно не слышанная им стрельба, в былые времена его оживлявшая. К Бранденбургским воротам валили люди. Вид у них был очень угрюмый и вместе с тем тревожно-радостный.

Оставить автомобиль пришлось на довольно большом расстоянии от ворот: сплошной стеной стояла многотысячная толпа. Другому человеку и не удалось бы пробраться вперед, но полковник был в мундире, перед ним все расступались, он прошел довольно быстро. Видел, что все на него смотрят, точно он сейчас сделает что-то очень важное. «Не хотят же они, чтобы я объявил войну России!» Он ясно чувствовал и то, что ожидание *грандиозного* понемногу слабеет, к вечеру ничего не останется.

Полковник думал о положении в мире не иногда в свободное время или за чтением газет, как громадное большинство людей: он думал об этом беспрестанно, в течение долгих лет, с этим была тесно связана его профессия, об этом говорили получавшиеся им ежедневно многочисленные донесения. Но именно теперь, в гневной, бурлившей, несколько стихавшей при его приближении, толпе ему точно впервые стала совершенно ясна трагедия, которую переживал мир. Справа затрещал пулемет. «Расстреливают безоружных, дело нетрудное. Да и вооруженное восстание не имело бы никаких шансов на успех. Люди пошли на безнадежное дело просто от отчаянья... Всё зло в мире от *них*! Когда же и как положить конец их делам? И не только их делам, но и им самим?» — думал полковник. Им овладела ненависть, вообще мало ему свойственная. «Много у нас было ошибок, но от *них* всё зло в мире, от них и почти исключительно от них! В чем другом я могу со временем и переменить мнение, но не в этом: они, именно они несут миру зло и гибель! Так я буду думать до

конца моих дней, и ни один честный и неглупый человек не может с этим не согласиться!»

Он остановился у пролета и заглянул в другой мир. На площади стояли хорошо ему известные танки Т 34, грузовики с советскими солдатами и немецкими полицейскими. К воротам с той стороны подъехал открытый автомобиль. Из него вышел советский полковник.

Он тоже в течение всего утра получал сообщения с разных сторон Берлина. Распоряжения и от него зависели мало, этим ведали другие должностные лица. Тем не менее его ответственность была велика: он отвечал за действия иностранных агентов, отвечал даже в случае, если никаких действий не было, но признавалось необходимым, чтобы они были. Полковник пробовал себе говорить: «Семь бед, один ответ», однако понимал, что эта седьмая беда окончательно его погубит. Он вышел из своего служебного кабинета почти в отчаянии, тщательно скрывая его от подчиненных. Многие от него отворачивались. Слухи об его опале уже ходили в этом здании, хотя причины были толком никому неизвестны.

То, что происходило в Берлине, можно было назвать и «народным восстанием», и «уличными беспорядками». Он знал, что официально будут говорить о беспорядках, вызванных иностранными агентами. Предполагал, что беду наделало кукольное правительство восточной Германии. По распоряжению разных Ульбрихтов и Гротеволей, которых он уж совершенно презирал, была вдвое понижена заработная плата аристократии труда, называвшейся по ученому квалифицированными рабочими. «Забавно, что эти олухи действовали «из демократизма»: они хотели, чтобы квалифицированные получали столько же, сколько не-квалифицированные. Было бы в нынешней конъюнктуре демократичнее не понижать плату первым, а повысить ее вторым. Так было и у наших: уравниловка по низшему уровню. Дорого обошлось и нашим, очень дорого платит Россия за всё, что они делают! А немцам верно забыли сказать, или они решили проявить независимость,

вдруг на этом сойдет. Ан, не сошло, будет крепкий нагоняй, если не что-либо гораздо хуже». В другое время полковник очень порадовался бы нагоняю Москвы ее немецким лакеям. Но теперь ему было не до того. Помимо грозившей ему личной опасности, он, при своих менявшихся взглядах, испытывал и чувство, сходное с чувствами американского полковника: это был какой-то реванш немцев. У *них* восстание. — «Но и у нас были восстания!» — отвечал он себе, — «и восстания, неизмеримо более кровопролитные, только их скрывали, и происходили они не в Берлине, на виду у всего мира, а в нашей никому не видной глуши. А *эти* свободолюбцы своего Гитлера приняли с полным удовольствием, им неприятен только *иностранный* деспотизм»...

Его самого удивляло, что он теперь ставил чуть не в заслугу немцам восстание против той власти, которой он служил. «Что ж делать, так оно и есть... Да, моя песенка спета. Буду сир, наг, гладен и хладен... Уж к этому делу меня пришлют наверное: не предупредил, не сообщил, не схватил иностранных агентов. Они ведь сами иногда начинают верить хоть части того, что сами же и выдумают. Не убью черного зайца! Мои наглыши будут в восторге... «Кури Хара сделал себе хара-кири», — вспомнил он глупую шутку, веселившую людей на Потсдамской конференции, когда покончил с собой Кури Хара, японский посол в Анкаре. — «Чему быть, того не миновать... У каждого из нас есть мечта о черном зайце, а убивает своего один человек из ста».

Его автомобиль пронесся по улицам, на которых не было стычек, и остановился у Бранденбургских ворот. Полковник еще издали увидел другой флаг и громадную толпу, собравшуюся на окраине того мира. Несмотря на свои новые мысли, он к ней чувствовал только злобу. «Глазеете, господа демократы, в бинокли смотрите? Ну, и смотрите. Уж вас-то мне никак не жаль, слишком вы глупы!» — подумал он, выходя из автомобиля, и неторопливо направился к воротам. Он заглянул в пролет и узнал стоявшего прямо против него американского полковника.

С минуту они смотрели друг на друга. Хотели было отвернуться и не отвернулись. Подумали, не отдать ли честь, но не отдали. Да и значились в одном чине.

К о н е ц

М. Алданов

Где круто бьет и пенится
Поток под крутизной,
Мой стих растет поленицей
На вырубке лесной, —

Пахучей, неотесанной,
Увязнувшей во мхи —
Крест накрест в ней набросаны
Смолистые стихи;

А под корой древесною
До срока залегло
Для очага безвестного
Тайное тепло.

Лидия Алексеева

“М О Г У”*

Вечерних уроков в этот день у Андрея не было, и он решил, что займется проверкой тетрадей с письменными работами. Но заняться ими было лень. И только часов в 8 он заставил себя сесть за стол. Но начать работать ему не удалось: в дверь постучали. Он сразу узнал этот стук, осторожный и деликатный, но нервный и нетерпеливый.

— Да, да! — негромко отозвался он. — Пожалуйста!

Вошел его сосед по комнате, главный инженер к-ского стекольного завода, Пестриков. Ему было, по его словам, 49 лет, но выглядел он значительно старше, и было видно, что он совсем измучен. Целый день у себя на стекольном заводе он притворялся бодрым, веселым и никогда не унывающим. Старался проявлять активность и повышенную заинтересованность («Читали сегодня «Правду»? Замечательная статья о работе МТС!»), а когда возвращался домой, то тотчас же ослабевал, начинал бессильно злобствовать и уверять, что он наелся мух и напился керосина.

Ему всегда и всё было «противно», и именно это слово он много раз (беспрестанно!) говорил себе каждый день и в течение всего дня. Когда он утром, пройдя после трамвая километра полтора, подходил к заводу, видел серый забор, ворота и проходную будку, он кривился и шептал про себя: «Противно! До чего же противно!» И это «противно» он ощущал почти как физическую тошноту.

Противно было всё: исполнение нелепых приказаний, необходимость лгать и слушать ложь, фальшивая заинтересованность в росте стахановского движения на заводе, чтение циркуляров из треста и из наркомата, мирволение рабочим-

* Отрывок из подготовляемого к печати романа.

партийцам, которые объявляли «торжественную вахту», а потом требовали записи дутых процентов, очковтирательство в докладах директору, собственный деланный восторг от того, что брак по заводу за квартал уменьшился на 0,2% и всё то, что называлось производственной жизнью завода. Противно было беспрестанное вмешательство секретаря парторганизации, который не знал, зачем надо закалывать стекло, но умел произносить чуть ли не часовые речи о качестве закалки: «Надо постоянно повышать свой техминимум, товарищи, и кроме того, товарищи»... Противна была идиотская «бдительность» партийцев, которые старались увидеть вредительство даже в дряхлости и изношенности плавильных печей, не ремонтировавшихся со времен революции. Противны были производственные совещания, которые отнимали длинные часы и на которых с серьезно-партийным видом говорилась нелепый вздор, а он, опытный инженер-керамик, должен был делать озабоченное лицо, записывать этот вздор и чуть ли не с восхищением говорить директору:

— Так мы, значит, вот так и сделаем, как предлагает товарищ Терехин... Это очень ценное предложение! Очень!

Ему был противен даже собственный язык, каким он говорил: советский язык и советские словечки. С полгода тому назад на одном из производственных совещаний разбирали две модели штампов: № 17 и № 22. И он, Пестриков, говорил — «модель», с ударением на «е» и в женском роде, а представитель треста, самонадеянный партиец, уверенным басом говорил с ударением на «о» и в мужском роде:

— Трест полагает, что этот мѳдель...

И Пестриков шестым чувством советского человека сразу понял, что своей «моделью» он ставит себя в недопустимое положение какого-то чужака. «По-интеллигентски говорю, чорт меня дери, а не по-советски!» И тут же начал говорить — «он», «мѳдель».

С того же дня он стал следить за собою и заставлял себя ломать язык: «мыслю», вместо «думаю», «зачитаю», а не «прочитаю», «проработаю» или «проventedилирую», но не «из-

учу», «выясню». Он начал умышленно коверкать ударения, поддельваясь под язык партийцев: «прóцент», «квáртал», «пóртфель»...

Всё это было «противно».

Знакомых у него не было: «Прежние люди все куда-то исчезли, а с новыми мне сойтись трудно: ведь они мне не верят, а я — им, и нам всем стыдно». В театр и в кино ходил только тогда, когда на заводе устраивали «коллективный культпоход», но тогда уж шел непременно, а после того, просмотрев фильм или пьесу, возвращался домой кислым и раздраженным: «Какая ложь! Господи, какая ложь у них в каждом слове и в каждом движении!» Поэтому почти все вечера просиживал дома.

Но к Андрею заходил часто и всегда придумывал предлог, которым зачем-то объяснял свой приход: «Нет ли у вас позавчерашней газеты?» или — «Простите, не забыл ли я у вас свои очки?» Они были соседями уже около трех лет, и в начале знакомства Пестриков преувеличенно осторожничал: не только скрывал всё, что было в нем, но даже притворялся перед Андреем так, как притворялся на заводе. Но привыкнув к Андрею, перестал притворяться и, наоборот, впал в другую крайность: в ненужную откровенность. Откровенно злобствовал и бессильно ругался: «Кончится когда-нибудь этот позорный ужас? Провалится когда-нибудь всё это в тартарары?» И часто приходил в отчаяние: «Нет, так вот и подыхать придется!»

— Простите, что я помешал! — остановился он в дверях. — Я на одну секундочку... Вы не помните, Андрей Николаевич, где это у Пушкина есть что-то такое про сердце, которое не может не любить? Что-то в этом роде... А? Не помните?

— А это, — без труда припомнил Андрей, — это в его стихотворении «На холмах Грузии»... В самом конце:

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

— Да, да! — слезливо замигал Пестриков. — Вот именно так: «не любить не может». Именно так! — вздохнул он. — Спасибо, что напомнили и... И я вам очень завидую, Андрей Николаевич: у вас прекрасная память. Прекрасная! А я всё забываю, всё забываю! — грустно повторил он и искоса посмотрел на стул.

Видно было, что ему хочется остаться и поговорить, но он не решался быть назойливым.

— «Не любить оно не может!» — еще раз повторил он, опять вздохнул и слегка двинулся.

Андрей понял, что он опять вспомнил о своей жене, которая с полгода тому назад оставила его и уехала в Ростов. Он часто вспоминал о ней и тогда приходил к Андрею, тихо жаловался и начинал плакать. Андрею было неприятно выслушивать его жалобы, потому что Пестриков чересчур откровенничал и открывал такие интимные подробности, какие бывает неловко слушать постороннему человеку о женщине, тем более — знакомому с этой женщиной. Но он не останавливал Пестрикова и не протестовал: «Пусть говорит, — думал он, — ему ведь от этого легче!» Поэтому он и сейчас не дал Пестрикову уйти, а ласково предложил ему:

— Вы бы лучше присели, Глеб Петрович... Зачем же стоя разговаривать?

— Я, собственно... — заколебался Пестриков. — Я ничуть не хочу вам мешать, потому что...

— Э, полноте!..

Пестриков сел на стул и стал скручивать самокрутку. Скручивал он ее привычно, ловко, но смотрел при этом брезгливо, даже с омерзением, и всем своим видом как бы говорил: «Вот видите, чем мне приходится заниматься!» Морщась и хмурясь, он закурил и шумно, из глубины легких выпустил струю дыма. Курил нервно, часто зажигал ненужную спичку, хотя папироса горела, грыз мундштучок и чуть ли не каждые полминуты стряхивал пепел прямо на пол. Андрей, сдержанно улыбаясь, подставил ему пепельницу, но он нетерпеливо посмотрел на нее и через секунду забыл о ней.

— Я ведь только что пришел с завода! — заговорил он. — Надо бы умыться, но я... Я, знаете ли, когда возвращаюсь оттуда, сначала должен накуриться до одури, а потом уж... Надо сначала придти в себя, а папироса, она ведь приводит. Вот именно: приводит!

— Устали? — сочувственно спросил Андрей.

— Не в том дело, голубчик, что устал! — слезливо застонал Пестриков. — Работы, конечно, много, но работа меня не утомляет, я работу даже люблю... А вот слизь эта ужасная, воздух этот, понимаете ли... И притом — штамп наш постоянный: «Жить стало лучше, жить стало веселее! Бурный рост социалистической промышленности!» Это и унижительно, и... и... и мучительно! — страдальчески скривился он. — Всегда заранее знаешь не только то, что скажет любой, но знаешь даже интонацию, с какой он скажет. У нас это называется единомыслием и единомушием, «все, как один!» но... но если это единомыслие, то что же называется стадностью, объясните мне на милость!

Он говорил очень быстро, комкал слова, не договаривал их и смотрел на Андрея так, словно умолял помочь и спасти. Андрей не прерывал его («Надо же дать ему выговориться!»), но слушал с таким участливым видом, что у Пестрикова начало отходить от сердца. Однако сразу он уняться не мог и всё продолжал сыпать словами.

— А наш директор или этот Голиков, секретарь парторганизации! Знаете обоих? Это ж не люди с умом и пониманием, а какие-то граммофонные пластинки со статьями из «Правды»... И даже не со статьями, даже не со статьями, а с одними только заголовками. «Прохождение техминимума повышает квалификацию подсобников!» — передразнил он. — «Развитие стахановщины — лучший способ борьбы с браком!» Ведь если целый день слушаешь такое, то начинаешь чувствовать, что ты сходишь с ума... Да, да! И удивительно, Андрей Николаевич, что вокруг нас так мало сумасшедших. Почему это?

— Вы уверены, что их мало? — улыбнулся Андрей.

— Вы всё шутите! — болезненно поморщился Пестриков. — А я уже не могу... Не в силах! Когда я на заводе, я тоже стараюсь шутить и смеяться, я научился даже радоваться, если сегодня приказано чему-нибудь радоваться, но ведь чего это мне стóбит! Чего это стóбит! А другие? Я, знаете ли, постоянно смотрю на других, всматриваюсь в них: в наших рабочих, в соседей в трамвае, в прохожих... Что в них? То же, что вот и во мне или другое? И мне часто кажется, что внутри их (как и во мне) туго натянутая пружина, и она еле-еле держится на защелочке. И что защелочка эта каждую минуту может отскочить, и тогда пружина развернется с такой страшной силой, что...

— Со страшной силой! — без усилия и очень уверенно согласился Андрей.

— Но иногда, — с тоскливой безнадежностью добавил Пестриков, — иногда мне кажется совсем другое. Совсем, совсем другое!

Он резким движением пододвинул свой стул к Андрею, схватил его за руку и, взволнованно дыша, стал шептать ему прямо в ухо.

— Я вот, знаете ли, недавно на первомайской демонстрации был. И я опять смотрел на лица: какие они? что в них? И я вижу! — даже с отчаяньем признался он. — Все эти люди ничуть не страдают, не негодуют, не сдерживают себя. Они радостно оживлены, улыбаются, смотрят даже восторженно, глаза блестят... Нет, они не терпят, они довольны, дорогой мой! Они до-воль-ны! — с отчаяньем подчеркнул он. — И в том, что они довольны, — ужас и гибель. Да, да, да! Ужас и гибель!

Его папироса уже догорела. Он торопливо пососал ее, отшвырнул и начал трясушимися руками скручивать другую.

— Нет, это не то! — очень убежденно сказал Андрей, вдумываясь в свою мысль. — Они радостно возбуждены и улыбаются, это правда, но это — не то! Это не значит, что они довольны, не терпят, не ждут и не сдерживают себя.

— Что же? — нетерпеливо поднял голову Пестриков.

— Это — жизнь. Они же живые люди, Глеб Петрович, и не могут же они страдать, терпеть и сдерживаться все 365 дней в году по 24 часа в сутки. Ведь вот, говорят, даже в камере смертников рассказывают анекдоты и смеются, потому что даже смертники не могут все минуты оставшейся им жизни мучиться страхом смерти. Они ведь еще живы, и это — жизнь. Я, — вдруг вспомнил он, — я как-то видел одну открытку: с чьей-то картины, не помню — с чьей. Окно арестантского вагона с решеткой, а за решеткой — группа арестантов. Их куда-то везут: в Сибирь или на Сахалин... На каторгу! А они, представьте себе, через окно голубей кормят! И на их лицах — умиление, тихая радость, даже, если хотите, довольство. И картина эта называется очень хорошо: «Всюду жизнь».

— Что же? Что? — встрепенулся Пестриков. Он еще не совсем понял мысль Андрея, но уже уловил в ней что-то.

— Ведь не скажете же вы, — даже с удовольствием пояснил Андрей, — что эти люди не страдают, не раздавлены судьбой, не рвутся на волю и не страшатся каторги, а довольны своей участью. «Как же не довольны: вон даже голубей кормят!» Но ведь они кормят оттого, что — всюду жизнь, а они — живые.

— Да, да! — подхватил Пестриков, чувствуя, как то, что схватило его за сердце, начало слегка отпускать. — Да, да!

— Конечно, наше первое мая не праздник, а нелепейший суррогат праздника, — хотел довести свою мысль до конца Андрей. — Но если нет праздника, то дайте людям порадоваться хоть суррогату. И не думайте, что если они рады ему, то это значит, будто они довольны.

— Да, да, — совсем уж поймал его мысль Пестриков и повеселел. — Это вы видите правильно! И... и спасибо вам, дорогой мой! С вами как-то легче: вы не уговариваете и не успокаиваете, но вы... У вас какой-то другой глаз, чем у меня: я вижу так, а вы видите иначе.

— Правильно! — весело рассмеялся Андрей. — Вот, например, мы оба с вами не видим ничего хорошего в советской жизни. Но вы не видите оттого, что изо всех сил не хотите увидеть хорошего, а я — оттого, что изо всех сил хочу хоть что-нибудь хорошее увидеть!

— Ну, да... Да, хотите! Ведь вы... Ведь вам... Сколько вам лет, дорогой мой?

— Скоро тридцать стукнет.

— Вот видите: тридцать! И вы, выходит, вполне советский продукт, дорогой мой, а тем не менее... тем не менее... Удивительно! Удивительно!

Вошла Ольга Михайловна, свояченица Пестрикова. Когда его жена уехала, он списался с ее сестрой, и та, как она говорила, «пожалела» его: приехала к нему и стала жить не то прислугой, не то полной хозяйкой.

— Глеб Петрович, — обиженно сказала она. — Что же это такое? Уже девять скоро, а вы еще не пообедали... Идите обедать!

— Да, да, — спохватился Пестриков. — Я, кажется, очень голоден, и я, знаете ли... я с удовольствием выпил бы сейчас рюмку водки. Хотите? — повернулся он к Андрею.

— Но у нас нечем закусить! — искренно испугалась Ольга Михайловна. — Только борщ и вареники с творогом, но не станете же вы водку борщом или варениками закусывать... Ах! — вспомнила она. — У нас редька есть!.. Хотите, я натру вам ее и — с постным маслом. А?

— Редька? — радостно оживился Андрей. — Всю жизнь мечтал о рюмке водки под речечку! Это же черт знает как з-забавно!

Он вскочил с места, выпрямился, весело посмотрел на Ольгу Михайловну и, дурачась, сказал с декламационной напыщенностью:

— Он будет пить водку под тертую редьку. Он — это я! И ткнул себя пальцем в грудь.

В июне объявили о расстреле Тухачевского, Якира, Уборевича и других. Как всегда, объявили не только сдержанно, но и невнятно. Не привели фактов, а ограничились только утверждениями и ругательно-проклинающими эпитетами.

Повсюду начали созывать митинги и на них в штампованных словах, с заранее заготовленным возмущением одобряли расстрел «изменников великому делу коммунизма» и требовали от правительства беспощадной расправы с врагами. Газеты вопили, радио вопило, митинги вопили. Создавались дикие, противоестественные импульсы. Создавался полный лживого гнева мираж всеобщего возмущения, и этот мираж был настолько властен своей фальшивой правдоподобностью, что даже те, кто втайне жалели, что «Тухачевскому не удалось», начинали чувствовать, что и в них пробуждается чуть ли не звериная злоба против него.

Был обман, но была и правда: правдой был страх. Когда на митингах оглашалась резолюция с требованием казней и беспощадности, и когда председательствующий, буравя собрание глазами, спрашивал — «Кто за?» все спешили не просто поднять руку, а словно выкинуть ее вверх. Было нужно поднять руку тотчас же, не замедляя ни на полсекунды, не обнаруживая (Боже сохрани!) колебания. Было нужно выкинуть руку вверх с особым вдохновением возмущенного гражданина.

На стекольном заводе у Пестрикова объявили: завтра в обеденный перерыв — митинг протеста. У всех партийцев (особенно у директора и у секретаря парторганизации) лица вдруг сделались холодными, властными и замкнутыми. И только комсомольцы помоложе, словно неопсовелые щенки, начали задорно хорохориться и петушиться.

Пестриков узнал о завтрашнем митинге и весь сжался. «Опять все будут гнусно лгать! — с тоскливым отвращением подумал он. — И я тоже опять буду гнусно лгать! Лгать о крови? Ведь о крови же!» Его лицо скривилось в болезненную гримасу, но он тотчас же сделал усилие и принял обычный вид: бодрый и уверенный. «Ту-ру-ру!» — стал напевать

он, искоса поглядывая на директора и слушая, как колотится сердце. «Господи, как противно!» — мучась, подумал он.

Как и все, он ничего не знал о Тухачевском и о его преступлении, но завтрашний митинг мучил его. Он знал всё, что будет завтра говориться, и ему заранее было жутко: «Требуем беспощадной борьбы с врагами народа! Если враг не сдаётся, его уничтожают! Смерть всем, кто осмелится поднять руку на завоевания Октября!» До конца была страшна и невыносима та холодная и непоколебимая кровожадность, которую (он уверенно знал это) будут завтра возбуждать в себе все выступающие с речами. Он заранее видел ту красную мглу, которая завтра будет колыхаться перед его глазами, заранее чувствовал как бы запах крови и заранее боялся той дрожи, какой завтра будут дрожать его ноги.

Целый день он ходил по заводу с сдавленным сердцем и тоскливо хотел уйти: на улицу, домой, за город. Но уйти было никак нельзя, и только в шестом часу он, чуть ли не тайком, воровато выскользнул с завода.

В проходной будке он встретился с Липягиным, старым шлифовальщиком, который считался лучшим мастером в цеху и выполнял самую тонкую «художественную» алмазную резку на той посуде и на тех вазах, которых никогда и нигде не было в продаже. «В Москву отсылают!» — догадывались на заводе.

Из проходной будки они вышли вместе и молча пошли по пыльному переулку, который вел на большую улицу предместья.

— Такие-то дела, Глеб Петрович! — вздохнул Липягин. — Был Тухачевский и — нет его! Ком-миссия отца Дионисия!..

Липягина Пестриков знал давно, лет 7-8, и давно уж сложилось так, что они словно бы сдружились. Липягин всегда смотрел на Пестрикова стариковски ласково и говорил с ним таким особо доверительным тоном, будто между ними было что-то условленное и для них обоих несомненное, но чего они никому другому не скажут и не покажут, а между собою

откроют не стесняясь. Но даже и при этом доверительном тоне Липягин старался говорить иносказательно, намеками, больше напирая на подчеркнутую выразительность интонаций, чем на определенность слов.

— Чего это вы так поздно домой уходите, Федор Герасимович? — не поддержал его темы Пестриков. — Вы ж на первой смене сегодня были, уже час как вам пора бы домой идти. Задержались?

— Задержишься! Меня Голиков к себе призывать изволил, секретарь парторганизации честь мне оказал поговорить со мной.

— Это насчет чего же?

— Да насчет митинга завтрашнего. «Выступи, говорит, Липягин на нем от имени беспартийных рабочих!»

— Вот как... А вы, что ж?

— А я уперся: не хочу! Как если я беспартийный, так нечего меня в ораторы определять. Зачем же барана в хомут затягивать? И года у меня не такие, и слов я нужных не знаю...

— Согласился? Отпустил вас?

— Отпусти-ил! Рассердился, кажись, малость, да ведь мне с ним детей не крестить: пусть его посердится, я не обижаюсь. А живую еще кровь на чужой могиле размазывать несогласен. Кто расстреливал, тот пускай и брешет завтра. «Сама садик я садила, сама буду поливать!» — рассмеялся он старческой хрипотцой. — Вот оно как!

— Да, да...

Дошли до улицы, где надо было расставаться. Пожали друг другу руки и уже разошлись было, но Липягин (немного конфузливо) предложил:

— А может быть, вы, Глеб Петрович, ко мне зайти захотите? Не то, чтобы в гости, а так... Покалякать! У меня, признаться вам сказать, водочка на зубровке есть настоенная, а старуха моя щец нам даст... Для компании, а?

И Пестриков сразу увидел, что ничего он так не хочет, как посидеть с Липягиным, выпить с ним две-три рюмки зуб-

ровки и послушать его мягкий голос, то снисходительно спокойный, то иронически намекающий. Целый день он ходил с напряженным сердцем и всматривался в тот призрак крови, которому ему завтра прикажут рукоплескать. «Кто за выстрел в затылок?» И он при всех скажет — «Я!» А голос Липягина и его слова уводили от этого призрака и говорили о другом: привычном, честном и милом.

— Да я, что ж... Я с удовольствием, — неопределенно заколыхался он.

— Ну, и отличное это дело! — мягко обрадовался Липягин. — А я вот тут живу, за углом... В Козихином переулке. Уже лет 30 там живу, домик от родителей мне достался. Старый он, конечно, да новый-то к чему ж мне?

Домик был не только старый, но и маленький: сенцы, две комнатки, кухня и чулан. Потолки были низкие, окна крохотные, и полы кривые. Но Пестрикову, когда он вошел и когда за ним закрылась дверь на улицу, показалось, будто он полностью ушел от того, что осталось «там», и будто он, переступив через порог, переступил на 25 лет назад. Нехитрая мебелишка — старая, половички — старые, лампы — старые, коврик на стене (кусты роз, а среди них — тигр) — старый. На боковой стене в простеньких рамочках висели полувывешенные фотографии: солдат какого-то гвардейского кавалерийского полка в кивере и с обнаженной саблей, жених в длиннополом сюртуке и невеста в белом платье с фатой (позы вытянутые, лица застывшие), иерей в камиллавке. На облупившейся этажерке (на верхней полочке) — вазочка с двумя бумажными розами, раскрашенный гипсовый бульдог, тикающий будильник и кружка в виде березового пня с надписью: «Напейся, но не облейся!» Воздух чистый, окна раскрыты, а за ними — кусты уже отцветшей сирени.

И Пестрикову показалось: всего того, что есть «там», — нет. Нет ни его постоянного «противно», ни расстрела Туха-

чевского, ни завтрашнего митинга. Всѣ это — немыслимый кошмар, приснившийся ночью, а вот сейчас он раскрыл глаза и видит: жизнь проста, ласкова и благосклонна. Сосущая тоска в сердце отпустила, и ему захотелось улыбаться.

— Ну, что ж, — гостеприимно предложил Липягин. — Коли желаете руки помыть, то вот тут у меня и рукомойничек приспособлен. А потом ко щам приступим.

Анна Петровна (жена Липягина) под зубровку поставила селедку с луком и вареную говядину.

— А я вчерашний день от сына письмо получил, — похвастался Липягин, обсасывая косточку селедки. — Он у меня на Передаточной в паровозных мастерских среднего ремонта работает. Начальник цеха, как же! Инженер он... Институт закончил...

— Вот как? Это хорошо! — с удовольствием похвалил Пестриков.

— Очень даже, — немного странным тоном согласился Липягин: хитро прищурился и посмотрел многозначительно. — 700 рублей зарплаты в получку и вполне сумасшедшая беготня по его беспартийному положению... Чего же лучше? И мы с вами, Глеб Петрович, если вы допускаете, еще по одной выпьем. Желаете?

— С удовольствием! Она очень вкусная, ваша зубровка...

— Она хоть и не беловежская, а наша, местная, но по аромату, я так понимаю, ничуть не уступает. Будемте здоровы! Я, Глеб Петрович, выпить люблю, но пью исключительно для вкуса, а отнюдь не для пьянства. И моя Анна Петровна меня пьяным никогда не видала. Так, Анна Петровна?

Анна Петровна шумно вздохнула и с простодушной гордостью подтвердила:

— Это так! Это, как ни на есть, так!..

Выпили еще по одной: Пестриков нервно и быстро, а Липягин вкусно и с удовольствием. Селедку уже кончили и потянули по куску разварного мяса. Липягин круто посолил свой кусок.

— Когда эта наша советская власть, значит, установилась, — спокойно, но по-прежнему хитро прищуривая глаз, вернулся он к прежнему, — моему Петуныке всего лишь 7 или 8 лет было. Ну, тогда, знаете ли, еще никто ничего не понимал, а верили, будто — раз-два-три! — молочные реки в кисельных берегах текут. И я насчет Петуныки, признаться вам сказать, даже радоваться начал: «Вот, думаю себе, мой Петуныка доктором станет или, того лучше, инженером!» Я просто на просто шлифовальщик при камне, а сын мой — инженер! О-го-го!

— Так что же?

— А вот то же, Глеб Петрович! Хоть он и в новой коже, а всё же в прежней рогоже! У меня ведь какое воображение о докторе или об инженере было? Я ведь так полагал, что если он доктор или инженер, так он — барин! Ему и звание полагается, и жалованье хорошее, и почет ото всех... Так? А у нас теперь заместо звания одно только название! Обратили вы внимание на это? Заместо того, чтобы нижних поднять, высших опустили, вот каким манером действовать начали. Петуныка мой, хоть и инженер, а комнатенку имеет крохотную, штанцы носит задрипанные и папиросы курит самого третьего сорта. А про почет или уважение и говорить нечего: заместо уважения — беспартийное положение, а заместо почета — стахановская работа! Уж больно всех уравниали, Глеб Петрович: что инженер, что стеклодув, что колхозник, что профессор — всё одно!

— Так это ж хорошо! — поднял голову Пестриков. — Равенство ж!

— Ра-авенство? — иронически протянул Липягин и еще хитрее прищурил глаз. — Покорно вас благодарю за такое хорошее слово, и весьма большое вам за него мерси! Но ведь сами, небось, знаете: на словах — что на гусях, а на деле — что на балалайке. Такое равенство, как у нас, то собою означает, что никто себе никакого улучшения не ищет: улучшай или не улучшай, а всё равно равным останешься, лучшим не станешь. С другой же стороны у нас еще и так: если одного

ни за что считают и другого ни за что считают, так они вполне равны выходят. Хе-хе! Такое равенство, позвольте вам сказать, всё одно, что покойники на кладбище: одна только та разница меж ними, что один вчера сгнил а другой завтра сгниет. Вполне они, значит, равны! Бесклассовое общество у них, значит, по Карле Марксе... — сипло рассмеялся он и опять подмигнул. — А как этот самый Карла Маркса, позвольте вас спросить, на тот случай говорит, чтобы мы с вами еще по одной выпили? А? Разрешите?

— Отчего же... Для вкуса?

— Исключительно для вкуса! Я, Глеб Петрович, в этом самом марксизме ни чуточки не разбираюсь: где, что и куда — никак не пойму. А вот кум у меня есть, так тот... марксист! Вполне ученый!

Он выпил свою рюмку, прожевал кусок мяса и, что-то вспомнив, покрутил головой.

— Кам-медия! Это, значит, еще в прошлом годе было. Сцапали моего кума и куда надо запрятали. И стали там его про каких-то вредителей спрашивать: кого из них он знает, и с кем он сам вредительствует? Он и так, он и сяк: «Ничего не знаю!» Ну, там на него и обиделись, что он по хорошему говорить не хочет, да как тра-ахнут его каменным пресспапьем по зубам: «Говори, сукин сын!» Зуб, сами знаете, кость хрупкую имеет, против камня выдержать не может. Выплюнул кум мой не то три, не то четыре зуба, кровь ладонью вытер, глянул, а против него... Батюшки светы! Против него портрет Карлы Марксы в полном почете на стене висит: с бородой и с прической. Так он, кум-то мой, в тую же самую минуту весь марксизм, какой он есть, мигом понял: «Вот он, стало быть, какой!» Изучать не изучал, а на практике в суть вникнул. Конечно, личность ему этим учением малость попортили, да он этим не смущается. «Вставь, говорю ему зубы-то: нехорошо с дырявым ртом ходить!» А он не соглашается: «Я, говорит, желаю, чтобы все видели, как я на марксизме все зубы съел! И до той поры, говорит, я их себе не вставлю, пока я этот марксизм до конца не осилю!» Понимаете? «До конца не осилю»...

Полностью, значит, изучить его хочет, хе-хе-хе! Беги, голый, а то разденут!

Было видно, что говорит он с удовольствием. Благодушно пить зубровку, не спеша закусывать, делиться мыслями и подбирать удачные слова составляло для него приятность и он с удовольствием ей предавался. Анна Петровна принесла борщ и пожаловалась на то, что теперь «нигде настоящей сметаны не достанешь». Борщ был вкусный, наваристый, и Пестриков ел его с аппетитом.

— Настоящую сметану которая, значит, натуральная, теперь достать, действительно, трудно! — с охотой подхватил Липягин новую тему. — А почему? Потому! Теперь ведь у нас так стало дело, что сметану коммунист ложкой сметает, а большевик в нее перцу подсыпает. Вот и выходит: ни сметаны, ни ложки, а один только перец.

— Как? Как? — зацепился за какую-то мысль Пестриков. — Коммунист ложкой сметает, а большевик перцу подсыпает? Так разве же коммунист и большевик не одно и то же?

— Как можно! — изумился вопросу Липягин и даже отложил ложку в сторону. — Это ж, можно сказать, даже без малейшего сходства!

— Какая ж разница, по-вашему?

— Разница очень даже значительная, Глеб Петрович! Оч-чень даже значительная! Коммунист, это который в свой коммунизм верит и на камне чертополох сеет, а сам ждет, что у него пшеница вырастет, да такая, что люди и не видали: зерно — фунт! колос — пуд! Ну, конечно, пшеницы у него не получается, и даже чертополох не вырастает, потому что на камне сеет, но только он этого ничуть не понимает и не замечает: он ведь на один глаз слеп, другим отроду ничего не видит, а поэтому и вполне зрячим себя считает. «Вы все вредители и диверсанты, а я вот доподлинно знаю, что из чертополоха на камне обязательно должна пшеница вырасти: меня так сам Ленин учил!» Дурачок он, а потому и вредный!

— Так... Ну, а большевик?

— Большевик — другое... Большевик, если прямо говорить, сволочь, а больше и ничего. Вы думаете, будто большевику Ленин, коммунизм или Карла Маркса нужен? Ему одно нужно: всех придавить, а самому наверху быть. Верно вам говорю, Глеб Петрович! Вот вы встретите большевика, так в глаза ему загляните: сразу увидите. Это, может, раньше большевики коммунистами были, а коммунисты большевиками: в революцию или, скажем, в гражданскую войну. А теперь большевик совсем другой пошел: безо всякого коммунизма, а только с тем, чтобы всех придавить, а самому наверху быть! — повторил он, очень довольный своим определением.

— Гм!.. Так?

— Именно так, Глеб Петрович, никак не иначе! Большевик, он — всё одно, как медведь в сказке: «А я — Вас-Всех-Давишь!» Большевика, я вам прямо скажу, Глеб Петрович, большевика я боюсь!

— Да! — невольно дернулся Пестриков. — Он страшный.

— Он страшный! Он меня уничтожить хочет. Да не убить, а по особенному: чтоб я после уничтожения живой остался. Что мне с того, что он мне коммунистические дворцы сулит? Первое дело — врет он, о моих дворцах он даже и не думает, а второе — мне не дворец нужен, а нужно мне, чтобы я по своей воле жил. Вот я повеситься, скажем, в этом дворце захочу, так позволит он мне по своей воле повеситься? Никак не позволит, а сам меня удавит! А я, надо вам сказать, не хочу, чтобы меня удавили, потому что я иначе повеситься хочу: по своей воле и вполне на своей веревке!

— По своей воле? — изо всех сил вдумываясь, переспросил Пестриков.

— Именно так: по своей! Свои, значит, чувствования, свои и мысли. Так? И слова чтоб свои, и поступки... Это я понимаю: это — человек. А если так, чтобы на полном послушании быть, так я на это ничуть не согласен. И если ты

мне велишь на тухачевскую могилу собакой лаять, так я... ни-зачто!

И он затряс головой с самым решительным видом.

Пестриков был слаб, и три-четыре рюмки, которые он выпил, разморили его. Он не шатался, не говорил бессвязных слов, но внутри его всё размякло, и он ослабел.

Пока он сидел у Липягина, он не замечал этой слабости. Но когда он вышел на уже темную улицу городского предместья, когда летний вечер, теплый и тихий в пригороде, обнял его, когда он увидел над головой звезды, и когда до него донесся откуда-то слабый запах жасмина, он остановился и взялся рукой за сердце. То тихое и благодушное, которое успокоило его у Липягина, осталось в маленьком домике, а на улице к нему подошло ощущение того, что есть. И ни летний вечер, ни звезды наверху, ни отдаленный запах жасмина не могли скрыть того, что есть. Оно есть, оно властвует, и оно подчиняет. Оно везде и во всем, а он, старенький человек, чудом сохранившийся в новой жизни, ненужно стоит один на темной улице городского предместья, бессильный не только отстранить это, но и уйти.

В нем начала подниматься безмерная жалость к себе, тоска по утерянному и сознание обреченности. Бороться он не мог никогда, и все последние 20 лет он только барахтался, как барахтается в воде слепой щенок, которого бросили, чтобы утопить. И сейчас он чуть ли не с ужасом видел, что у него уже нет сил даже для того, чтобы барахтаться.

Он стоял у чужого забора в тени высокого дерева и не знал: что ему сейчас надо делать, и надо ли делать хоть что-нибудь? Он старался не думать о завтрашнем митинге и о том, что он сам завтра будет делать. Безучастно стоять и слушать? Но руку-то свою, свою руку он ведь всё-таки поднимет, когда прикажут. Ведь проголосует он «за»! Это было нестерпимо. Он гнал прочь и мысли, и представления, но про-

гнать их не мог, они врывались в него и мучили. «А другие? А другие-то как? — пытался он во что-то вникнуть и понять. — Тоже вот так, как я, или... Или они будут спокойны? Как спокойны, каким спокойствием спокойны? Проголосуют за кровь и пойдут обедать?» И бессильное озлобление, доходящее до ненависти, охватило его.

«Это не люди! Это... Это... Ненавижу!» — беззвучно прошептал он и тут же, сразу, вместе со словом «ненавижу» вспомнил лицо Андрея, когда тот с ласковой и веселой уверенностью говорил ему: «Люди? Нет, люди народ хороший, их ненавидеть не за что!» И он напрягался, чтобы сообразить: не за что? неужели и в самом деле не за что? «Да, да! — хватался он за обрывки мыслей. — Андрей Николаевич прав: человек у нас совсем не такой, каким кажется: он прячется и уходит в одиночество, а одиночество вырабатывает в нем волю, и наш человек — волевой человек. Даже не верится, что он — сын чеховских отцов. Но ведь завтра этот волевой человек проголосует «за», ведь он везде голосует «за». И еще ни разу он не сказал своего «против», даже непохоже на то, будто в нем есть это «против». Как понять это? Как это понять? А я? Я проголосую?» Он не отвечал, но знал: и он проголосует. «А Липягин?»

Он понимал: в том, что завтра проголосуют все, проголосует и он сам, проголосует и Липягин, заключено страшное. Но вместе с тем мысль о Липягине, как и мысль об Андрее, говорила, что даже завтрашнее голосование еще не последний шаг, что подчинение злой силе еще не гибель и что будущее всё-таки есть. Он молниеносно, как это может сделать только мысль, пробежал по лицам заводских рабочих, таких знакомых, обыкновенных и даже надоевших, и почувствовал, что он хочет подойти к каждому и быть с каждым. «Да, да! Завтра они все проголосуют «за», но у каждого в душе будет свое, и вот это-то свое и не даст погибнуть: ни им, ни мне». И он стал думать о том, как было бы хорошо, если бы завтра он перед митингом обошел их всех и каждому пожал бы руку. «Ничего не надо говорить, а только пожать руку!» Он знал,

что он не подойдет и руки не пожмет, но даже одна только мысль об этом его подкрепила и словно выпрямила. «Люди — народ хороший!» — опять вспомнил он и слабо, очень слабо улыбнулся в темноте.

А потом медленно и бессильно пошел к трамваю, вяло поднимая ноги и чувствуя слабость.

Когда на другой день Пестриков, придя на завод, проходил через контрольную будку, ему сказали, что Голиков зовет его к себе: «Пусть зайдет, как только придет!» Пестриков немного покоробился: «И почему они всегда говорят так... выразительно — подумал он. — Не «просит зайти», а — «зывает». Впрочем, он, конечно, не просил, а именно звал. Секретарь парторганизации, как же иначе!»

Он и недолюбливал, и побаивался Голикова. Тот всегда был сдержанным, не грубил и не хамил, но смотрел холодно, и глаза у него были колючие. Беспартийных интеллигентов (особенно — годами постарше) он очень явно презирал, огульно считал их всех врагами советской власти и не доверял им. Раньше он вел себя по отношению к ним резко и вызывающе, но в прошлом году ему сделали в обкоме замечание за «недопустимую махаевщину», и он стал сдерживать себя. «Чорт с ними, всё равно они скоро все вымрут без остатка!»

Пестриков, не заходя в контору, перешел наискосок заводской двор и пошел к пристройке, где помещался отдел кадров и была комната Голикова, которую он называл секретариатом. Но еще по дороге он сообразил, что вызывают его даром и, конечно, по какому-нибудь неприятному делу. «Хорошего от них не жди!» — тоскливо подумал он.

Голиков встретил его сухо, но вежливо. Попросил сесть и тотчас же заговорил о деле.

— О расстреле бывшего маршала Тухачевского вы, конечно, знаете, товарищ Пестриков. И о том, что у нас сегодня

будет митинг, тоже знаете. Так вот: мы вчера обсуждали и решили, что на этом митинге надо выступить и вам. Во-первых, как представителю технической администрации завода, и, во-вторых, как беспартийному. Ненадолго, минут на пять, не больше. Скажите коротко, но посильнее.

У Пестрикова застучало в висках. Он было схватил глоток воздуха, но судорога внезапно сдавила, и воздух не вошел в грудь, а как-то втолкнулся.

— Я... — начал было он.

— Вы составьте небольшой конспект и дайте мне! — с такой уверенностью продолжал Голиков, будто отказа Пестрикова не могло быть, и он об этом не думает. — Два-три тезиса... Что мы, значит, одобряем расстрел изменников и требуем неуклонной бдительности. Ну, и беспощадной расправы, конечно... И со своей стороны клянемся выявить всех врагов народа в нашей среде, которые...

Он говорил, но Пестриков не мог понять: что такое говорит он? Обрывки мыслей, то возникали, то исчезали, но ни одно слово не приходило, и ни одна фраза не складывалась. Быстро пробежало представление о Липягине, и от этого еще больнее заняло сердце.

— Я... — начал он опять. — Я, конечно, с удовольствием и... и очень благодарен за лестное доверие... Но у меня сегодня, знаете ли, горло болит, и хриплю я... — вдруг поймал он детски нелепую отговорку и умоляюще посмотрел на Голикова.

— Горло? — насмешливо ухмыльнулся тот. — Вы, значит, не хотите? — слегка поднял он голову, чтобы посмотреть сверху вниз. — Отказываетесь?

Его тон и взгляд были не только властны: в них была несомненная уверенность. И вот эта-то уверенность сразу сломила Пестрикова: он не смог ни сопротивляться, ни пытаться сопротивляться. Это было подавление.

— Нет, я... Что вы, товарищ Голиков! — засуетился он на стуле. — Я только потому, что горло вот... Быть может,

лучше, чтобы Зарудин, а? — попробовал он подсказать другую жертву, но тут же спохватился. — Но если вы считаете, что лучше — я, так я... Что ж! Минут пять, говорите? Коротенько?

— Не больше. Митинг мы затягивать не станем. Директор скажет два слова, потом я, после меня — вы, а под конец — Хватов: от молодежи. Вот вам и 20 минут целых. Надо поскорее окончить, чтобы рабочим и пообедать осталось время.

— Значит... Значит, одобряем, мол, и... бдительность? — неуверенно спросил Пестриков и, быстро моргая глазами, чуть ли не жалобно глянул на Голикова.

Тот усмехнулся. Он хорошо понимал, как изо всех сил не хочет Пестриков выступать на митинге, и чуть ли не восхищался тем, что он всё-таки выступит. «Сопля интеллигентская!» — подумал он.

— Вы составьте конспект и мне его передайте! — распорядился он. — Я просмотрю.

Когда Пестриков пришел к себе в контору, он отупело постоял минуты две перед столом, силясь понять: что ему сейчас надо делать? Конечно, надо было, как всегда, обойти цеха, но... Было в нем сильное «но», которое никак не позволяло ему сделать обычный обход. Он стоял перед столом, не открывал ящиков и не доставал оттуда нужных бумаг, а бесильно пытался сообразить: можно ли еще сделать как-нибудь так, чтобы не выступать на митинге? «А ведь и Липягин будет там! — с испугом вспомнил он. — И услышит, что я... Как я...»

Он присел к столу и стал набрасывать конспект. Смутно хотелось составить его как-то так, чтобы «не покривить совестью» и вместе с тем — сказать то, «что надо». Но «не покривить» и «то, что надо» были так несовместимы и так уничтожали друг друга, что соединить их было невозможно, а возможно было только смутно хотеть этого. И он быстро стал писать то, что было готовым и выработанным: «В ответ на наглую вылазку врагов народа... Целиком и полностью одобряем расправу, которая»... Он написал о повышении бдитель-

ности и производительности труда, потому что слово «повышение» въевшимся шаблоном равно тащило за собой и «бдительность», и «производительность труда». Он даже не заметил, что эти два слова, стоя рядом, звучат почти анекдотически... Но они были как раз тем, «что надо».

«Только пять минут! Всего только пять минут!» — убеждал он себя, не зная, в чем убеждает, но пытаясь найти в этой мысли и поддержку, и оправдание. Потом вспомнил, как Голиков сказал: «Кончим поскорее, ведь надо будет успеть и пообедать!» И он приостановил дыхание: «Как это до непонятности просто у него, до жути просто! Одобрим пролитие крови поскорее, чтобы успеть и пообедать!» Он понял, что нельзя, никак нельзя останавливаться на этой мысли и проникать в нее, а поскорее схватил конспект и быстро, чуть ли не бегом, пошел к Голикову.

Потом он заставил себя пройти по цехам. Деловые будни охватили его, и он даже начал забывать о том, что его мучило. Компрессор, подающий воздух, чересчур явно сипел, и это обстоятельство заслонило перед ним митинг: «Обязательно нужны новые втулки! — напряженно стал соображать он. — Эти уже сто раз натачивали и перетачивали!» Он взглянул на часы: до митинга оставалось всего два часа. Сердце опять замерло, и он, словно не выдержав, побежал в контору, вызвал конструктора и с нервной торопливостью стал говорить с ним о новых втулках.

Обеденный перерыв наступил как бы внезапно. Пестриков, кажется, забыл о нем и спохватился, услышав гудок. И тотчас же из всех цехов стали выходить рабочие, с сумрачной деловитостью направляясь на большую площадку позади упаковочного сарая, где обычно собирались на митинг. Голиков хлопотливо и озабоченно вбежал в контору, прошел к директору и через полминуты вышел с ним обратно.

— Товарищ Пестриков! — на ходу крикнул он. — Идем!

На площадке уже собрались. Трибуны не было, а вместо нее всегда приносили несколько столов, которые и составляли вместе. Около них уже жался небольшой заводской оркестрик.

Голиков вскочил на столы и поднял обе руки вверх. Гул затих, и все лица повернулись к нему.

— Товарищи! — привычным митинговым голосом закричал он. — От имени парторганизации нашего завода объявляю наш заводской митинг, созданный для обсуждения новой подлой вылазки врагов народа и социалистического строительства... (он сделал паузу и выкрикнул еще громче) — открытым!

Повернулся и дал знак оркестру. Тот зашевелился, огляделся и заиграл «Интернационал». Оркестр был маленький, и «Интернационал» звучал слабо, невыразительно и даже скучно. И чуть только он замолк, Голиков опять выбросил руки вверх.

— Слово предоставляется директору завода, товарищу Сунегину!

Директор, неуверенно ступая по шатающимся столечникам, подошел к самому краю и обвел всех глазами. Набрал в грудь воздуха и стал уверенно выкрикивать теми интонациями, которые уже давно выработались на митингах и стали как бы обязательными.

— Товарищи! Мы сегодня собрались сюда для того, чтобы...

Пестриков не старался слушать и понимать. Он даже не смотрел на грузного директора, но слова сами влетали в уши. Это были слова-штампы, и от них становилось душно: «наимиты умирающего капитализма», «презренная свора фашистских псов», «гноусное отретье троцкистского охвостья»... Потом директор еще больше повысил голос и стал выкрикивать о беспощадности в борьбе: «если враг не сдается, его уничтожают! смерть врагам коммунизма!» Пестриков пытался сообразить: «Он сейчас кончает... Еще одна-две минуты, и он кончит. А потом — Голиков... А потом — я!» Сердце замирало в холодной спазме, а к горлу поднимался комок, который мешал дышать. Он почти не заметил как директор кончил и отошел, а оркестр опять подхватил такты «Интернационала». Потом к краю подошел Голиков. Опять раздалось ненужное, но обя-

зательное: «Мы сегодня собрались сюда для того, чтобы»... А потом опять начало бить: «всей нашей пролетарской твердостью одобряем расстрел подлых изменников» и — «смерть всем, кто осмелится стоять на нашем пути!»

Рабочие почти не шевелились и хмуρο молчали: ни одобрения, ни протеста. Среди них были и партийцы, и беспартийные, и комсомольцы, но различить их сейчас было нельзя. У всех было одно выражение: как будто их здесь нет, как будто они ничего не слышат, а то, что сейчас говорят, говорят совсем не для них. Конечно, у каждого были мысли и чувства, но никто не открывал мыслей и не показывал чувств. Если бы Голиков умел понимать, он понял бы, какая стена отгораживает сейчас его от рабочих и что значит их молчание. И директор, и он старались говорить горячо, даже страстно, бросали самые возбуждающие слова и, казалось бы, митинг должен был реветь и бурлить. Но митинг молчал. Ни выкриков, ни движения, ни гневных глаз... Рабочие ничем не могли защитить себя, но они отгородились молчанием. Голиков считал его согласием.

По тому, как стал изменять свои интонации Голиков, как особенно энергично стал выкрикивать он, видно было, что он собирается кончить. И он, действительно, перешел к концу. «Да здравствует авангард рабочих всего мира, наша коммунистическая, большевистская партия! — выкрикивал он. — Да здравствует отец народов, вождь и учитель, великий... — он выдержал подчеркивающую паузу и что есть силы выкрикнул: — товарищ Сталин!» Оркестр подхватил его выкрик. А когда оркестр смолк, он совсем другим тоном, деловым, спокойным и будничным, объявил:

— Слово от имени беспартийных работников завода предоставляется товарищу Пестрикову.

Пестриков покачнулся на месте и, отодвинув кого-то, неровным шагом подошел к столам. «Как же я влезу?» — смутно подумал он. Его подхватили и помогли ему. Он, плохо сообщая, подошел к краю и остановился. «Что я скажу? Что я могу сказать?» — холодом пробежало в нем, и он открыл рот.

— Товарищи! — очень тихо и неуверенно начал он. — Мы сегодня собрались сюда для того, чтобы...

Советский трафарет имеет великую силу. Пестриков почувствовал на себе силу этого трафарета и тотчас же поддался ей, как поддается утопающий спасающей силе пробкового круга. Не думая ни о чем, не понимая того, что он говорит, ввевшимся митинговым голосом он начал выкрикивать те же слова, которые только что выкрикивали директор и Голиков. Сказал о врагах, которых надо уничтожить, если они не сдаются, сказал и о подлых фашистских псах. И он даже не замечал, как его язык начал выкрикивать те слова, которые он, Глеб Петрович Пестриков, со страхом и ненавистью проклинал: «смерть, кровь, расправа»...

Всего дальнейшего он не помнил. Он словно не слышал, как Голиков «зачитал» резолюцию и с вызывающей твердостью не спросил, а потребовал: «Кто — за?» Все подняли руку неизъяснимым движением: «Требуешь? На! Чорт с тобой!» После этого митинг окончился, и все, с чувством освобождения, стали быстро расходиться. Директор кричал кому-то, чтобы уносили столы, а Голиков с озабоченным видом что-то записывал в блокнот. Пестриков всё стоял, потрясенный и непонимающий. Страшная (т. е. та, от которой ему было страшно) и мучительная волна наполнила его, и он, не смея поднять глаза, стоял на месте и словно ждал чего-то. И чуть ли не с отчаяньем вспомнил о Липягине.

— Хорошо сказали! — с небрежной снисходительностью бросил ему Голиков, торопливо проходя мимо него.

...Андрей спал крепко и спокойно. Но вдруг проснулся: кто-то очень нервно и испуганно стучал в его дверь.

— Да, да! — крикнул он, приподнимаясь.

Дверь не открыли, а рванули, и в комнату вбежала Ольга Михайловна, свояченица Пестрикова. Она была полуодета и с почти обезумевшим лицом. Подбежала к Андрею, схватила его

за руки и начала беспорядочно, дико что-то говорить, быстро сыпя словами. «Скорей, скорей!» — кричала она. Андрей ничего не понял, вскочил с кровати и, как был, в одних только трусах, бросился за нею. В коридоре он мельком увидел, как другие соседи, Городихины, испуганно выглядывали из двери.

Пестриков, одетый, в пиджаке и брюках, лежал в неестественной позе на кровати, немного наискосок. Лицо его было бледно, губы посерели и дрожали мелкой дрожью. Глаза были закрыты, но под веками было видно, как вздрагивают они и слегка, но очень напряженно поворачиваются. Глазные яблоки, закрытые веками, показались Андрею пугающе большими.

В первую секунду он ничего не понял, но через секунду понял. Подбежал к телефону, набрал номер и вызвал скорую помощь. Подбежал к кровати, наклонился и стал пробовать пульс. Пульс был слабый. Андрей снял с Пестрикова галстук и воротничок, расстегнул рубашу и пояс брюк. Ольга Михайловна в полном смятении быстро и бессвязно говорила ему что-то, и он уловил слово «отравился». Наклонился ко рту Пестрикова и принюхался: никакого запаха не было. Он выпрямился и оглядел оба стола. Он увидел небольшую баночку темного стекла, с притертой пробкой. Схватил ее и на этикетке прочел: «*Morphium muriaticum*».

В это время подъехала карета скорой помощи.

— Отравление! — сказал Андрей доктору. — Вероятно, морфием.

Доктор слегка скривился.

— Ладно... Посмотрим! Если не очень много, то отходим.

Когда карета скорой помощи увезла Пестрикова в больницу, Андрей опомнился и огляделся. Ольга Михайловна тоже немного пришла в себя и уже рассказывала Городихиным (Андрей не заметил, как они вошли) о том, что произошло. По ее словам Пестриков пришел домой поздно, около 12-ти, и был очень не в себе. Не стал ни есть, ни пить чай, а сразу прошел в свою комнату...

Андрей дальше не слушал. Внезапная мысль, вернее догадка, возникла в нем, и он схватился за нее. Вошел в комнату Пестрикова и стал искать глазами по столам и даже на полу. «Не мог не оставить, должен был оставить! — уверенно твердил он себе. — Может быть, в карман сунул?» Он приподнял на столе бювар, и увидел под ним заклеенный конверт без надписи. Оглянулся (не смотрит ли кто-нибудь за ним?), разорвал конверт и вынул лист бумаги. «Будьте вы все прокляты! Прокляты! Прокляты!» — прочитал он. Сдвинул брови и задумался. «Так я и знал: что-нибудь в этом роде! И совсем не надо, чтобы прочитали это... Чего доброго, еще милиция завтра на происшествие явится и такое вот найдет, а он — жив останется. Тогда что?» Он сунул и конверт, и бумагу в карман и с виду совершенно спокойно вернулся в комнату Ольги Михайловны.

Минут через десять Городихины ушли.

— Ну, ложитесь и вы — сказал Андрей Ольге Михайловне. — Утром позвоним в больницу, узнаем — как и что... Обязательно ложитесь! На вас ведь лица нет! --- прибавил он, зная, что Ольге Михайловне приятно слышать, что на ней лица нет.

Войдя к себе в комнату, он остановился перед столом. «Что же это с ним было такое сегодня? — задумался он. — А ведь что-то такое было, это несомненно!»

.....

...К концу июня Пестриков уже выписался из больницы и вернулся домой. Он не говорил, что довело его до трагического шага, а Андрей не только не расспрашивал, но и довольно умело делал вид, будто ничего особенно страшного и не произошло. Когда он утром, после той ночи, узнал в больнице, что Пестриков вне опасности, он даже обдумал целый план: свалить всё на несчастный случай. Он и Ольгу Михайловну сумел убедить в этом, хотя той было чуть ли не жалко расстаться с версией о самоубийстве. И в тот же день нашел время, съездил на завод и всем рассказал, как Пестриков вчера

ошибся и вместо соды «нечаянно хватил чуть ли не целую ложку морфия». Именно это сказал он и директору, и Голикову, а потом обошел все цеха и везде втолковывал:

— Вот ведь какая ерунда получилась! Хотел от изжоги соды принять, а смотри ты, что вышло! Хорошо хоть, что схватились во-время, а то бы, чего доброго...

Когда же Пестриков вернулся из больницы домой, он стал и ему подсовывать ту же придумку: «Чтобы ему стыдно не было!» И подсказывал, как себя вести, что говорить.

— Это с моей тетей один раз так было! — придумав несуществующую тетю, уверял Андрей таким естественным тоном, как будто мысль о самоубийстве даже не приходит ему в голову. — Вместо каких-то своих порошков мышьяку хватила, еле спасли... Вот совершенно, как у вас!

— Да, я тоже... — хмуро подтвердил Пестриков, глядя в сторону. — Я тоже вот... С содой спутал...

— Осторожнее надо быть!

Пестриков благодарно посмотрел на него.

— Такой вы... Какой вы... — начал было он, но не нашел нужного слова, вздохнул и замолчал.

Ему очень хотелось рассказать Андрею «всё»: и как он выступал на митинге, и как потом ходил по заводу, и как к нему пришел Липягин. Липягин проникновенно посмотрел на него и неопределенно, но очень уверенно и душевно сказал:

— Ведь вот до чего они людей доводят! В чистую, можно сказать, их себе под ноги кладут и по ним ходят... С-сволочи!

И, уходя, соболезнующе пожал руку.

То, что он пришел, сказал и соболезнующе пожал руку, потрясло Пестрикова. Так прощают всё покойнику, и он почувствовал себя покойником. Мысль о самоубийстве пришла сама по себе и, как только пришла, стала спокойно-несомненной. Она не требовала, чтобы он задумывался над нею, взвешивал, проверял и решал, а совсем просто и очень тихо овладела им. И ему стало казаться, будто он стал пустым. И

эту пустоту он начал чувствовать в себе чуть ли не физически.

Он ушел с завода и долго бродил по городу, не думая о том, что надо идти домой. И вспоминал о той баночке с морфием, которую где-то раздобыла жена, часто жаловавшаяся на непонятные боли. Чувство пустоты всё время не покидало его, но оно его не пугало, а только казалось странным... Совсем поздно он вернулся домой и, ни слова не говоря Ольге Михайловне, прошел в свою комнату. То сидел за стол, то начинал бегать из угла в угол. «Надо написать что-нибудь, обязательно надо написать!» Попробовал было обдумать, что именно написать, но обдумывать не мог. «Будьте прокляты!» Это было всё...

Но еще в больнице, придя в себя, Пестриков вспомнил об оставленном письме в запечатанном конверте и застыл в испуге: «Ведь наверное нашли! Нашли и прочитали!» И когда он вернулся домой, то первым делом бросился к столу и приподнял бювар. Запечатанный конверт лежал на том же месте. Он не заметил, что конверт был немного другой: чуть желтее цветом и с более закругленными вырезами заклейки. И он почувствовал несказанное облегчение: «Слава Богу, никто не видал!»

Н. Нароков

Бескрылы мы, о, как бескрылы мы!
Из окружившей беспросветной тьмы
Нам невозможно перебраться к свету,
И впору было б попросить карету
У скорой помощи и ехать в ней
Куда? — не знаю, но скорей, скорей...

А. Горская

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Володя Белкин, мобилизованный во французскую армию, попавший в немецкий плен и из плена бежавший, возвращался, наконец, домой. Поезд, которым он ехал уже не таясь, довез его до ближайшего к родительской ферме городка. Там он пересел в деревенский искалеченный автобус и долго ехал проселочными пустынными дорогами мимо сверкающих лунным бутылочным блеском сплошных оранжерей и тесно прилепившихся друг к другу серых провансальских домов, похожих издали на осиные гнезда. Пассажиры помалкивали или говорили только о еде. Увидав знакомый поворот, Володя выскочил из автобуса и побежал по крутой горной тропинке в Аржевиль. Там, на тесной площади, с единственным дуплистым вязом, помнившим еще сарацин, помещались мэрия, почта, кафе и лавочка Жюльена. В мэрию надо было зайти для регистрации.

Было около девяти часов утра. Запоздавшие в школу дети, мчались размахивая сумками. Их подгонял мистраль, от которого плохо спасали старые заштопанные вязанки. Было среди них много незнакомых, хотя два года тому назад Володя знал почти каждого по имени и помнил наизусть все сплетни, которые рассказывались в деревне об их родителях. Эти знакомые дети стали почти неузнаваемы, вытянулись, исхудали. Также никто не узнавал в румяном подтянутом молодце — Вальдемара, сына русского молочника «Воронье пугало». И первое, что вспомнилось Володе, глядя на школьников, было это обидное прозвище отца. Он остановился закурить... Курить научился в армии — дома не было денег на это баловство.

Навстречу, с горы спускалась к нему какая-то несуразная фигура: разодранная черная размахайка вокруг худого ма-

ленького тела, большая не по голове фетровая продавленная шляпа, усы, как у Гитлера. В руках два пустых бидона.

— Отец! — крикнул Володя и задохнулся от радости. Фигура остановилась, подняла на Володю пустые, непонимающие, далекие глаза. Володя увидел измученное высохшее лицо, на котором страшно и жалко торчали только усы. Отец, — повторил он уже тише. И вдруг фигура затряслась мелкой дрожью, руки уронили бидоны и на Володины плечи легли длинные грязные руки.

К полуразрушенной столетней ферме они подошли вдвоем. Бидоны нес Володя, почти бежавший от нетерпения. Непоспевавший за ним Павел Петрович уже бурчал что-то по своему обыкновению.

Мать стояла у открытого окна закопченной кухни и мыла молочные бутылки. Она сгорбилась, ссохлась, осела. Босые ноги были всунуты прямо в сабо. Рванный оренбургский платок накинут на выцветшее летнее платье.

Нет, она не смотрела на дорогу, ведущую к дому. По этой дороге приходили теперь только неудачи, огорчения, невзгоды. С сонным равнодушием терла она щеткой бутылки клиентов. В кухне был стихийный беспорядок. Лопнувшая плита дымила. На столе, покрытом рваной клеенкой, тосковала вчерашняя грязная посуда. Отощавшая кошка мяукала. Чтобы делать свое каждодневное неотложное дело, надо было крепко-накрепко сжать зубы, ослепнуть, оглохнуть...

И вот, на миг, обманула дорога: вместо давно прижившихся к полуразваливающемуся дому всё новых и новых невзгод, послала она нежданную слепящую радость. Знакомая, широкая, добрая рука, щедрая во всем — подкладывала ли она коровам тайком от отца лишнее сено или подстилку на холодный, сырой пол коровника или острожно несла в горсти, находку собранные ягоды, эта единственная в мире рука протянулась в открытое окно кухни. Полина Григорьевна увидела милый, не-

покорный хохолок на макушке — единственное, что было в Володе непокорного — и родной голос позвал тихо и бережно: «Мамсик!»

Когда долгими осенними ночами она позволяла себе иногда помечтать: вот вернется, будем снова вместе — всегда неизбежно возникал вопрос о Ляле. И каждый раз она старалась отмахнуться. А потом искала нужные слова, терялась и почти радовалась, что всё это произойдет еще не сейчас, что тогда что-нибудь придумает. Но что даже первая радость свидания будет мгновенно омрачена случившимся и шемящее чувство вины, растерянное: «А ведь могло же быть иначе!» — затопит всё — разве могла она это предвидеть? Вот смотрят на нее снова кроткие карие глаза Володи, похожие на глаза доброго глупого теленка, еще не знающего, что уже приехал мясник с тележкой. Сейчас в этих глазах торжество победителя — сбегал, вернулся! — и немой пытливый вопрос. Вот уже ловкими движениями снимает он заплечный мешок, вынимает драгоценные нищие гостинцы: для отца кисет с табаком и немецкие марки — подкрепление для коллекции; для матери — будильник, военный трофей, который войдет теперь равноправным членом в семью ее немногочисленных вещей, до того сроднившихся со всей жизнью, что она помнила историю каждой, ее появление в доме, даже выражение лиц людей ее подаривших. Ведь почти всё было дареное, с неба упавшее. Давно уже была утеряна горделивая независимость и крепло другое: кто-то в свой час пошлет!

— Хорош, хорош, — говорила она, вертя машинально в руках будильник и глядя на Володю полными слез глазами. — Подумать только, какой путь проделал! Тяжело его, верно, было тащить всю дорогу.

И уже быстро, быстро снимала со стола посуду, терла мокрой тряпкой клеенку, резала хлеб.

— Садись, Володичка, хлеба у нас сегодня много, вчера карточки получили.

— Так значит это правда? Значит, действительно, есть нечего? — упавшим голосом спросил Володя.

— Всё хорошо. Ты снова дома, — ответила она тихо.

— Да уж хорошо! Так хорошо, что хоть ложись да помирай. Земляной грушей да брюквой третий месяц питаемся. А у меня язва желудка, — не выдержал Павел Петрович.

— Ну, не надо, не надо, Паша, ведь он только что приехал.

Она быстро повернулась к мужу и с размаху задела локтем поджидавшую клиента бутылочку с молоком. Послышался звон разбитого стекла. Павел Петрович как будто бы только ждал этого сигнала. Вся накопившаяся за эти годы злость на события, на людей, на жену прорвалась мгновенно.

— Дура, растяпа, смотри, что делаешь! Сейчас за молоком придут, откуда я другое достану? — И он в бессильной ярости затопал ногами. Потом обернулся к сыну. — Думаешь, мы тут миндальничали, с жиру бесились на ферме, пока ты в плену прохлаждался!

Побледневший Володя вскочил со стула. Что-то промелькнуло в глазах и на одно мгновение он сделался похож на отца.

— Всё такой же! Раньше по морде бил, когда я газету развернуть хотел. Ни одного воскресенья отдыха не давал, всё работать надо было. А теперь и за мать принялся. И это сегодня, когда я только что приехал!

Но долго сердиться Володя не умел. Только стало как-то холодно, и сразу заметил беспорядок, сор, отсутствие всякого уюта. «И вот я снова дома», с горечью подумал он.

Но мать уже бросилась к нему с такой отчаянной мольбой в глазах, что он даже попытался улыбнуться. А Павел Петрович ретировался из кухни, продолжая что-то сердито лепетать под сурдинку.

— Не слушай его, Володя! — стремительно, не давая ему опомниться, заговорила Полина Григорьевна. — Он уже давно не в себе. Боли у него в желудке, нужна диета, лечение.

— Так зачем же хоть часть коров не продали? Продержались бы до моего возвращения, да и животные бы скелетами

не сделались. Я, проходя, мельком видел — страшно смотреть, на ногах не держатся.

— Продать! Как будто ты папу не знаешь? Разве можно с ним хоть курицу продать! Я и то тайком несколько штук спустила, а ему сказала, что украли. «Всё стадо должно быть цело, не наше оно, — Володино», вот что он мне отвечает. Любит он тебя, Володичка, а это всё нервы. А что в полное разорение пришли, так сам знаешь, какой он хозяин.

«Может быть и любит, да любовь-то больно несуразная», — подумал Володя.

Слово «любовь» что-то внезапно напомнило.

— Мамсик, а Ляля как? Приходит еще к тебе? — наконец, решился спросить самое важное.

Полина Григорьевна сжалась. «Вот оно!» И сразу забыла всё, что берегла для этой минуты.

— Ляля замужем. Жюльена-лавочника помнишь? Так вот за ним. В октябре месяце... Мать и бабушка заели. Сладко кушать всегда любили, а тут — лавочка... Думали, и без черной биржи всё обеспечено. Да только ошиблись горько...

Володя понуро опустил голову и не сказал ни слова. А она с чувством новой вины вспомнила свой последний разговор с Лялей.

С утра тогда шел дождь. Сабо глубоко проваливались в растоптанную коровами землю. Все ноги грязью забрызгала, пока дошла до курятника. А по дороге, обсаженной захиревшими масличными деревьями, видит бежит кто-то, пестрым, маленьким зонтиком черные локоны прикрывает, а по спине струйка течет. Сандалии на деревянных подошвах по камням постукивают, юбка коротенькая, вид отчаянный и решительный.

«Да это, никак, Лялька! И какая она сегодня надутая. Опять за свое «не хочу и не люблю» примется, опять на мать жаловаться будет».

С размаху обняла ее тогда Ляля, сжала так в объятиях, что у нее всё зерно рассыпала и даже не извинилась.

— Я к вам, Полина Григорьевна. Совсем, совсем!.. От Жюльена убежала. Он там нашим провизию принес, опять сватается. Что мне делать? Что мне делать?

Полина Григорьевна быстро оглянулась, нет ли поблизости мужа, и сразу же втолкнула ее в курятник. Куры, не дождавшись зерна, уже устраивались нахохлившимися белыми комочками на насесты. В сарайчике было темно. Паутина на окнах, помет под ногами, сыро, холодно...

— Полина Григорьевна, я знаю, вам трудно. Вам есть нечего. Но я буду, буду работать! Дома не хочу, а у вас буду. Всё сделаю, курятники вычищу, молоко разносить стану. Какая я барышня! Это только бабушка говорит, что «приличные люди не работают», а ведь я ничего не боюсь. Вот только Павел Петрович...

И Полина Григорьевна снова увидела продолговатое загорелое лицо, а на нем — мольба, отчаяние, надежда. Вспомнила радость свою: значит крепко Володю любит, если к нам в эти развалины, на голодуху прибежала, — хотела крепко, крепко обнять Лялю, и вдруг услышала сердитый истошный крик мужа: «Поля, куда ты пропала? Корова в сад забрела. Чорт вас всех вместе подери!»... И сжалась, как всегда сжималась в присутствии мужа, стала сама не своя, потерялась. Только и успела сказать:

— Ляля, родная моя девочка, ах, если бы это только от меня зависело... — И, увидав, как дернулось лицо девушки, какая мрачная морщинка легла между бровей, поспешно прибавила: — Знаешь что, оставайся! Я поговорю с мужем.

— Нет, нет, Полина Григорьевна, — как-то враждебно отстранилась Ляля, как-будто только впервые заметила курятник, беспробудную бедность и эту нищую нерешительную женщину.

— Я уж пойду. Дома хватятся. Еще сюда за мною прибегут, скандал устроят. Да и Павел Петрович гневается, — с

нескрываемым презрением и враждебностью добавила она. И уже пошла, намеренно громко и упрямо стуча деревянными подошвами, гневно развевая локоны. Полина Григорьевна стояла бледная, похолодевшая. Что-то решалось бесповоротно...

Ляля взялась за дверь курятника. И, вдруг, в последний раз, стала снова маленькой русской девочкой, той, что годы жила по соседству, в принаряженном мещанском домишке с претензиями, носившем громкое имя «вилла». Подбежала, обняла поспешно, как бы боясь, что запретят, помешают. И прошептала, еле слышно: «Скажите Володе, что только его...»

Всё это вспомнила сейчас Полина Григорьевна, стоя растерянно посреди кухни.

Еще один, — который уже! — русский сочельник на провансальских голубых холмах. Скоро в далекой православной церкви запоют «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Но в Аржевиле нет праздника. Французское Рождество, от которого население хочет поскорее отмахнуться, уже отошло. И как оскорбительна для Володи эта будничность именно сегодня. Старая жизнь, прерванная войною и пленом, снова цепко схватила и держит. Надо доить коров, разносить молоко. Павел Петрович снова свысока командирски покрикивает, ходит вокруг, работать мешает бестолковыми приказами. Полина Григорьевна моет пол на кухне и даже поставила в воду отломанную веточку сосны, вместо елки. Да еще начистила до блеска серебряную ризу на старинной иконе. Пронесла ее через все границы, для сына берегла, на новую жизнь благословить мечтала. Но мечты слабых никогда не становятся действительностью, только всё в душе пережигают.

А Володя уже понес молоко в Аржевиль. Местность холмистая, вверх, вниз, мимо цепких зарослей ежевики. Вот и ручеек, разбухший от осенних дождей. От него тропинка к дому, где раньше жила Ляля. Был он там когда-то по делу. Ляля вышла тогда новая, настороженная, хмурая. Когда, бывало, к ним

за молоком прибежала, глаза горели, всё в ней навстречу ему летело. А тут сухо, сухо поздоровалась и сразу за вязанье. А ее мать покровительственно предложила чаю, подала чашку без ручки и сама с ним пить не стала. А когда он уже уходил, то услышал ее громогласный шопот: «Грязь у них на ферме потрясающая, как бы еще блох не занес».

Но не это хотелось ему вспомнить, стоя над ручейком, под орешником. К орешнику прибит деревянный ящик. Здесь почтальон оставлял письма для Лялиной матери, булочник — подрумяненные хлебцы, а случай помогал кратким встречам. Здесь Ляля грызла крепкими голубоватыми зубами орешки и смеялась без всякой причины, разве только потому, что лето, молодость, они вместе и что надо же каждой девушке высмеяться вволю, в запас для будущего.

— Компришки? — спрашивала она его между припадками смеха, хотя «понимать»-то было нечего.

— Компришки, — отвечал он, осторожно дотрагиваясь до ее тонких смуглых рук своими загрубевшими рабочими руками. Как их соединить-то, такие руки? Ну, а Жюльен? Жюльен кругленький, юркий, вечно к кому-то пристраивающийся. В Аржевильской школе, где они все учились, всегда был готов услужить — одолжить перочинный ножик, помочь решить задачу и всегда не вполне безвозмездно. Не то что требовал немедленной платы, но как-будто уже и тогда заносил в счетную книгу. И Володя себе ясно представил его «приношения», «законные надежды», осуществление. Ляля в уплату за макароны! Но думать об этом было слишком тяжело. И он, почти бегом, пересек мостик через ручей и вышел на шоссе.

На противоположном холме кто-то жег сорные травы. Голубоватый, чистый дым стелился по земле, закрывал опустевшие виноградники. Долго смотрел Володя на его длинную, всё разворачивающуюся пелену, на поголубевшие горы...

Когда он подходил к городку, его обогнал медленно плетущийся ослик с тележкой. Старик Петити дремал, опустив поводья. Привязанная под тележкой черная вислоухая собака,

с седой мордой, бодрствовала за хозяина и баском рычала на прохожих. Услышав ее старческое хриловатое, но всё еще усердное, тьяканье, Петити проснулся, зевнул и радостно закивал:

— Здорово, Вальдемар. Сбежал, молодчина. Весьма одобряю. Небось, рад вернуться на ферму? Какая она ни есть, а всё-таки твоя. Отец ведь не в счет, — без тебя бы пропали. Работать тебе придется во как! — И он сочувственно протянул ему руку. — А я, как видишь, всё еще жив. Плачет по мне Аржевильское кладбище. Да что же туда торопиться? Еще успеем. — И он тронул ослика, довольный встречей, законченным трудовым днем на родной, его же руками возделанной земле. Эта встреча как бы снова ввела Володю в привычный Аржевильский мирок, где отец и мать его были еще чужеродным телом, а он уже привитым дичком.

Он разнес молоко, наслушался радостных восклицаний по случаю благополучного возвращения. Пил кисловатое молодое вино и плечи его болели — по ним хлопали загорелые тяжелые руки, приветствовали.

Перед тем, как идти домой, он всё же решил. Подошел к тускло освещенной лавочке Жюльена из такого узенького переулочка, что развешенные там на окнах и раздуваемые ветром рубашки легко могли бы вступить в рукопашную, а кумушки, любопытно выглядывающие из таких окошечек, — пожать друг другу руки. Площадь была пуста. Но в лавочке толпился народ. Аржевильский могильщик-пьяница Тости, размахивая руками, пронзал невидимого врага, наступал, кипятился.

«Верно ругает правительство, благо безопасно и в лавочке всё свои», подумал Володя.

От вояки брезгливо пятилась какая-то дама «из приличных», не сводя одновременно жадных глаз с весов — Жюльен что-то ей отвечивал.

«Смотри, не смотри, обжулит непременно», подумал Володя. Дальше, опустив руки, ждала своей очереди поден-

щица Мадо. Терпеть и уступать дорогу давно уже стало ее привычкой. Когда же она случайно произносила имя своих вечно меняющихся хозяев, то голос ее понижался до шопота и она испуганно оглядывалась по сторонам: а вдруг услышат, отнимут последнее? Ее маленький внук вертелся тут же и глаза его были восторженно устремлены на что-то. И тут Володя увидел Лялю. Она вышла из задней двери с новым для нее озабоченным и деловитым выражением лица. «Не хочу и не люблю» говорило это как бы обиженное лицо. Она повернулась к мужу и что-то сказала. На плутовато-самодовольном лице Жюльена испуганно забегали заплывшие глазки и он зашевелился.

Мадо с внуком протиснулась на улицу за салатом. Ляля пошла за ними выбирать и быстро, быстро сунула мальчику конфетку. Лицо ее смягчилось. И Володя вспомнил, что она всегда любила детей.

Она уже ушла, переговариваясь с покупательницей, а Володя всё стоял неподвижно, не в состоянии оторваться от освещенного окна, за которым осталась его короткая, ограбленная молодость.

На первый день русского Рождества Павел Петрович проснулся в благодушном настроении, с приятным сознанием благополучно выполненной миссии. Он еще с вечера решил, что отныне ферма его не касается. Пусть теперь Володя выкручивается. Конечно, почему при случае не помочь советом? Но работать! Это пусть Поля работает. Да и жить осталось недолго. Можно наконец себя побаловать, заняться марками. И предвкушая давно не испытанное наслаждение, он вскочил с кровати. В ничем незавешенное окно глядело чудесное зимнее, — нет, весеннее утро. На Ривьере так бывает. Полагаются заморозки, пронизывающий мистраль, а вместо этого припекает солнце, зеленеет упрямая трава, и в воздухе как бы уже разлито предвесеннее томление.

Завтракать в кухню Павел Петрович не пошел. Быстро разгреб себе свободное место на столе, заваленном всяким

разнообразным барахлом, достал альбомы с марками, лупу... и ушел далеко, далеко.

С ним снова единственные друзья, спутники неудовлетворенной мечты о восхитительных странствиях по неведомым землям, несущие на своем изображении черный оттиск времени и места. Все они собрались теперь на свидание в его драгоценных тетрадах. Марка с изображением парусной яхты, погружающейся в зеленоватые волны, пришла к нему из-за моря. Марокко! Если долго смотреть на изображение, покажется на горизонте и белая Казабланка, и горы Атласа... А вот аэроплан, разрезающий теплые воздушные течения над Ливаном. Над ним кружевная завивающаяся надпись на непонятном чудесном языке. И даже часть штампа: 3-е декабря неизвестного года. Кому? От кого?.. Или бородатое, всплывающее в морях революций лицо президента южно-американской республики. Чем пахнет такая марка? Кофе? Ванилью? Или просто пылью почтового отделения?

И вспомнил Павел Петрович российский почтамт где-то в Лебедяни. Молодость, проведенную за маленьким окошечком. Туда протягивалась к нему пухлая ручка русской провинциальной барышни — колечко с бирюзой, бархатка на шее, косы... А на столе перед ним казенные пакеты, посылки, письма. И его теперешняя запуганная Поля, говорящая только о коровах и думающая только о Володе, бойко стучит каблучками, заглядывая в окошечко: — «А что, Павлуша, скоро закроешь контору? Наши все уже собрались на гулянье. Курская улица так и кишит гимназистками».

Совсем иначе протекало это утро у Полины Григорьевны. Супруги, спящие под теми же негреющими лохмотьями в нетопленной комнате, давно уже были разделены пучиной равнодушия, непонимания. Они жили каждый по себе, погруженные в себя. Для Павла Петровича «Поля» была просто «домашней собачкой», на которую можно кричать сколько угодно и даже поколотить под злую руку, — всё равно будет лизать сапоги и твякать на чужих: оберегать добро. Для Полины

Григорьевны «Паша» был тяжело больной неврастеник, неприспособленный к суровой жизни, всему мешающий. Но он был муж и отец Володи. Поэтому надо было терпеть причуды, выслушивать брань, отдавать последний кусок хлеба, трепетать.

Всю эту рождественскую ночь она не спала, грея своим телом спящего мужа, натягивая на его высохшие плечи всё, что только можно было урвать у себя. Но делала это не из живого чувства сострадания, а по привычке, машинально. Мысли же ее были заняты Володей. Она казнилась, грызла себя всю ночь, как умеют это делать слабохарактерные добрые люди, которые всё хотят и ничего не могут. Но к будущему не готовилась. Не для такого будущее. Ей бы только уйти от мира, спрятаться в мышиную нору и сидеть там тихохонько, авось, жизнь о ней забудет. Да только не забывает жизнь...

Ушла она с вязаньем после обеда в оливковую рощу. Работать Володя не дал, даже рассердился: «Довольно ты тут без меня работала!» А сам ушел убирать коровник. И лицо у него какое-то новое. Не понять ей, что там, за этими глазами? А на душе тревожно. Спицы плохо слушаются. Из старой своей кофты Володе носки вяжет. Каждый раз, как что-то для него делала, радость была: «Сыночку ведь!» А сейчас всё разные мысли одолевают.

Но в оливковой роще тихо. А там, за разваливающимися стенами террас, сложенных еще римлянами, дубы не совсем облетевшие. Бурые свернувшиеся листья, над ними ясное небо. Как будто и нет войны. Здесь, по крайней мере, ничто о ней не напоминает. И солнце греет почти как весной. Отдохнуть, забыть! Годы, кажется, уже не отдыхала. Опустила руки, смотрит широко раскрытыми глазами. Чужая земля! Да ведь нет для земли чужеземца.

Но за спиною слышались чьи-то шаги. И пропало всё. Снова вернулось привычное. Идет к ней сосед Абелло, широко улыбается. Живот у него замотан оранжевым шарфом — нутро греет. Ноги тоже обмотаны тряпками — целину поблизости поднимать начал, рабочие ботинки беречь надо. Подошел, «посавакал» по обычаю. Это «са ва?» здесь вместо приветствия.

С него всё и начинается. К ней он благоволит. «Не наша, а больше наших работает. И сына хорошего вырастила». Вот и старается. Новостями снабжает. И даже сильно отошавшую газету приносит почитать. А на что ей газета? Всё равно читать некогда. Но сегодня он сам — живая газета.

— Слышали? Сегодня ночью англичане Варский мост разбомбили! Молодцы!

— Да чему же вы радуетесь? Ведь наверно опять кого-нибудь убили?

Абелло равнодушно пожал плечами. — Конечно, убили. Да на то и война.

Полина Григорьевна только руками всплеснула. Вот она, война! И никуда от нее не уйдешь. Даже в оливковой роще настигнет.

— Но это еще не всё, — продолжает радостно Абелло. — Картошку выдают у Жюльена. Кило на человека. Решил вам непременно сказать, чтобы поторопились.

— У Жюльена? — спросила Полина Григорьевна упавшим голосом. И представилось ей сразу, как пойдет за картошкой Володя — увидит Лялю. Пробормотала она Абелло что-то несуразное, бросила вязанье и прямо к коровнику. А Володя возле двери тачку нагружает. Бросилась она к нему, а в глазах такая тоска. Смотрели они друг на друга с минуту и вдруг всё понял Володя. Улыбнулся ей новой строгой улыбкой, словно на глазах вырос.

— Это ты про картошку, мамсик? Мне Абелло ведь тоже сказал. Что ж рано или поздно, всё равно встретиться придется. А папе от брюквы тоже отдохнуть пора. — И вошел в коровник. Полина Григорьевна слышала, как он там ходил, гремел, пел вполголоса. Песня была тот выход, который был нужен. Хотелось рассказать, пожаловаться кому-то. Но своих слов не было. И он брал первые попавшиеся, вкладывая в них только свои интонации. Слушали его понуро жующие коровы, пестрая коза с белым пятном на груди, полуслепая дымчатая кошка...

ДНЕВНИК

(1955)

1

Истории зловещий трюм,
Где наши поколения маются,
Откуда наш шурум-бурум
К вершинам жизни поднимается,

И там на девственном снегу
Ложится черным слоем копоти...
«Довольно! Больше не могу!» —
Поставьте к стенке и ухлопайте!

2

Вот более иль менее
Приехали в имение.
Вот менее иль более
Дорожки, клумбы, поле и
Всё то, что полагается,
Чтоб дачникам утешиться:
Идет старик — ругается,
Сидит собака — чешется.
И более иль менее —
На всём недоумение.

3

Мимозы солнечные ветки
Грустят в неоновом чаду,
Хрустят карминные креветки,
Вино туманится во льду.

Всё это было, было, было...
Всё это будет, будет бу...

Как знать? Судьба нас не взлюбила?
Иль мы обставили судьбу?

И без лакейского почету
Смываемся из мира бед,
Так и не заплатив по счету
За недоеденный обед.

4

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унижительно издох.

Один сказал с усмешкою: «дождался!»
Другой заплакал: «Господи, спаси!»...
И чучело никто не догадался
В изгнанье, как в могилу, унести.

5

Голубизна чужого моря,
Блаженный вздох весны чужой
Для нас скорей эмблема горя,
Чем символ прелести земной.

...Фитиль, любитель керосина,
Затрепетал, вздохнул, потух —
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе петух!

6

Жизнь продолжается рассудку вопреки.
 На южном солнышке болтают старики:
 — Московские балы... Симбирская погода...
 Великая война... Керенская свобода...
 И — скоро сорок лет у Франции в гостях.

Жужжанье в черепах и холодок в костях.
 — Массонский заговор... Особенно евреи...
 Печатались? А где? В каком Гиперборее?

...На мутном солнышке покой и благодать,
 Они надеются, уже недолго ждать —
 Воскреснет твердый знак, вернутся ять с фитою
 И засияет жизнь эпохой золотую.

7

Паспорт мой сгорел когда-то
 В буреломе русских бед.
 Он теперь дымок заката,
 Шорох леса, лунный свет.

Он давно в помойной яме
 Мирового горя сгнил,
 И теперь скользит с ручьями
 В полноводный, вечный Нил.

Для непомнящих Ива́нов,
 Не имеющих родства,
 Всё равно, какой Иванов,
 Безразлично — трын-трава.

.....

Красный флаг или трехцветный?
 Божья воля или рок?
 Не ответит безответный
 Предрассветный ветерок.

8

Полутона рябины и малины
В Шотландии рассыпанные втуне,
В меланхоличном имени Алины,
В голубоватом золоте латуни.
Сияет жизнь улыбкой изумленной,
Растит цветы, расстреливает пленных,
И входит гость в Коринф многоколонный,
Чтоб изнемочь в объятьях вождельных!

В упряжке скифской трепетные лани —
Мелодия, элегия, эвлега...
Скрипящая в трансцендентальном плане
Немазанная катится телега.
На Грузию ложится мгла ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.
...И лучше умереть не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.

9

Голубая речка,
Зябкая волна,
Времени утечка
Явственно слышна.
Голубая речка
Обещает мне
Тёплое местечко
На холодном дне.

10

Ты не расслышала, а я не повторил.
Был Петербург, апрель, закатный час...
Сиянье, волны, каменные львы...
И ветерок с Невы
Договорил за нас.

Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждет.
Черемуха в твоих руках цвела...
Вот наша жизнь прошла,
А это не пройдет.

11

Листья падали, падали, падали
И никто им не мог помешать...
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать.

И неслоь светозарное пение
Над плескавшей в тумане рекой,
Обещая в блаженном успении
Отвратительный вечный покой.

Георгий Иванов

СТИХИ 1954 ГОДА

ВЕЧЕРОМ 7 НОЯБРЯ

Для трудящихся мильонов,
Превратившихся в зевак,
Два оркестра с трех балконов
Исполняют краковяк.

А потом играют польку,
Ай-да полька-полечка!
И танцуют Колька, Олька,
Толечка и Полечка.

И также вальса звук прелестный
Звучит над самой головой,
Его танцуют повсеместно
По потрясенной мостовой.

Зачем же средь шумного вальса
Ты бродишь без смысла и цели?
Смелей! Не печалься! Включайся
В дозированное веселье!

Веселья не будет иного.
Ни юность, ни счастье не ждет.
Ты медлишь? Надеешься снова?
На чудо? Но чудо не в счет!

Смолкают кругом разговоры,
Кончается шустрая полька,
Расходятся пары, и скоро
С тобою останутся только

Ночной и рассудочный воздух,
Рябины прогоркшие кисти,
Звезды запоздалый пробег.

Сперва осыпаются звезды,
Потом осыпаются листья,
За листьями сыплется снег.

**
*

Остывают камни. Спит столица.
Люди спят. Кому из них что снится?

.....

Крымский берег в прядяющей пене
(Солнце, ветер, море по колени)...
Камни, расправляющие крылья...
Хабанера, роза, сегедилья...
В бурдюках бродящее вино...
Настежь растворенное окно...
Журавлиный клекот...

Людям снится,
Что они свободны, словно птицы.

.....

Пахнет липой и бензином воздух:
По ночам все запахи слышны.
Птицы спят, попискивая в гнездах:
Вероятно, тоже видят сны.

**
*

Был воздух свеж, и небо сине,
Смеялись люди, проходя.
А в полутемном магазине
Жил бюстик гипсовый вождя.

И, пребывая на витрине,
Он думал с важностью о том,
Что мир и сам он — в магазине,
А остальное — под стеклом.

РАКОВИНА

1

Да, море не скудно
Своими дарами:
Есть в море и спруты,
И рыбы, и крабы.

Но только моллюски
Приносят с собою
И плески, и хлюпы,
И пенье прибоя.

И скользко, и гладко,
А к уху поблизь-ка —
Вселенной загадка,
Иль даже попытка,

И, может быть, чудо,
Которого ради
И созданы спруты,
И рыбы, и крабы:

У губ розоватых
И зева пустого
Архейские схватки
Рождения слова.

2

За окнами клики, знамена, салюты,
И толпы гудят, как самум.
За окнами прочно стоит пресловутый
Шум времени — временный шум.

Но эта квартирка, клетушка, каморка,
Которую не проймешь,
Четыре стены и дверь, как створка —
И всё. И не всякий вхож.

Здесь строки вскипают Венерой из пены,
Идут напролом, наобум,
Рождая вневременный, внесовременный,
Самодовлеющий шум.

3

Ребенок раковину взял
Из морем выброшенной груды
И долго к уху прижимал,
Дивясь неслыханному чуду.

Немыслим вне чужого уха,
Ты тожеходишь в некий круг
И существуешь в нем, как звук,
Как речь без зрения и слуха.

Николай Моршен

БАЛЛАДА

Не от свинца, не от огня
Судьба мне смерть судила, —
Шрапнель веселая меня
Во всех боях щадила,

И сталь граненая штыка
Не раз щадила тоже, —
Меня легчайшая рука
Убьет в застенке ложи.

В жилете снежной белизны
И в черном фраке модном,
С небрежной прядью седины
На черепе холодном

Скрипач, улыбку затая,
Помедлит над струною,
И я узнаю, — смерть моя
Пришла уже за мною.

И будет музыка дика,
Не шевельнутся в зале,
И только молния смычка
Падет во тьму рояля.

Перчатку узкую сорву
(А сердце захлебнется),
И с треском шелковым по шву
Перчатка разорвется.

Я молча навзничь упаду,
По правилам сраженья,
Суровый доктор на ходу
Отдаст распоряженья.

И, усмиряя пыл зевак,
Чиновник с грудью впалой
Заметит сдержанно, что так
Не прочь и он, пожалуй.

С А Д

1

Влюбленный в ночь, я ночи жду, —
Был долог день тяжеловесный, —
Как пахнет сыростью в саду
И нежной плесенью древесной.

Сойди, благословенный мрак,
Заполни все земные щели, —
Ни лая хриплого собак,
Ни подлой человечесьей трели.

Лишь сердца бой. Издалека,
Послушная живому звуку,
Безмолвья темная рука
Мне слабо пожимает руку.

В пустынном небе ни звезды,
Но кое-где меж облаками
Как бы росистые следы
Оставленные каблуками.

Закинуть голову назад,
Сорвать воротничок позорный —
Где это было? Ночь и сад,
Глубокий вздох и шорох черный.

2

Беззвездный мир и тишина,
Мир позднего благоуханья,
В саду глубокая волна
Таинственного задыханья.

Вот дрогнет ветка в стороне,
Тяжелый лист перевернется,
И ночь, вздохнувшая во сне,
Вдруг каждым деревом проснется.

Всё шире призрачных ветвей
Торжественное колыханье,
Всё ощутимей меж бровей
Прохлады близкое дыханье.

Как будто осень лишь ждала
В аллеях душных этой встречи, —
Она вплотную подошла
И тронула меня за плечи.

И наклонясь из темноты,
В мое лицо глядит тревожно
И силится узнать черты,
Признать которых невозможно.

Вл. Корвин-Пиотровский

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

*О, нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания.
Я попросту хлороформирую
Поэзией свое сознание*

Г. Иванов

«Нужна иль ненужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льет дождь?.. Мы скользим по поверхности жизни... Грязь, нежность, грусть. Сейчас мы нырнем. Дайте руку, неизвестный друг...» Так писал Георгий Иванов в его малозамеченной книге «Распад атома». И то же — в недавних стихах: «Тускнеющий вечерний час. — Река и частокол в тумане. — Что связывает нас? Всех нас? — Взаимное непониманье?». В зарубежной русской литературе Георгия Иванова называют первым поэтом, «князем» поэзии русского зарубежья. Думаю, эти наименования правильны. И в своеобразность этой поэзии сто́ит взглядеться.

Недавно о последних стихах Иванова один мой собеседник сказал: — «мне хочется его приговорить к лишению всех прав состояния и быть может даже отправить в некий дом предварительного заключения». Причину столь жестокого приговора собеседник объяснил так: — «в поэзии Георгия Иванова всегда слышится самый настоящий «из ада голосок», этот жуткий маэстро собирает букеты из весьма ядовитых цветов зла». Даже как адвокату Георгия Иванова, положив руку на сердце, мне не пришлось отрицать преступлений своего подзащитного и я только просил о некотором милосердии. Моему собеседнику, стоящему в литературе на педагогических позициях Белинского и Михайловского, я указал, что несмотря на этический уклон во взглядах на искусство Михайловский, вероятно, всё-таки прекрасно понимал его иррациональную природу, эту «страшную вещь — красоту», если говорил: — «эстетика это

Каин, который может убить Авеля — этику». Многие большие художники утверждали даже, что *должен* убить. Недавно А. Блок писал: — «Искусство есть Ад».

Если Георгий Иванов будет всё-таки заточен в общую камеру некой «редингской тюрьмы», он вне всякого сомнения окажется в интереснейшем обществе. Из соотечественников там, вероятно, будут и Брюсов, «президент московский», и ядовитый Сологуб, и Зинаида Гиппиус, и Блок с «ночными фиалками», и забывший о благодати Есенин и многие другие.

Грустное и бедное, и в то же время почетное и возвышенное, место первого поэта российской эмиграции Георгий Иванов заслужил тем, чем это заслуживают все большие поэты. Кроме предельной власти над ремеслом стихотворца — от Бога данным голосом и глазом поэта, странно и необычно озирающим мир. «Любезные друзья, не стоил я презренья. — Прелестные враги, помочь вы не могли. — Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья». Большой поэт всегда одарен и присущей ему одному *его* музыкальностью и неким своеобразным «двойным зреньем», сросшимися в единую *его* поэтическую природу. Если на Георгия Иванова обязательно надо было наклеить ярлык какого-нибудь «изма», то это сделать было бы просто. Георгий Иванов — сейчас единственный в нашей литературе — русский экзистенциалист. Пусть литературные критики (и он сам) так его еще не наименовали, но всякий, кто знает его поэзию и прозу увидит это с ясностью. Но, конечно, Георгий Иванов — экзистенциалист на свой, русский, салтык. Разумеется, поэтическая дорога Иванова это не трагический путь киркегардовского страдания, как «общения с Богом, договора слёз, который так прекрасен». На мой взгляд Иванов никогда и не искал для себя «наиболее трудного» пути, не хотел никакого договора слёз и никакого борения. Напротив, мне кажется, он всегда искал «наиболее легкого» пути, которым прошел с Невского проспекта до Елисейских полей. Эта наилегчайшая легкость путей и перепутий часто казалась грубым общественным вызовом и даже цинизмом, и может быть наиболее отталкивала от поэта, создавая ему облик и славу «*proète maudit*». Вся ткань поэтического *credo*, этого «взгляда и нечто» Георгия Иванова, держащая музыку его поэзии, как соты мед, никогда не была трагической. Она, если хотите, была трагической только как прокламирование всепобедившего мирового уродства и как отказ от каких бы то ни было поисков дверей из этого невольного тупика. Это ближе всего сосед-

ствует с взглядами Сартра, с взглядом на мир, как на банальную «черную дыру» и плоскую авантюру, которой отказано во всем кроме удовлетворения примитивных человеческих чувствований. В этом смысле в этой поэзии наличествует объективный трагизм, но, как трагизм, не возвещаемый поэтом. Правда, в этом наивно-материалистическом мироощущении иногда вдруг зазвучит как бы музыка надежды на какой-то очень здешний оптимизм. Но это оптимизм как бы дрессированного зверя. «На полянке поутру — Веселился кенгуру».

Я не хочу углублять эту, на мой взгляд довольно интересную тему. Но, ограничивая ее, я хочу всё-таки сказать, что русский экзистенциализм Георгия Иванова много старше сан-жерменского экзистенциализма Сартра. Этот российский экзистенциализм оживлял, отравлял и окрылял наше предреволюционное искусство от Леонида Андреева до Блока. И «двойное зреньё» Георгия Иванова, конечно, уходит корнями не в почву сан-жерменской оранжереи французского экзистенциализма, а в граниты императорского Петербурга. При чем своеобразие поэтической темы Иванова заключается в том, что она остро преломилась в нашей потенциально апокалиптической термоядерной действительности.

Раньше это бедное, потертое кресло первого поэта русской эмиграции у Иванова оспаривали другие. Цветаева и Ходасевич. (Я не говорю о Бунине, тема о Бунине-поэте для меня совсем особая). Но Цветаевой и Ходасевича нет. Иванов еще остается у нас. Как мы долго будем с ним вместе — Бог знает. Поэтому-то и хочется пристальной в него взглядеться.

Может-быть я ошибаюсь. Но мне кажется, что во весь рост Георгий Иванов встал только за последние десять лет. Если бы он не дал стихов из «Портрета без сходства» и в особенности тех, что еще не вошли в сборники, а появились только в повременной печати (главным образом в нашем журнале), то *своеобразного* Георгия Иванова, с лица необщим выраженьем, у нас не было бы. Химический состав поэзии Иванова кристаллизовался только теперь.

Как поэт Георгий Иванов впервые выступил в Петербурге в годы, так называемого, «серебряного века» нашей литературы. Там он был любимцем «Аполлона» (не бога, а журнала). Там вышли его ранние сборники — «Лампада», «Памятник славы», «Вереск» и другие. Об этом блестящем времени нашей литературы в эмиграции написано много. Заслуги его справедливо оцениваются. Но есть и неумеренные апологеты,

готовые огульно поднять на щит всё связанное с этим литературным прошлым, вплоть до обожествления почти уже мифического публичного животного, в свое время носившего кличку «Бродячей собаки». В эмиграции даже делались и делаются попытки воскрешать «атмосферу» петербургского эстетизма. Но вряд ли жизненны и нужны эти реставрации. Увы, не всё было прекрасно «в датском королевстве». Ведь отчего-нибудь да задыхался же Блок? И не он один. И если отдельные прозаики, поэты, художники тогда показали себя во всем блеске своих творческих сил, то надо признать и то, что «массовый» петербургский эстетизм, эстетизм «средняка», конечно, не был высоким этажем русской духовной культуры. Он был в достаточной мере низменного тона. В оранжерее петербургского эстетизма впервые и выступил Георгий Иванов. Ее «воздух» он дал почувствовать в своей прекрасной книге «Петербургские зимы». Но в «Распаде атома» он дал и духовно-психологический рисунок этого эстетического «средняка» в виде неких зверьков-размахайчиков: — «они любили танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники, именины; они так смотрели на жизнь: из чего состоит год? из трехсот шестидесяти пяти праздничков; а месяц? из тридцати именин». И когда размахайчикам говорили: — «жизнь уходит, зима приближается, вас засыпет снегом, вы замерзнете, вы умрете, зверьки, — вы, которые так любите жизнь... они прижимались тесней друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством отвечали: — ,это нас не кусается'». Вряд ли стоит оттаивать размахайчиков.

Творческие пути поэтов не одинаковы. Мы знаем поэтов одной (или почти одной) книги, как Сергей Городецкий, да, в сущности и Маяковский, давший только первые замечательные сборники, позднее затопленные ниагарой халтуры. Знаем гениальную позднюю лирику Тютчева. Знаем вечно-юно-старческого Сологуба. Не будем перечислять. Примеры разнообразности путей поэтов многочисленны. Творческий путь Георгия Иванова достаточно своеобразен. Уже будучи законченным мастером он сжег почти всё «чему поклонялся» и пошел путем новых исканий. Былая петербургская поэзия Иванова, эта вещная, предметная лирика («дух мелочей прелестных и воздушных») была поэзией только «своего круга» и за него не выходила. Это, если хотите, был своего рода «социальный заказ» того литературно-эстетического круга, к которому принадлежал поэт. Правда, уже тогда Иванов достигал более со-

вершенного, чем многие из его сверстников в «Аполлоне» и в «Цехе поэтов».

Холодеет осеннее солнце и листвою пожелтевшей играет,
Колыхаются легкие ветки в синеватом вечернем дыму —
Это молодость наша уходит, это наша любовь умирает,
Улыбаясь прекрасному миру и не веря уже ничему.

Пришла революция. Георгий Иванов ушел из России на Запад. С чем он сюда пришел? Всё еще с той же петербургской лирикой. В 1921-м году он выпускает «Сады», в 1931-м «Розы». Это одно из лучшего, что было в «Цехе поэтов», под вывеской которого с Гумилевым, Ахматовой, Мандельштамом стоял молодой Георгий Иванов.

И разве мог бы я, о, посуди сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума.

Но уже в «Розах» в привычную акмеистическую музыку вступают еще смутно различимые, но уже меняющиеся и ритм, и мелодию, новые мотивы. Оказывается, привезенная на Запад кислородная подушка «петербургского воздуха» протерлась и не годится. «Музыка мне больше не нужна. — Музыка мне больше не слышна». — «Но настоящих слов мы не находим, — А приблизительных мы больше не хотим».

Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.

И «Отплытие на остров Цитеру», сборник выпущенный в 1937 году, явно обнаружил свое тематическое и музыкальное неединство. Лучшие образцы прежней петербургской лирики («От синих звезд, которым дела нет — До глаз на них глядящих с упованьем») механически, руками переплетчика, вынуждались жить вместе с стихами совершенно иной темы и иного музыкально-ритмического тона, порой даже им враждебного, как, например, интересное экзистенциальное стихотворение, в свое время вызвавшее у многих недоумение :

Хорошо, что нет царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,

Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого.
Хорошо — что ничего.
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Впервые в «Отплытии на остров Цитеру» Георгий Иванов приглашает прекрасную музу Полигимнию сойти с многовекового постамента и предпринять с ним рискованное путешествие. Он выводит ее из музея на современную улицу. Куда? Адрес пристани неизвестен. «Лунатик в пустоту глядит — Сиянье им руководит — Чернеет гибель снизу. — И даже угадать нельзя — Куда он движется, скользя, — По лунному карнизу». Это — приглашение музы на казнь современным искусством.

Тема умирания современного искусства — большая тема европейской культуры. О ней взволнованно писали и пишут многие люди Запада. В русской эмигрантской литературе об этом говорили Федотов, Степун, Вейдле. Бердяев писал: «Мы вступаем в период коллективного, массового искусства. Красота человеческих чувств и красота души умирает». До него пророчествовали Розанов и Леонтьев. Георгий Иванов не пишет теоретических статей об искусстве. Он поэт. Но если для философов, публицистов, искусствоведов тема умирания искусства лишь сигнал страшной жизненной тревоги, для человека искусства, для поэта, для Георгия Иванова это его собственное умирание, умирание *его* искусства, которым он ежечасно живет. В 1938 году в Париже Георгий Иванов выступил с рискованным манифестом на тему умирания современного искусства. Он выпустил «Распад атома». Книга примечательная. Но ее замолчали. Тогда по русскому Парижу ходил не то анекдот, не то литературная быль. Будто Ходасевич, поэтически враждовавший с Ивановым, обратился с письмом к П. Н. Милюкову, редактору самой распространенной ежедневной газеты «Последние Новости», с мольбой во имя сохранения русской семьи в зарубежье, во имя всех лучших традиций русской общечеловеческой ответственности обойти молчанием «Распад атома». Обращение было анонимно. Подпись: «русская мать». Мольба Ходасевича, как «русской матери», на П. Н. Милюкова подействовала. В

газете не было упоминаний. Рассылала ли «русская мать» письма в другие редакции — неизвестно. Но заговор молчания создан. И больше всех в нем, конечно, виноват был сам Георгий Иванов. Его вина состояла в чрезмерности пощечин общественному вкусу. В стремлении к «эпатажу» Иванов уснастил свою книгу нарочитой и грубой порнографией, соперничая в этом с «Тропиками Рака и Козерога» Хенри Миллера. Но «эпатаж» не удался. Вымученная и никчемная порнография, как бумеранг, ударила по автору, убивая то интересное, что в книге есть. А в «Распаде атома» есть прекрасные страницы, написанные с той искренностью сердца, которая всегда сопутствует большой одаренности. О трагедии современного художника и его искусства Георгий Иванов в «Распаде атома» говорит: — «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?.. То, что удавалось вчера, стало сегодня невозможным, неосуществимым. Нельзя поверить в появление нового Вертера... Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую современный человек смахнет проступившие сами собой слезы... Невозможно. Так невозможно, что не верится, что когда-то было возможным... Не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним. Есть люди способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они еще стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сиянье почти не достигает нас... Скоро всё навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение, не обязывающее себе верить и не внушающее больше веры... То, что сам Толстой почувствовал раньше всех, неизбежная черта, граница, за которой — никакого утешения вымышленной красотой, ни одной слезы над вымышленной судьбой... Чуда уже совершить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось...»

И тема умирания искусства расширяется у Георгия Иванова, переходя в страх герметического одиночества современного человека: — «Я думаю о бесчеловечной мировой прелести и об одушевленном мировом уродстве... Мука, похожая на восхищенье. Всё нереально кроме нереального, всё бессмысленно, кроме бессмыслицы». Чем же тут утешиться? Как же разрешить трагическое нигилистическое ощущение? Это полное néant. Этот «рекорд одиночества». Как? А вот как: — «Я хочу

самых простых, самых обыкновенных вещей... Я хочу забыть, отдохнуть... уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой». Допустим, что эти «раки» не такая уж неожиданность в русской литературе. Когда-то Андрей Белый писал, что ничего не хочет, как только «чай пить» (и кажется даже с вареньем). Но это влечение у Белого было противоестественно, оно было только очередной литературной декламацией. Белый — бесплотен, Белый — дух, и никакие «раки» и «чаи» его всерьез и надолго не интересовали. Но есть другой писатель, у которого тема «раков» и «чая» всегда вызывала всесокрушающий восторг. Он эту тему *понимал*. Это — В. В. Розанов. Именно он умел монументально, космически описать, как он лезет за окно за куском не то пирога, не то творога, и как в этом живет вся его «положительная философия». Это — тяга к иррациональному теплу мира, к утробности, к утверждающей себя инфантильности. Вообще, и внутренне и литературно-формально, у Георгия Иванова много общего с «гениальным Васькой». В своем «рекорде одиночества» именно в это звериное тепло (при максимальном цинизме к вопросам человеческим, социальным, политическим) зарывается Георгий Иванов, создавая здесь свою новую музыку.

В годы после опубликования «Распада атома», этого как бы своего литературного манифеста, творчество Георгия Иванова претерпевает некое судорожное перерождение. Прежде всего напал убит эстетизм, как былой взгляд на мир. Но в поисках своей новой музыки Иванов идет лунатически. Он, конечно, и не может знать, куда он идет. Надежд на признание маловато. Но пусть его сверстники продолжают писать любовную лирику, похожую на переводы из Мюссэ. Еще Микель Анджело говорил, что «тот, кто идет за другими, никогда не опередит их». Иванов уходит на поиски поэтической целины. В частном письме в ответ на упреки в преобладании «остроумия» и в ущербленности «музыки», Георгий Иванов пишет так: — «В двух словах объясню почему я пишу в «остроумном», как вы выразились, роде. Видите ли, «музыка» становится всё более и более невозможной. Я ли ею не пользовался и подчас хорошо? «Аппарат» при мне — берусь в неделю написать точно такие же «Розы». Но, как говорил один василеостровский немец, влюбленный в василеостровскую же панельную девочку, «можно, можно, только нельзя». Затрудняюсь более толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как засох Ходасе-

вич. Тем более... для меня по инстинкту — наступил период такой вот. Получается, как когда — то средне, то получше. Если долбить в этом направлении — можно додолбиться до вспышки. Остальное — может быть временно — дохлое место». И странно. В нашей небольшой зарубежной литературе именно Иванов *начинает влянуть*. Именно у него уже есть литературные попутчики (отмечу своеобразное дарованье Юрия Одарченко) и неожиданные подражатели (их не называю). Попутчики у него есть и не только здесь, но и «там», как например, Заболоцкий. Но Иванов на Западе, а Заболоцкий в стране Хрущеви, где за поэтическое новаторство надо платить физическими репрессиями. Он и заплатил, и оборвался.

Новый путь антиэстетизма меняет всё *стихотворное тело* поэзии Георгия Иванова, всю ее сущность и плоть, вплоть до поэтического словаря. С сомнительных заезженных высот эта поэзия спускается в неведомость новых низин. В общей инструментовке стиха убивается мелодизм романса и орнаментальность. Музыка огрубляется, становясь примитивом. «Прекрасная ясность» и предметность «воздушных мелочей» уступают место высокой неясности *беспредметного бормотанья*. Вместо былой петербургской утонченности — грубый уличный мотив. Он представляется мне какой-то простенькой песенкой, что напевает себе под нос пьяный Верлэн, возвращаясь по бульвару Сан-Мишель в свое отельное логово.

На смену былым изяществам:

Мы скучали зимой, влюблялись весной,
Играли в теннис мы жарким летом,
Теперь летим под медной луною
И осень правит кабриолетом!

— врывается почти вульгарная (но с какой-то несколько некрасовской интонацией), крайне современная нота:

Если бы жить... Только бы жить...
Хоть на литейном заводе служить.
Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой рекой.

Но —

Этим плечам ничего не поднять,
Нечего, значит, на Бога пенять.
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь.

Поэтический словарь наполняется нестерпимыми для былого петербургского уха вульгаризмами («смыться», «ухлопать», «умора», «здорово», «хлам», «штучка», «шурум-бурум» и пр.). И как контрастные входят слова иностранного происхождения, тоже редкие гости былого поэтического словаря («хлороформировать», «трансцендентальный», «вертебральный», «патентованный», «лояльный» и др.). Также пущены в оборот каламбуры, остроты и вульгарно-разговорные выражения («поставить к стенке» и пр.). Иногда из вульгаризмов и иностранных слов дается крепкая смесь («в трансцендентальном плане — немазанная катится телега»). Но всё делается — несмотря на кажущуюся грубость — мастерски.

Источенность поэтического рисунка, в прошлом часто напоминавшая Бердслея, как в «Вереске» (но иногда, правда, бывал и Самокиш-Судковский, как в «Памятнике славы») — обменена на многие очаровательные инфантильные акварели.

Но главное, это — *слово, как таковое*, его звучание, кладется краеугольным камнем новой поэзии:

«Желтофиоль» — похоже на виолу,
 На меланхолию, на канифоль.
 Иллюзия относится к Эолу,
 Как к белизне — безмолвие и боль.
 И подчиняясь рифмы произволу,
 Мне всё равно — пароль или король.

Эти (и подобные им) прекрасные стихотворения Георгия Иванова ввергают многих в состояние одеревенения с обвинениями поэта в зауми. Думаю, что такая реакция может быть вполне естественной и закономерной. Но ни поэта, ни его искусства она не касается. Новую поэзию Георгия Иванова ведет музыка слова, как он ее слышит, а слышит он ее, на мой взгляд, изумительно. «Полутона рябины и малины — В Шотландии рассыпанные втуне, — В меланхоличном имени Алины — В голубоватом золоте латуни». И в органической срощенности с этой музыкой рождается *беспредметный лиризм*:

На границе снега и таянья,
 Неподвижности и движения,
 Легкомыслия и отчаянья
 Сердцебиение, головокружение...

Голубая ночь одиночества!
 На осколки жизнь разбивается,
 Исчезают имя и отчество
 И фамилия расплывается...
 Точно звезды встают пророчества,
 Обрываются! Не сбываются!

Как далеко это от прежней эмоциональной тональности: — «Всё образует в жизни круг — Слиянье уст, пожатые рук. — Танцуем легкий танец мы. — При свете ламп не видно тьмы». В современную поэзию Иванова включен новый внутренний двигатель. И то эмоциональное, что когда-то отражалось по-блоковски, по-анненски, по-кузмински, ушло с огрублением внутренней темы. Поэт всё больше обуднивает ее, сознательно отказывается от всяких ее украшений, предпочитая прекрасное нищенство музыки и образа.

С бесчеловечною судьбой
 Какой же спор? Какой же бой?
 Всё это наваждение.
 ...Но этот вечер голубой
 Еще мое владение.

Конечно, тематически это вовсе не голубой вечер Алеши Карамазова. Это вовсе не духовное умиление перед всем сущим и восторженное прозрение в сердцевину бытия, когда — как старинному немецкому поэту Ангелусу Силезиусу — даже лягушка кажется серафимом. «Der Frosch ist ja so schön als Engel Seraphin». Поэзия Иванова всегда была бездуховна, безрелигиозна. Если вслед за Вл. Соловьевым поэты-символисты видели в искусстве «общение с высшим миром» и утверждали в искусстве скрытую религиозную сущность, то Иванов в этом плане вполне верен гумилевскому завету акмеизма: — «не вносить никаких поправок в бытие». У него нет разговора с Богом и нет бодлэровского ощущения дьявола: «sans cesse à mes côtes s'agite le Démon». Его поэзия вся тут, на земле, вся terre à terre, ей чужда надмирность. Она вся в «черной дыре» философского безразличия. «От безразличья погибая, гляжу на вечер голубой». — «Не обижаясь, не грустя — Так труп в песке лежит не тлея». И в прозе тем же розановским шепотком Георгий Иванов говорит: «Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользящее мгновение».

Вот иду, иду в тумане я
 Скуки и непонимания.
 И с ученым или с неучем
 Толковать мне в общем не о чем.

.....
 Я наблюдаю с безучастием,
 Как растворяются сомнения,
 Как боль сливается со счастьем
 В гармонии одервенения

Но именно тут открываются у Георгия Иванова новые звуки новой музыки. И именно в этот момент он наконец дает русской поэзии *свою* музыку. И если слово как звук, в ущерб его цвету, его окрашенности преимущественно владеет новой поэзией Георгия Иванова, то всё ж иногда — пусть редко — слепящая живописность прорезает эту поэзию, напоминая лучшие полотна французских «*fauves*»:

Пожалуй, нужно даже то,
 Что я вдыхаю воздух,
 Что старое мое пальто
 Закатом слева залито,
 А справа тонет в звездах.

Только четыре совершенно конкретных темы еще остаются жить в беспредметной поэзии Иванова. Это — Россия, эмиграция, Петербург и убийство.

Стихи Георгия Иванова о России должны вызывать негодование многих. «Хорошо, что нет царя. — Хорошо, что нет России. — Хорошо, что Бога нет». — «И ничему не возродиться — Ни под серпом, ни под орлом». — «Невероятно до смешного. — Был целый мир и нет его». — «И вашей России не помню — И помнить ее не хочу». — «Россия счастье. Россия свет. — А может быть России вовсе нет». То, что наука о государстве разумеет под понятиями «народ, власть, территория», вероятно, действительно мало волнует Георгия Иванова. Этим он восстанавливает против себя патриотов. Но всякий политический подход к поэзии всегда всё-таки ставит обвинителей в несколько неудобное положение. И вызывает глубокое недоумение в поэте. Когда-то Брюсов написал довольно страшные строки — «Родину я ненавижу». Еще острее эту тему развивал Печорин. Да и Чаадаев где-то соприкасался с

этими чувствованиями. Но то, за что ответственны публицисты, мыслители, люди положительного знания, непреложимо к поэту. Было бы странно осудить поэта *за темы* его поэзии, что, конечно, не относится к стихотворцам-ремесленникам. Поэта можно судить только *за качество* выполнения. Так на мой взгляд всегда были пустопорожни обвинения Александра Блока за его поэму «Двенадцать», может быть единственную замечательную, стоящую, как грязный, «бессмысленный и беспощадный» монумент революции. Плоские комплименты первых большевиков и яростные нападки антибольшевиков говорили всё-таки только о непонимании. И Блок был тысячу раз прав, когда отрицал «Двенадцать», как политическую поэму. Здесь Блока можно сравнить с Руже де Лиллем. Руже де Лилль написал знаменитую «Марсельезу» вовсе не потому, что был яростным якобинцем. Он им не был. А потому что как художник внезапно услышал музыку французской революционной стихии. И у него вышла «Марсельеза». Но Руже де Лиллю самому пришлось скрываться и спасаться от этих яростных санкюлотов. И сидя в своем убежище он слышал, как санкюлоты на улице что-то поют. Руже де Лилль с интересом и удивлением спросил окружающих: «что они поют?» Ему ответили: «Марсельезу». Он ее не узнал. В таком же положении был бы Александр Блок, если бы присутствовал на каком-нибудь коммунистическом празднестве, где в «эстрадном» исполнении слышал бы свои «Двенадцать». Он тоже, конечно, их не узнал бы. Столь непохожий на эмоционального Блока, рассудочный Ходасевич точно и верно сказал о пушкинском «Кинжале»: — «даже такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу, не содержат никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» — это программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал: — *Que faire? J'aime les t-t-troubles.* (Аристократ был занка)».

Прекрасные стихи Георгия Иванова о России, за тридевять земель уходящие от эмигрантского штампа, как бы умышленно бросают читателя совсем на другой берег. На берег, по которому в своей музыкальной слепоте идет поэт. «Это только синий ладан. — Это только сон во сне». — «Не обманывают только сны. — Сон всегда освобожденье». Но из этого же музыкального сна, вместе почти с проклятиями «Пушкинской

России, которая нас обманула», иногда раздается и иная, теплая мелодия беспомощной любви к стране, где рос и начал жить Георгий Иванов. «Если плещется где-то Нева, — Если к ней долетают слова, — Это вам говорю из Парижа я — То что сам понимаю едва».

В политически-правых кругах эмиграции строки Иванова — «хорошо, что нет царя» — «не изнемог в бою орел двуглавый, а жутко, унизительно издох» — вероятно, вызывают внутреннее негодование. Но тот же Георгий Иванов — автор прекрасного стихотворения о царской семье, которое может быть вызывает отрицательное отношение уже с другой стороны — со стороны принципиальных республиканцев:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Это та же история, как с Андреем Белым. Страшный «потрясатель основ российской империи», славословящий буревую стихию революции, скиф, «левый эс-эр», Белый в Берлине, увидав у Марины Цветаевой на столе фотографию царской семьи, взял ее, говоря: «какие милые... милые, милые, милые!.. люблю тот мир!..» Если в каком-нибудь государстве поэты по конституции лишались бы политических прав, я думаю, это не было бы так уже неразумно. К тому же, я уверен, что сами-то поэты против этого параграфа конституции не так бы уж протестовали. Поэт всегда особь асоциальная. Неспроста пресловутые ничевоки выставляли требование «отделения искусства от государства». В этом есть какая-то внутренне-верная намётка. Надо признать, что поэзия, живопись, музыка *настоящему нужны* совершенно ничтожному меньшинству людей и их существование, — как обман, как прекрасное недоразумение.

Столь же двоедушно и резко, как тема России, сквозь лирическую сонность подана Георгием Ивановым и тема эмиграции. О ней Иванов писал немного. Но то, что есть, «для боль-

шинства совершенно неприемлемо». Потому что всё это вне штампа проезжей эмигрантской дороги. «Мы вымираем по порядку — Кто поутру, кто вечером — И на кладбищенскую грядку — Ложимся ровненько, рядком» — «Невероятно до смешного! Был целый мир и нет его. — Вдруг ни похода Ледяного, ни капитана Иванова. — Ну, абсолютно ничего!» — «Жизнь продолжается рассудку вопреки — На южном солнышке болтают старики. — Они надеются, уже недолго ждать — Воскреснет твердый знак, вернутся ять с фитою — И засияет жизнь эпохой золотую». — «Ласково кружимся в вальсе загробном на эмигрантском балу». И тот же Иванов дает вариацию на некую песню, ставшую в эмиграции почти что гимном. «Замело тебя счастье снегами. — Унесло на столетья назад. — Затоптало тебя сапогами — Отступающих в вечность солдат». Иванова обвиняли слева в «черносотенстве», справа в «антипатриотизме». Но так ли уж это всё серьезно?

Тема Петербурга надорванной нитью связывает новую поэзию Иванова с былой петербургской лирикой. «В Петербурге мы сойдемся снова — Словно солнце мы похоронили в нем», говорит (он уже мертв) поэт-петербуржец Осип Мандельштам. И с юга Франции, с лазурного моря, мертвому другу отвечает другой поэт-петербуржец, эмигрант Георгий Иванов:

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...
Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.

В русской поэзии остались только два больших «петербургских голоса»: Ахматова и Георгий Иванов. В общей беспредметности теперешней поэзии Иванова его стихи о Петербурге звучат уступающим любви диссонансом. Хоть и отмеченные простотой большого мастера, они всё-таки написаны еще в прежнем «ключе». Видно, петербургские корни невыкорчевываемы. По народной пословице: «каков в колыбельке — таков и в могилке». Недаром так патетически сильны выкрики Мандельштама о Петербурге: — «Петербург! я еще не хочу умирать! Петербург! У меня еще есть адреса, — По которым найду мертвецов голоса!» Петербургу Ивановым посвящены великолепные стихи: «В пышном доме графа Зубова», «Ветер

с Невы», «Всё представляю в блаженном тумане я», «Не обманывают только сын». И наконец — недавнее, о возвращении поэта после всех термоядерных мировых потрясений всё-таки туда, в Петербург, на эту праотчизну, прародину.

Распыленный миллионом мельчайших частиц
В ледяном безвоздушном бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц
Я вернусь — отраженьем — в потерянном мире.

И опять в романтическом Летнем саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

Последней конкретной темой часто звучащей в оркестре ивановской поэзии является тема убийства. К ней Георгий Иванов возвращается чрезвычайно напряженно, как к галлюцинации, при чем иногда даже датирует ее годом ухода из России. «Черная кровь из открытых жил — И ангел, как птица, крылья сложил. — Это было на слабом весеннем льду — В девятьсот двадцатом году».

Поиски новой музыки и новой темы дали поэзии Георгия Иванова и новую форму. Муза Полигимния предложила ее в виде «стихотворных дневников». Когда-то «Уединенное» и «Опавшие листья» Розанова в нашей литературе явились не только тематическим вызовом, но и формально-литературным. Тогда многие считали, что всякая художественная проза должна неминуемо начинаться «ярким июльским солнцем, заливающим далекие леса». И обрывки, отрывки Розанова показались почти что литературным неприличием. И тем не менее эта форма осталась в русской литературе, как узаконенная и замечательная. Только подражать ей нельзя. «Яркому июльскому солнцу, заливающему далекие леса» и «Петру Ивановичу медленно затянувшемуся папиросой» подражать можно безбоязненно. Это накатанная дорога. «Уединенному» же подражать невозможно потому, что в этом стиле застыло что-то чрезмерно личное, и его — не украсть. Путь «Уединенного» был классическим путем создания новой литературной формы методом антилитературности. Та же сугубая личность литературной речи в теперешних стихотворных дневниках Георгия Иванова. Казалось бы, чего проще? Но если кто-нибудь попробует подражать, я думаю, он тоже увидит, что это неподражаемо по-

тому, что в этой форме запатентовано что-то слишком *свое*, что заставляет воспринимать эти стихотворные дневники, как законченные поэмы. По-моему, в шепоте голоса у Иванова есть только два предшественника в русской литературе: в прозе Розанов и в поэзии Анненский. Я сказал бы, что оба они обладали даром *гениальной интимности* и это их основное качество сразу отделяло их от всех слишком *громко думающих* и *громко пишущих* литераторов. Таких было всегда много. Никто другой в нашей литературе не умел говорить подобным тихим шепотом, почти на ухо, но сказанным прорезать человека, как бритвой. Подобным даром интимности владеет и Георгий Иванов. Это один из атрибутов его «аппарата». И это очень часто приближает его к интонациям Анненского. Недаром он признается в любви ко всему «что Анненский страстно любил и чего не терпел Гумилев». Несколько офицерская муза Гумилева Иванову была, конечно, чужда. Не только в прозе «Распада атома», но часто и в улыбке стиха Иванова чувствуется шепот Розанова. «Старые счета перебираю. — Умереть? Да вот не умираю».

Но уходя от своих старших наставников, Розанова и Анненского, Георгий Иванов идет своеобразным путем в русской литературе. Его поэзия — явление не только русского зарубежья. Когда-нибудь — если будет Россия — небольшие книжки Георгия Иванова уйдут туда, в любимый поэтом Петербург и останутся там отражением прекрасного, тонкого и большого поэта, рожденного всё-таки градом Петра.

Роман Гуль

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ

(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ)

В 1904 году журнал Дягилева «Мир Искусства» и его ежегодные выставки современных художников, после семилетней деятельности прекратили свое существование. Результаты этой деятельности, всколыхнувшей сонное царство нашего искусства, которое впадало в крайний провинциализм, уже тогда могли быть признаны огромными. Теперь же, по прошествии 50-ти лет, в перспективном отдалении, заслуги журнала, всего круга «Мира Искусства» и самого Дягилева — особенно ясны: это было обновление нашей художественной культуры, можно сказать, — ее возрождение.

В широчайшую программу «Мира Искусства», помимо пропаганды современного западного искусства, связи с которым так нехватало нашему художественному миру — входила и пропаганда и, можно сказать, «реабилитация» нашего собственного искусства прежних лет. Многие были забыты: наш замечательный 18-ый век был в небрежении; красота Петербурга, воспетая Пушкиным, трактовалась, как казенный казарменный стиль; европейские влияния считались губительными для русского искусства. На всё это «Мир Искусства» открыл глаза по-новому.

Хотя «Мир Искусства» был явлением чисто петербургской культуры, его интересы в области русского искусства вовсе не ограничивались петербургским периодом: непрерывно, с первого до последнего номера журнала, помещались статьи и репродукции, посвященные творчеству до-петровской Руси, и, что особенно следует отметить, было всегдашнее стремление объединить оба мира: Петербург и Москву — задача почти неосуществимая...

Когда стало ясно, что журнал должен прекратиться¹, Дягилев направил свою неисчерпаемую энергию на организацию

¹ Ближайшей причиной был недостаток средств на дальнейшее издание.

нового художественного дела: собрать со всей России русские портреты для исторической выставки, где бы во всем блеске могло быть показано портретное искусство, созданное у нас с Петра Великого до наших дней². Это удалось Дягилеву в полной мере и было как бы завершением деятельности «Мира Искусства» в области истории русского искусства петербургской эпохи.

Никто, кроме Дягилева, в то время не мог бы взяться за это грандиозное предприятие, — так же как без Дягилева, по словам Ал. Бенуа, не мог бы возникнуть в свое время журнал «Мир Искусства». Не говоря об его организаторском таланте, энтузиазме и любви к 18-му веку, особенно русскому, он обладал глубокими знаниями в этой области, что доказала его книга, увенчанная Уваровской премией Академии Наук в 1902 г., о гордости русского искусства — Дмитрию Левицком.

С самого начала Дягилев нашел сочувствие у вел. кн. Николая Михайловича, которого знал лично, и который как раз в это время (1904 г.) начал издавать свой замечательный труд: многотомную книгу *in folio* о русских портретах.

Кстати сказать, вел. кн. был редким исключением в своей среде, стоял вне всякой политики, не занимал никакой командной должности, как другие его родственники и, как историк, был весьма уважаем в научном мире. Ему были доступны, конечно, все архивы и он был автором многих исторических книг, посвященных, главным образом, эпохе Александра I.

Николай Михайлович дал свое шефство будущей выставке, устроил ей государственную субсидию и помог Дягилеву получить в полное его распоряжение для портретной выставки чудесный Потемкинский дворец в Таврическом саду, много лет пустовавший и стоявший еще совершенно нетронутым, каким он был при Екатерине.

В каждой русской семье, которая дорожила памятью своих предков, сохранялись портреты отцов и дедов, — так было заведено искони. Писали их и русские художники и заезжие иностранцы. С начала XVIII века очень многие прославленные

² До Петра портреты были большой редкостью, царей писали или гравировали преимущественно иностранцы и большей частью это были изображения более или менее фантастические, лишь при Алексее Михайловиче портретное искусство в Россию стало проникать через Польшу. Несколько редчайших русских портретов этого времени во весь рост («парсоны») фигурировали на выставке.

в Европе портретисты приглашались ко двору и писали членов царствующего дома и русскую знать. Портреты хранились во дворцах, министерствах, в разных учреждениях, в частных домах обеих столиц и в многочисленных поместьях. В имениях часто сохранялись целые галереи предков — портреты, миниатюры, силуэты, иногда и бюсты, порой людей ничем не замечательных и никому неизвестных, но подчас изображения необыкновенно интересные и ценные с исторической и бытовой точек зрения. Качество этих произведений, конечно, было самое разнообразное, но среди них были настоящие шедевры, многие из которых оставались неизвестными публике, так как были скрыты во дворцах (как, например, чудесные «Смолянки» Левицкого), в особняках нашей аристократии и в бесчисленных имениях. Лишь в некоторых изданиях появлялись репродукции таких портретов, больше всего в журналах «Художественные сокровища России» и «Мир Искусства», но многое оставалось неизвестным.

Наиболее простой задачей Дягилева было получить портреты для его выставки из дворцов, разных учреждений и частных коллекций Петербурга: всё это было под рукой, шефство великого князя открывало все двери, и Ал. Бенуа, который хорошо знал все дворцы столицы и ее окрестностей — Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум, Павловск, Гатчину, а также и многие «подмосковные», тут ему много помог. В сотрудники по устройству выставки Дягилев пригласил несколько молодых любителей и знатоков искусства, художественных критиков и коллекционеров, которые знали что можно было найти в частных собраниях — это были бар. Н. Н. Врангель, С. Н. Тройницкий, П. П. Вейнер, С. П. Яремич, А. А. Трубников, С. Н. Кознаков и кн. В. Н. Аргутинский — будущие основатели и сотрудники журнала «Старые Годы».

Предстояло еще получить портреты из Москвы и из провинциальных музеев, но главная и самая трудная задача была — раздобыть то, что могло находиться во множестве имений, разбросанных по разным губерниям. Дягилев самолично взялся за этот, поистине гигантский, труд — объехать все те имения, где, как было доподлинно известно находились старинные портреты, или где можно было предполагать их наличие. Время для того, чтобы разыскать эти скрытые сокровища, собрать и показать их, было самое подходящее так как, вместе с разными изменениями в быту, особенно помещичьей жизни, когда стали вырубаться «вишневые сады», наступало

полное равнодушие к окружающему, и «культ предков» уже выдыхался. Оказалось, что это надо было сделать и потому, что надвигалась первая революция, которую в то время мало кто предвидел. Дягилев же — я в этом уверен, — ее предчувствовал и потому торопился. Лето 1904 г. было еще спокойное (я сам это видел, т. к. прожил то лето в Тамбовской губернии в деревне и потом проехал всю Россию с севера на юг) — это было как бы «затишье перед той бурей», во время которой погибло столько поместий. Всё это лето и было посвящено Дягилевым объезду имений.

Местные власти были, конечно, заранее уведомлены бумагой великого князя о дягилевской миссии и должны были помогать его поискам и посылке портретов в Петербург. Он ездил по России со своим секретарем А. Мавриным и побывал в самых отдаленных, «медвежьих» углах нашей родины. Чрезвычайно жаль, что Дягилев не оставил записок о своих странствиях и наблюдениях, и мы имеем лишь самые общие и отрывочные сведения об этой его поездке.

«С последним дуновением летнего ветра (сказал он в своей речи на московском банкете после открытия выставки)³ я закончил долгие объезды вдоль и поперек необъятной России: видел глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием, посетил дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми, где доживают не люди — где доживает быт»...

«Добыча» Дягилева была огромная. Иногда, не имея времени на месте разобраться в картинах, он брал огулом целые «галереи предков», чтобы уже в Петербурге, в самом Таврическом дворце, делать окончательный отбор и производить художественную оценку каждого портрета.

С осени 1904 г. я, по приглашению Дягилева, стал принимать довольно близкое участие в устройстве Исторической выставки в Таврическом дворце. Дворец был мне уже знаком: в его великолепной белой колонной зале, с длинным рядом сверкающих хрустальных люстр, давались симфонические концерты под управлением Никиша, которые я посещал. Место,

³ Речь полностью приведена в № 5 «Весов» за 1906 год.

где в прошлом Потемкин ставил блестящие празднества, было как раз подходящим для того праздника искусства, каким хотел сделать и сделал Дягилев портретную выставку.

Чтобы под выставку приспособить огромные залы дворца, их приходилось разделять перегородками, которые не мешали бы архитектуре дворца, и эта задача была поручена молодым архитекторам Шуко и Ник. Лансере и художнику Е. Лансере. Получился целый ряд зал, предназначавшихся для портретов отдельных царствований: Петра, Елизаветы, Екатерины, Павла, и др., и каждый зал был декорирован в соответствующем эпохе стиле, стены же перегородок обтягивались материей различных цветов. Особенно удачно был спроектирован Павловский зал с черным бархатным балдахином над страшным портретом императора, изображенного в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена и с короной, надетой набекрень, работы Тончи. Под современный портрет, со второй половины XIX в., кончая Серовым, Кустодиевым и Сомовым, был отведен большой «Зимний сад», полукруглый зал — абсида дворца, то самое место, где потом был устроен зал заседаний Государственной Думы. Центральная часть главного колонного зала дворца была отведена под «атриум» выставки и там сооружался по планам Бакста трельяжный сад в духе XVIII века с боскетами из лавровых деревьев, но когда Бакст торжественно показал свое произведение Дягилеву, тот неожиданно раскричался: «что за кладбище ты тут устроил» и велел сейчас же всё сломать до основания. Бедный Бакст должен был послушаться нашего деспота и сделал всё по-новому и, нужно сказать, этот новый боскетный сад оказался удачнее первого и был действительно очаровательной декорацией. Портретные мраморные бюсты екатерининского и александровского времен особенно украсили этот вход на выставку.

Чтобы все выставочные залы привести в еще более парадный и как бы «жилой» вид, их надо было обставить соответствующей эпохе мебелью и старинными предметами искусства, и эту задачу Дягилев поручил мне. Нашлись, прежде всего, в самом Таврическом дворце и в сараях на берегу Невы огромные склады мебели начала XIX в., а также множество декоративных украшений — остатки прежних празднеств во дворце, — золоченые орлы, трофеи и короны екатерининского времени, которые пригодились для убранства выставки. Но главная моя миссия состояла в объезде всех императорских дворцов Петербурга для выбора нужных вещей. Не очень легкая задача эта

была мне, конечно, крайне интересна. Мне был дан в помощь реставратор Эрмитажа, толстый Сидоров, который знал все дворцы, и мы с ним разъезжали по всему Петербургу на извозчиках (автомобилей еще не было) с бумагой от Министерства Двора, открывавшей доступ всюду. Я побывал и во дворцах мало кому известных и давно пустовавших, как например в маленьком Петровском на Петровском острове, вскоре сгоревшем дотла, в Екатерингофском, а также в Елагинском и Каменноостровском. Больше всего мы взяли из Зимнего дворца — я обошел все его колоссальные залы; и почти ничего из Аничковского: там вся мебель оказалась на удивление банальной, а подчас и безобразной: изделия Мельцера в квазирусском стиле с полотенцами и петухами. Я воспользовался случаем и зашел в недоступный никому кабинет Александра III, огромную и пренеуютную комнату, занимавшую весь фасад дворца вдоль Невского и сохранявшуюся в том виде, как и при его жизни. Там было много семейных фотографий и групп, где члены царской фамилии сняты были в штатском виде, и я подивился гигантскому умывальнику, во всю стену в конце кабинета — точно могучий царь смывал весь обильный пот своих трудов в этом lavabo. В деревянном Екатерингофском загородном дворце мы нашли необыкновенно пышную мебель елизаветинского времени, черную с золотом, расписанную в китайском духе, которая была в крайне плачевном состоянии: крыша дворца протекала и, в частности, вода капала на один замечательный стол, и кажется только тут управляющий это заметил. Из очаровательного Елагинского дворца на Островах мы могли взять изящную мебель карельской березы павловского времени, а Каменноостровский дворец принцессы Альтенбургской оказался переполненным великолепной ампирной мебелью, белой с золотом, сделанной по рисункам Росси, которая особенно украсила Историческую выставку. (В тот солнечный зимний день большой белый зал Каменноостровского дворца был, помнится, сказочно красив — весь в прозрачном хрустале — с вазами и люстрами, а в огромные окна, до полу, глядел заиндевший парк). Попутно во всех дворцах я делал наброски всего примечательного.

Еще задолго до начала работ по устройству выставочных зал стали прибывать ящики с портретами со всех концов России и ими заполняться все помещения Таврического дворца. Я часто присутствовал при том, как вынимали картины из вораха стружек и сортировали их, и было много сюрпризов и

любований; а держать в руках и временно, так сказать, «обладать» каким-нибудь Боровиковским или Росленом и рассматривать эти портреты вплотную — было огромным удовольствием. Тут я видел Дягилева во всё его блеске. Портреты часто бывали анонимные и тогда приходилось устанавливать и авторство художника, и личность изображаемых персон. Среди устроителей бывали разногласия и споры, Дягилев же поражал своей необыкновенной интуицией в определениях, всегда безошибочных, поражал и памятью и вообще всеми своими сведениями в области портретной живописи. Он носился по холодному дворцу в шубе в накидку, совсем как полководец на поле сражения, и изо всех углов дворца доносился его командирский голос: «брак!» или «взять!» Многие портреты из огромного количества присланного были забракованы. Развеска колоссального количества портретов была задачей весьма сложной, но Дягилев имел долголетний опыт и всем руководил, входя, как всегда, в мельчайшие детали.

Был трагикомический случай: водружали один громадный портрет Александра I-го, и рабочий, возясь с его прикреплением, сорвался с лестницы и провалился сквозь холст, сделав во чреве императора огромную дыру. Произошел невероятный переполох и Дягилев, поспешивший на место катастрофы, первым делом спросил: «не сломал ли себе шею этот несчастный?» Но рабочий оказался жив и невредим и получил щедро на чай, а невозмутимый толстый Сидоров, мой «гид», случившийся тут же, на моих глазах сразу же начал операцию с Александром I. Он так быстро зачинил свежую рану, растянув портрет на мраморном столе и загладив утюгом рубцы, что все поражены были его искусством. После окончательной ретушевки никаких следов не осталось, и казенное учреждение, от которого был получен портрет, так и не узнало о случае и не могло ничего заметить.

Перед открытием выставки, когда уже кончались работы по развеске портретов, мебель, привезенная из всех дворцов, мной была распределена по соответствующим залам и очень оживила выставку. Особенно всех восхитила Елизаветинская китайщина, найденная мной в Екатерингофском дворце, — этот раритет никому не был известен. Помимо огромного художественного наслаждения от дивных портретов, собранных на выставке, само ее декоративное устройство могло удовлетворить самый требовательный вкус — тут всё было *подлинное* и всё было, как и подобало духу «Мира Искусства», который там ца-

рил, «выдержано в стиле». Я был рад приложить собственную руку к этому устройству, хотя мое участие выразилось лишь в немногих мелочах — маленьких плакатах, обозначающих в каждом зале его эпоху, памятной этикетке на каждом портрете, и других графических работах. Я сделал, кроме того, по просьбе Дягилева, большой рисунок на пергаменте, украсивший адрес, поднесенный устроителями Исторической выставки вел. кн. Николаю Михайловичу.

Историческая выставка портретов открылась 6-го марта 1905 года. Дягилев сумел устроить праздник открытия с большой торжественностью. Но и сама выставка была в нашей жизни настоящим праздником искусства, и в то же время это был «пир во время чумы»: летом 1905 г. вспыхнула революция и в погромах и пожарах имений погибло множество предметов искусства и семейных реликвий. По счастью некоторые портреты были спасены именно тем, что были отосланы на нашу Историческую выставку в Петербурге.

Для русской художественной культуры выставка имела очень большое значение: она дала возможность новых художественных сопоставлений и разных новых оценок, на ней было сделано и немало открытий, т. к. множество портретов было выставлено впервые. Целый ряд художников, в том числе Н. Ге и Крамской, показались в ином свете, более значительными и привлекательными по живописи и тому, что особенно свойственно русскому портретному искусству — психологичности или, точнее, душевности. С этой точки зрения можно было по-новому оценить на выставке, между прочим, Винтергальтера, работавшего в России в 1840-х г. Кисти этого блестящего салонного портретиста Второй Империи, часто слишком нарядного и эффектного, принадлежал портрет княгини Е. К. Воронцовой, той, к которой в ее молодости был равнодушен Пушкин, — совершенно исключительный для этого художника по живописи, простоте, жизненности и необыкновенному очарованию. Я подолгу простаивал перед этим портретом...

На выставке, наряду с русскими художниками, фигурировали все наиболее выдающиеся иностранные портретисты, работавшие в России с начала XVIII века и запечатлевшие многих представителей русской царствующей династии, аристократии и знаменитых людей⁴. Особенно поражали всех на

⁴ Из Италии приезжали — Каравак, Торелли, Ротари, Лампи,

выставке портреты Рослена по их мастерству и выразительности. Выставка с очевидностью доказывала, что наши портретисты того же XVIII века — Левицкий, Боровиковский, Шубин, Щукин, Рокотов и более позднего времени, как братья Брюлловы, Кипренский, Тропинин, Варнек, Соколов, стоят на уровне лучших европейских портретистов — их современников.

Несмотря на все старания Дягилева и вел. кн. Николая Михайловича, идея создать из всего, так счастливо собранного, музей — не осуществилась. Шла японская война, разрасталась революция и правительству было не до этого, и по закрытии выставки почти все портреты были развезены по своим местам, за исключением некоторых дворцовых портретов, переданных в Русский музей Александра III. Был издан очень тщательно составленный каталог, над которым работали многие сотрудники Дягилева. Каталог этот, изданный в нескольких частях, был, к сожалению, без репродукций, но многие портреты, как и интерьер выставки и боскеты Бакста, были увековечены на открытых письмах Красного Креста. Лучшим же памятником замечательного события явилось издание вел. кн. Николая Михайловича «Русские портреты». Оно было напечатано в 5-ти томах с великолепными воспроизведениями портретов (издание это было закончено в 1909 году).

Единственный (и несправедливый) упрек, который делали Дягилеву по поводу выставки, был в отсутствии на ней многих художников «передвижников». Но он предпочитал, чтобы выставка выиграла в качестве, хотя бы и за счет исторической полноты, да и многие портретисты той эпохи (1870-80 гг.) весьма бы потеряли от соседства с их собратьями Крамским или Репиным; оба последние были хорошо представлены на выставке, как и прославленный портретист того времени Конст. Маковский. Своей портретной выставкой Дягилев окончательно завоевал и привлек на свою сторону общественное мнение. После многолетней борьбы, которую он вел вместе с «Миром Искусства» против косности и отсталости нашей в искусстве, это был его заслуженный триумф. Помимо своего огромного художественного значения, Портретная выставка Таврического дворца была и *исторической*. Эта незабываемая «ассамблея» изображений представителей всего петербург-

Тончи, из Швеции — Шевалье де Рослен, из Германии — Р. Менгс и Анжелика Кауфман, из Франции — Грез, Виже Лебрен и Винтергальтер, из Англии — Дау, и т. д.

ского периода нашей жизни, придворной, официальной и интимной, была как бы история этого времени и его быта в лицах.

«Не чувствуете ли вы», говорил Дягилев в упомянутой речи по поводу выставки, «что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца — есть грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, омертвевшему периоду нашей истории»... По его словам, во время его «жадных странствий» он особенно убедился в том, что мы живем в страшную пору перелома: «Мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости... Я уверен, что мы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникает, но и нас ометет»... Слова эти оказались во многом пророческими...

Закрылась выставка раньше предполагаемого срока, так как Таврический дворец был отдан под Государственную Думу и должен был в спешном порядке перестраиваться. Увы, новый зал Думы, бесстильный и некрасивый, представлял большой контраст со всем тем, что блистало великолепием на том же самом месте. Лишь большой колонный зал, где перед этим были развешены великолепные портреты екатерининского времени, остался почти нетронутым, и он стал прозаическим и шумным «кулуаром» нашего недолговечного парламента.

Историческая портретная выставка была заключением всей художественной деятельности Дягилева в России. С 1906 года он начал заграницей новую блестящую деятельность: ознакомление Запада с русским искусством, которое одержало ряд побед, и, можно сказать, покорило Европу. Он начал с концертов русской музыки и русских оперных спектаклей и одновременно с большой ретроспективной русской выставки в Париже (Grand Palais) и, затем, в Венеции и Берлине, на которой были и многие портреты с выставки в Таврическом дворце. С 1909 же года, т. е. спустя четыре года после Исторической выставки в Петербурге, он, как известно, всецело отдался пропаганде в Европе русского балетного искусства. «Saisons Russes» Дягилева давались ежегодно в Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне, и продолжались два деся-

тилетия до самой его смерти, на 57-ом году его замечательной жизни.

М. Добужинский

Р. S. Зимой 1954/55 г., в Лондоне была выставка, посвященная Дягилеву, по случаю 25-летия со дня его смерти, имевшая неслыханный успех (больше 100 тыс. посетителей). Там было собрано всё, что касалось его русских балетных сезонов за границей, и были выставлены театральные эскизы всех художников, работавших с ним, начиная с Ал. Бенуа и Бакста и кончая Пикассо и Руо. На выставке память Дягилева была прославлена достойно, но лишь как вдохновителя балета и пропагандиста нового в искусстве. Всё же, что было им сделано для искусства раньше, в России, было упомянуто лишь вскользь в каталоге, и не было на выставке никакого следа самого Петербурга — художественной родины Дягилева, где был источник и всех его балетных начинаний в Европе. А, главное, — не было отмечено то, что в Дягилеве являлось таким исключительным: широта его вкуса, ибо рядом с его увлечением и интересом к «последнему слову» в искусстве, он всю жизнь, до конца, оставался верен своей любви к XVIII веку, к старинной музыке и к Чайковскому...

М. Д.

ЖАР-ПТИЦА

То был не сон, то явь была,
Она жар-птицей пролетела,
Ее горящие крыла
Коснулись и души и тела
И опалили мой покой.
И не могу водой студеной
Коснуться раны обожженной —
Ей суждено быть огневой.

А. Горская

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ

«Человек не рожден для поражений. Его можно убить, но не победить. Человек побеждает всегда».

«Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место».

Э. Хэмингуэй.

Из «Старика и моря» и из «Фиесты».

СЕВЕРНАЯ РОБИНЗОНАДА

В те дальние места я пришел в дни, когда зима неохотно уступала натиску весны. Ночью еще морозило; в полдень солнце поднималось над лесом, подтапливало снежные пуховики, искрилось в сосульках, подвешенных к веткам одиноких сосен.

В начале пути мы двигались по наезженному тракту, минуя концлагерные поселки и ночуя в редких деревнях. Еще можно было взбираться на тяжело груженные сани и ехать, бездумно удивляясь и радуясь. Всего пять-шесть дней назад я работал лесорубом и должен был остаться в лесу совсем: выхода не было. Я ничего не мог придумать, чтобы избавиться от штрафного лагеря, и знал, что больше месяца-двух тут мне не протянуть. Не оставалось и крохи надежды. Но случилась одна из тех неожиданностей, которые никогда не предугадаешь. Среди бела дня из чащи к месту, где работала наша партия, вынырнули розвальни — на них сидел знакомый из Управления, а около него лежал мой убогий скарб. Я не успел удивиться, как мне сказали, чтобы я садился и ехал, для меня даже неизвестно, куда и зачем. Воткнув топор, которым я работал, в бревно, я плюхнулся в сани, не зная, радоваться или терзаться; какая еще напасть ждет меня? Знакомый тоже не знал. Через двое суток лошадка вывезла нас из леса, мы добрались до города и пошли в Управление. Там мне дали пакет, облепленный сургучными печатями, и приказали идти с обозом еще дальше на север, в отрезанную летом от нас экспедицию...

Скоро кончилась укатанная дорога, поселки, деревни, — мы свернули на первобытный зимник. Снег уже оседал, лошади и сани проваливались — садиться на сани больше было нельзя. Со дня на день могли вскрыться ручьи, а возчикам надо вернуться домой и они торопились. Усталый и истощенный, я напрягал последние силы, чтобы угнаться за ними. И на привалах, во время кормежки лошадей, я ложился пластом, чувствуя себя будто избитым палками.

Эта дорога осталась в памяти, как утонченная смесь пытки и сказки. Сказочным было чудесное спасенье: я еще раз ускользнул. Шел я туда, куда хотел и не раз просился, до того, как стал штрафником. Сказка сопровождала нас: дни и ночи был лес, которого никогда не трогала человеческая рука. Лес расступался коридорами и залами невиданного дворца. Свечами свисали блиставшие на солнце сосульки и снежная бахрома; мраморно белели опушенные снегом колонны сосен, — из-за них выбегали молоденькие елочки, в сверкавших нарядах. Похожими на седых леших стояли высокие пни сломанных бурей деревьев. А между ними, между колоннами, елочками и широкими лапами, пригнутыми книзу тяжелыми подушками белого атласа, вкрадчиво уходили вглубь синие, голубые, фиолетовые тени.

Поскрипывая, уползал обоз, а я стоял, замороженный, взволнованно смотря и прислушиваясь. Тело ломило от усталости, зудело и чесалось, подкашивались колени, но нельзя было не вслушиваться в молчание и неподвижность этого лесного сна.

Очнувшись, я ковылял дальше, торопился догнать обоз, чтобы увидеть людей, услышать их голоса: становилось жутко. Мурашками пробегал по коже страх. Стертые в кровь ноги не слушались, резала огненная боль, но я упрямо шел, вырываясь из пут лесного колдовства.

Два дня шли буреломом, полями исполинских битв. Сосны в два обхвата, с вывернутыми корнями, висели одна на другой; высились обломанные стволы; закрученные вихрями деревья переплетались, как ведьмы на шабаше. Что это было? Битва великанов?

Бурелом сменили столбы. Сколько ни смотри, одни толстые, тонкие, высокие, пониже, с обломанными вершинами прямые столбы. Внизу из сугробов выглядывает мешанина упавших стволов, кустарника, сучьев, — выше торчат только почерневшие обгорелые столбы, остатки когда-то давно сго-

ревшего леса. Тишина, спит снег и солнце; мы идем между столбами и нет даже тени: черные ленты на снегу кажутся продолжением столбов.

Этот путь занял две недели: под конец я обессилел и душевно. Я устал от беспрестанно менявшихся лесных видений, — разные, они сливались во что-то одинаковое и огромное, противостоящее тебе и словно обещающее поглотить тебя. И я с радостью встретил широкую реку, между высоких заросших берегов: по ее льду мы скоро доберемся к цели.

Цель открылась еще через день, из-за очередного поворота реки: на круче кто-то разбросал десяток домишек. База экспедиции. Сердце сжалось: сейчас будет дежурный по лагерю, баня, хозчасть — сдать продовольственный и вещевой аттестаты, — и снова барак.

На этот раз я плохо угадал. Дежурный не отправил в баню, а отвел в санчасть, в крошечный домик над берегом. Начальник санчасти, молодой приветливый врач с длинной бородой, выращенной от скуки, обрадовался мне, как развлечению. Угостив чаем, он поговорил со мною, удовлетворив свое любопытство, а потом смутился и сказал, что я должен пройти карантин: в лагере, мимо которого мы проходили в начале пути, свирепствовал тиф. Напрасно я доказывал, что мы не заходили в лагерь: приказ есть приказ. Смущавшая врача сложность состояла в том, что в экспедиции не было помещения для карантина; единственная койка стационара санчасти тоже занята и меня некуда определить. Сидя в амбулатории на табурете, я пытался смеяться: редкий случай, лагерь не может принять заключенного, — а глаза слипались и хотелось лечь на пол и уснуть.

Доктор ушел выяснять, а я положил голову на стол и заснул. Вернувшись, он растолкал меня. Выход нашелся: километрах в трех по реке, там, откуда мы пришли, есть охотничья избушка — в ней и будет мой карантин. Мы отнесли мои вещи опять возчикам, — они уже сдали груз и торопились назад, — сказали, чтобы сбросили их против избушки. А я получил в каптерке сухой паек, топор, ножёвку, фонарь «Летучую мышь» и, не в силах даже удивляться новой превратности, заковылял в карантин.

Уже в сумерках я увидел на снегу у санного следа свои вещи. Напротив, на высоком откосе, виднелась охотничья избушка.

Я вскарабкался по сугробам на откос, добрался до избушки, с трудом открыл занесенную снегом дверь. Сквозь закопченное окно свет почти не проходил, в избушке темно. С потолка свисали лохмотья сажи. Слева от двери — скамья-кровать, за ней столик и углом узкие лавки по стенам; справа — от стены к стене нары, в углу на них, против столика, из дикого камня печка-камельек, без трубы: избушка топилась по-черному. Над камельком в стене — дымовая дыра, задвинутая деревянной крышкой. И всё это вырублено топором; стены из бревен, крыша, нары, стол, скамьи — из толстых плах, наколотых топором и клиньями. И ни одного железного гвоздя, петли; единственный признак цивилизации — закопченные стекла в окне. Но избушка казалась обжитой, она казалась словно даже уютной.

Пахло холодной копотью, застарелым дымом. Я вздохнул, не решаясь думать, хорошо или плохо мое жилье. Можно ли на севере быть Робинзоном? Это всё-таки жилье: крыша и четыре стены.

Сумерки сгущались, надо торопиться с топкой, а не было сил выходить, искать дрова. Я снял толстую плаху с крыши, изрубил, развел в камельке огонь, насовал побольше поленьев — сухие, смолистые, они занялись сразу, жаркое пламя вымахнуло до потолка. Избушка в миг наполнилась выедавшим глаза дымом, нельзя продохнуть — я выскочил наружу и настеть распахнул дверь.

Камелек в избушке топился, а я сидел под окном и ждал, когда он утихомирится и можно будет войти в мою хату. Пришла ночь, мороз снова прохватывал до костей, я боролся со сном, боясь, что замерзну. А когда дым вышел и я, сгибаясь, чтобы не сбить сажу с низкого потолка, вошел в избушку, охватило блаженное тепло. Груда раскаленных углей в камельке дышала жаром: стоял сухой перегретый воздух. Заперев на засов дверь, я кое-как постелил постель, разделся за две недели первый раз, лег и провалился в сон, как в смерть.

Не знаю, как долго я спал. Из темноты бессознания неуверенно, сначала робко пробился сон. Казалось, я еще иду с обозом; темная морозная ночь; мы входим в деревушку и стучим в первый дом, чтобы пустили на ночлег. Никто не откликается, возчики идут по другим домам, а я поднимаюсь на крыльцо и стучу, колочу в дверь что есть силы — и вот уже сплошной грохот бьет в уши, в мозг, а никто не открывает, деревня как вымерла и я чувствую, что остался один и замер-

заю в этой пустыне, под бледно-мерцающим холодом звезд. Меня пробирает страх — и вдруг в сознание пробивается: это же не я стучу, стучат ко мне! Я подскакиваю на постели, раздираю глаза, кричу:

— Кто там?

— Да что вы, умерли, что ли, открывайте, я час стучу, окоченел, — слышится плачущий голос, в нем отчаяние, горе и зубная дробь. И тотчас же вспоминаю: начальник санчасти сказал, что придет компаньона, пришедшего на-днях этой же дорогой и оставленного на одном из пунктов экспедиции.

Открываю дверь, зажигаю фонарь, — я не успел предупредить и гость, переступив порог, выпрямился в рост: на него и мимо, задевая меня, рухнула бархатная вата сажи, слоем сантиметров в пятнадцать. Только на другой день я разглядел, что мой сожитель в высокой меховой шапке и широченной кавказской бурке; ночью казалось, что он сплошь облеплен сажей.

Сев на нары, пришелец несколько минут прокашливался и чертыхался. Я снова лег: морил сон.

— Меня подвезли и оставили, я стучал, стучал, — говорил гость. — У вас же холодно, нельзя печку затопить?

— Нельзя. Топится по-черному, тогда нам придется выходить.

— Как же быть? Я промерз до кишек, а я только неделю, после тифа.

— Ничего не поделает. Ложитесь, спите, утром затопим, — бормотал я, проваливаясь в сон...

Компаньон по карантину оказался чудесным человеком, с детской душой. Высокий, худощавый, лет за тридцать, с простодушными глазами и лихо закрученными усами, — если его не знать, усы могли ввести в заблуждение, потому что придавали ему зверский вид. Телеграфист с малой станции где-то за Моздоком, рыболов, охотник, балагур и весельчак, он представлялся мне типичным железнодорожным служакой, любителем душещипательных романсов под гитару, бесхитростным совращателем женских сердец. Он даже вирши кропал — чувствительные, скверные, но способные тронуть своей беспомощностью и сквозившей в них любовью-благодарностью ко всему живому.

Быстро открыв себя и выложив свой душевный багаж, телеграфист успел передать и свое неутешимое горе: почему вырвали его из милой сердцу жизни под Моздоком и привезли сюда, в холодную северную глухомань? Он никому не делал

зла — за что же его? Чего от него и от таких же, как он, хотя, зачем ломают жизнь, которая так хорошо у него шла? Зачем отнимают радость жить? Не находя ответа и не в силах заглушить свою боль, он загорался негодованием, жадной действия — и скоро заговорил о том, что нельзя смиряться: надо бежать. Зимой нельзя, сотни километров снежных сугробов не одолеть, но придет лето... Он говорил об этом еще неуверенно, намеками и с жадной надеждой смотрел на меня: неужели я не пойму, не поддержу, не скажу, что он прав ?

У меня за спиной было уже три года заключения и в них немало обветшалых надежд. И по себе и по другим я знал эту тоску, боль по отнятой жизни — и желание уйти от этой боли, скрыться от незаслуженной обиды, от несправедливости, от всего, что взворошило, изломало, исковеркало жизнь. Это чувство переходит и в неспособный к примирению протест, в потребность не уходить, а противопоставить себя непонятому, сразиться с ним, побороть. И именно такие люди, как мой сожитель, чистые и смиренные душой, чаще оказывались самыми сильными, идущими до конца. Я не переставал думать о побеге и знал, что лучшего спутника, наверно, мне не найти. Но узнал я за три года и другое: как постепенно притупляется, угашается боль, — не исчезая, она словно опускается на дно души и человек каплю за каплей теряет решимость. Житейская сутолока даже лагерной жизни, какие-то непредвиденные обстоятельства ежедневного бытия глушат, отодвигают животворную тоску, а с нею и представление о той силе, с которой надо бороться. Где она, в чем? Проходит год, два — и человек словно свыкается с болью, с тем, с чем свыкнуться нельзя, и нет уже у него силы, чтобы решиться.

Телеграфист из-под Моздока не пробыл в заключении и года — что будет с ним еще через полгода, через год? И я, двадцатилетний юноша, говорил с ним, как умудренный опытом и остывший старик: не обнадеживая, но и не расхолаживая, не гася горевшей в нем надежды. Каждому самому надо пройти свой путь и советы со стороны всё равно ни к чему...

Мы научились отлично топить камелек: надо накладывать не слишком много дров и поддерживать равномерный огонь. Тогда сизый дым неподвижно стоит на одном уровне, на удивление ровно: будто его обрезали ниткой. Не надо даже открывать дверь: мы садились на пол, на корточки, — выше голова уже попадала в зону дыма, — варили суп, кашу из скудно отмеренного пайка, кипятили чай, глядя, как пляшет в

камельке огонь, пожирая смолистые поленья. Так можно было сидеть часами. Где-то был лагерь, была жизнь, там суматошились люди, мучились сами и мучили других, а мы вдруг странно выпали из их числа, словно брошенные на необитаемый остров или задержанные на каком-то полустанке, на полпути к неизвестному. Это выпадает редко, и можно было пока отложить, отбросить мысли о побеге, о том, что будет, и окунуться в сонную очищающую дрему.

Изредка приходил изнывавший в экспедиции от безделья врач, приносил немного продуктов, что мог достать, мы пили чай и неторопливо беседовали втроем, в избушке за прокопченным столиком или снаружи под окном, на набравшем с каждым днем силу солнце.

Тут нельзя было суматошиться, даже громко говорить. Внизу, под еще белоснежным покровом, текла река, угрюмо вставал напротив заросший высокими соснами скалистый берег, нас окружала тысячелетняя, никем никогда не нарушаемая тишина. И всякая суэта в ней, хотя бы громкий голос, показались бы грубым и неуместным вторжением в величавое лесное бытие, не знавшее человеческой бестолочи.

Две недели карантина промелькнули, как два дня...

ЛАГПУНКТ ПИОНЕРНЫЙ

Год, проведенный на базе экспедиции — лучший за время моего заключения. Нас было всего человек полтора. Много интеллигентных людей — инженеры, техники, ученые; несколько десятков слесарей, плотников, механиков, а чернорабочими были добросовестные и непритязательные крестьяне. Топографы со своими теодолитами, мензулами прокладывали в лесах визиры, стирали с карты белые пятна; геологи копались в шурфах; строители возводили дома, бараки, мастерские: экспедиция спешно готовилась к промышленной разведке.

Охранники, одетые в такие же серые бушлаты, как и мы, винтовок не носили и больше помогали нам, чем охраняли. Начальник экспедиции, проштрафившийся чекист, старался не выделяться из заключенных. Он тоже носил серый бушлат, высокие таежные сапоги, шапку-ушанку и только летом фуражку с малиновым околышем. Заключенных звал по имени-отчеству, запросто заходил в общежития, курил с нами, пил чай, беседовал, — он хорошо понимал, что десяток охранников в этом отрезанном от мира углу его при случае не спасут и

работу не подгонят и что только человеческое отношение может выручить. Расчет оправдывался: мы не чувствовали себя ущемленными и жили словно одной большой семьей.

Работы было много, мы засиживались до полуночи, но среди дня оставался двухчасовой обеденный перерыв. Летом, наскоро пообедав, я шел гулять. Рядом протекала речушка, впадавшая в реку, по которой я пришел, — в черных омутах речушки иногда удавалось поймать хариуза, а если привалит большое счастье, то и серебряную форель: речушка текла с гор.

За речкой поднимался почти отвесный песчаный бугор, на нем — солнечный сосновый бор. В жаркие дни в бору плыл горьковатый запах разогретой смолки, он смешивался с пряным ароматом горячего мха и лесных трав. Между ровными стволами, только высоко наверху прикрытыми зелеными зонтами крон, видно далеко — может быть это успокаивало больше всего.

Дальше за бором начинался кустарник, сплетение смешанного леса, — из-за иголок молодых елочек эмалево блестяли ярко-зеленые кружочки листьев. А среди зарослей неглубоко опускалась большая, с полкилометра в поперечнике, поляна покрытого сочной травой болота, удивительно правильной круглой формы — словно гигантское блюдо, заботливо вдавленное в землю неведомой силой. Северное лето коротко, всего два месяца, но оно буйное, нетерпеливое, размашистое: травы, деревья, кусты, наперегонки спешат вытянуться, подрасти, отцвести, вызреть, чтобы в урезанный срок выполнить положенное им. И потому когда ни придешь к изумрудному блюду болота, оно радуется пышным цветением не лета, а весны.

Откуда-то к нам забежала белая поджарая собака, добродушная дворняга. Я подкармливал ее, назвал Кроликом — собака привыкла ко мне и стала обязательным спутником в прогулках. К обеденному часу Кролик уже сидел у порога, я выходил — пес дурашливо бросался вперед. В лесу он гонялся за мышами и зайцами, иногда надолго пропадал в погоне за мелькнувшим в кустах лисьим хвостом. Набегавшись, Кролик ложился рядом и тяжело дышал, высунув красный язык. А я сидел на берегу изумрудного блюда и думал, что прошла не одна сотня лет, пока это когда-то лесное озеро затянулось кувшинками, осокой, водяными лилиями — они как-то ухитрились затвердеть, прорасти толстым покровом, сплетенным из миллиардов корешков, стеблей, листьев, принесенной ветром пыли. Прой-

дут еще тысячелетия — образуется, наверно, кладовая каменного угля. Природа не торопится со своими постройками — куда спешим мы, люди?

Дни проходили слаженно и можно было оставить без ответа этот всё равно неразрешимый вопрос. Но оттуда, откуда я пришел, к нам тянулись угрожающие руки. Там тысячи людей безостановочно рубили лес, прокладывая широкую просеку, рыли землю, делая выемки и насыпи, строили мосты, засыпали болота — чтобы схватить и нас, укрывшихся в этом углу. Голодные, полураздетые, они надрывались и гибли тысячами, их косили болезни, мор — на смену им гнали новые тысячи.

Тайга противилась, злилась, не давалась. Она раскидывала на пути непроходимые болота — неделями в них бросали тысячи бревен и тысячи тачек земли, щебня, возводили насыпь, — для того, чтобы, придя однажды утром, увидеть снова взрошенную равнину. Опять волочили тысячи бревен, везли и опрокидывали в бездонную пасть тысячи тачек — и снова болото в одну ночь проглатывало нечеловеческий труд тысяч людей. Но проходил день, и болото смирялось: равнину дыбила свежевystупившая опухоль шоссе.

Работая в управлении, с тревожным чувством смотрел я на карту: с юга на север упрямо тянулась к нам жирная черта. С каждой неделей она наращивалась по бледному пунктиру, пока спасительно отгораживавшему нас. Когда жирная черта совсем закроет пунктир, всё будет кончено еще раз...

Погожим днем поздней осени мы пошли с Кроликом в одну из последних прогулок. Еле слышно шелестел сосновый бор. Забрались в червонное золото кустарника, чтобы выйти к блюду болота — вдруг Кролик бросился в кусты, ошетинился, зарычал — и встал, как опешенный, даже перестал рычать, чем-то пораженный. Я подошел, раздвинул кусты — и тоже застыл, пронзенный ужасом.

От земли из кустов смотрели глаза — разжиженные, цвета болотной мути; они ничего не выражали и в них не оставалось ничего человеческого. Они были ни живыми, ни мертвыми, а до жути, до омерзения безразличными — и до того отвратителен был их взгляд, что к горлу подкатывала тошнота, а тело охватывал столбняк. Не сразу я разглядел лицо: круглое, вздутое, мятое, зеленое, как у лешего; на щеках и подбородке подло кустился пух: шарообразная, словно мягкая голова была в плешинах парши. Человекообразное зашевелилось, попыталось ползти; знаками раздутых черных пальцев и

звуками хриплого голоса оно хотело дать понять, что хочет к людям, всё равно, куда.

Это был беглец с тракта, мелкий воришка. Со своим дружком он убежал из лагеря с месяц назад и заплутал в лесу. Не умея ориентироваться, они шли наугад, питались ягодами, грибами и не могли никуда выбраться. Второй заболел и умер — оставшийся в живых отрезал от трупа куски мяса (а может быть он, не выдержав голода, убил своего товарища и только не сознавался в этом) и с неделю питался им, в сыром виде: спичек у беглеца не было. Мясо кончилось, а у него уже не было сил даже собирать ягоды и дня три он пролежал, медленно умирая, в кустах, где его учуял Кролик...

С новым, враждебным чувством смотрел я на подвигавшуюся к нам жирную черту. Похоже, что там, где она наращивалась, столкнулись какие-то непонятные силы, одинаковые по своей природе и по тупой мощи. Борясь между собой, они в самом деле превращают живое в мертвое — чтобы возникло что-то новое, с омерзительной головой беглеца, наделенной бессмысленными, ничего не выражающими глазами. Оттуда двигался словно поток какой-то мутной массы, не рассуждающей, движимой только темным звериным инстинктом, которого не разгадать. Сталкиваясь с такой же тупой силой тайги, поток вытягивался в жирную черту, которая казалась теперь мне удавом, с раздутой зеленой головой беглеца с тракта, пожирающей всё живое...

Жизнь на базе быстро менялась. Приходили новые люди, партиями в сотни человек. С ними вернулась обычная лагерная толчея; нашей большой семье пришел конец. А в начале зимы всего в четырех-пяти километрах от базы поставили новый лагпункт, последний на будущем тракте, связывающем нас, и назвали лагпункт Пионерным: пионеры пришли в тайгу, чтобы освоить ее. Но это не были пионеры: это была голова удава, вплотную подползшая к нам.

Ставили бараки, стало крикливо; появилась охрана, комендант, проверки, строй, — всё, о чем мы успели забыть. А в управление приходили строители — десятники, прорабы, начальники пунктов, крепкий, рослый народ с громкими головами. Они приносили здоровый запах пота, земли, смолы, снега, будто бы животворный запах труда. И я с удивлением замечал, что многие из них в самом деле увлечены освоением таежной глухомани. Они будто в явь чувствовали себя строителями, пионерами, открывателями новых богатств. Как могли они не

видеть, не чувствовать, что они ничего не открывают, а только уничтожают живое, заставляя надрываться для этого таких же людей, как и они? Неужели так велика у них потребность забиться в возбуждающем чувстве пионеров, что они могут отмахнуться и от самой жизни? Или — это всё тот же тупой, животный инстинкт и напрасно искать тут человеческие чувства, дух и душу? Мне казалось, что басовые раскаты простуженных голосов строителей и блеск их горячечных глаз прикрывают тот же смертельный удавий хрип и взгляд.

Осенью от нас ушла группа на новое место разведки, километров за двести, если считать по прямой. Пробраться туда можно только по рекам, кружным путем — дорога растягивалась километров на восемьсот. Туда удавья черта не скоро доползет, — я попросился в эту группу. В ней нужны работники, а на базе их теперь хватало. Начальник согласился — в середине зимы я выехал в новый путь, еще один короткий отрезок моего земного пути...

В ЖИВОМ И МЕРТВОМ

База экспедиции была как на водоразделе: цивилизация осталась далеко на юге — и прерывистой цепочкой редких деревьев тянулась по рекам на север. Километрах в пятнадцати от нас — первая деревушка, на реке, впадавшей в другую, которая несла свои воды в студеное море. По рекам и морю — летняя связь с большой землей; от деревушки начинался и зимник; по берегу убегала единственная проволока телефона. Недалеко от устья последней судоходной реки проволока сворачивала в сторону и тайгой и тундрой пробиралась к большому городу на большой земле.

От деревушки — почтовое и пассажирское движение «на перекладных». Как сто и больше лет назад, ехали от деревни к деревне, от стана к стану, каждые двадцать-тридцать верст меняя лошадей. Разница в одном: тогда мчались в кибитках и на тройках — теперь замореная колхозная лошадка кое-как волочила розвальни.

Зима не хотела смягчаться: термометр Цельсия не поднялся выше 30 и падал до 40, а то и 50 градусов. В одну из ночей моего пути он упал до 63.

На дорогу мне выдали местную одежду. На мне была моя: суконные брюки, пиджак — поверх я надел лагерные ватные штаны и телогрейку, еще свое же ватное пальто, а на него —

малицу: сплошной балахон, его надо надевать через голову, как женское платье. Малица — из нежной шкурки пыжика (молодого оленя), она с капюшоном и рукавицами, всё это — мехом внутрь. А на малицу — еще совик: такой же балахон, только из кожи взрослого оленя — теперь мех был наружу. На ноги, на мои шерстяные чулки, я надел липты — длинные кожаные чулки, тоже из пыжика мехом внутрь, на них пимы — вроде высоких сапог, опять из кожи взрослого оленя и мехом наружу. Вырядившись так, я превратился в большой мягкий шар и почти потерял способность двигаться; подойдя к саням, я повалился в них на сухое сено. Но мороз всё равно пробирался сквозь мех, вату, шерсть и хватал за ноги, плечи, спину, а нос и щеки к концу пути превратились в сплошной сизокоричневый струп. Через год-полтора в этих местах, в такие же морозы, перегоняли и заставляли работать десятки тысяч заключенных, одетых в негреющее лагерное тряпье.

Если смотреть по карте, мы скатывались прямо на север. Потом повернули на восток, по большой судоходной реке — на ней и движение больше, а лошадки словно еще замореннее и к тому же их не хватало. Весь путь занял две недели: похоже, этот срок стал стандартным, в него часто укладывались разные отрезки моего тогдашнего бытия.

Огромность пространств и смиряла, и возбуждала. В этом краю можно было бы уместить несколько западноевропейских государств. А его, в деревнях по берегам рек, населяло всего тысяч пятьдесят человек. От деревни до деревни — двадцать, тридцать километров, а деревня часто — три-четыре двора. Двадцать-тридцать дворов — уже большое районное село и лишь три-четыре села в краю насчитывали дворов по сто: центры, вокруг которых сосредотачивалась местная жизнь. И мало кто отваживался уходить в тайгу на десяток километров от берега: незачем.

На севере люди приветливы и открыты; они рады каждому новому лицу, известию, событию. О том, что в устье с большой земли приехал Иван Иванович Иванов, в верховьях, за тысячу километров, узнают через час-два: по незаметной проволоке телефона новости летят, как по воздуху. Никогда не откажут в ночлеге: приезжайте в полночь, в два, в три часа ночи, стучите в любой дом — через пять минут хозяйка уже возится с самоваром и разжигает железную печку. Путник с дороги должен быть накормлен и обогрет. Предложите денег за ночлег, за самовар — откажутся; настаите — возьмут: значит, у проез-

жего есть и взять не зазорно, но никто не спросит, если не предложите сами. Человек не у себя дома — человек, о котором обязан заботиться каждый, кто дома. И этот каждый, сам отправляясь в путь, без церемоний заходит в любой дом и принимает уход за собой, как должное. Да и путник — развлечение и источник новостей: они будут пищей для размышлений и разговоров на много дней.

Раньше тут не легко было найти рабочих для небольших лесозаготовок, на разгрузку и погрузку барж и пароходов: на такие работы шли по случаю, ради лишнего заработка. Занятия выбирали больше по душе. Мужчины рыбачили — реки кишели дорогой, красной рыбой, на продажу, хватало и на еду. Зимой охотились: лес густо населен белками, рыжими и чернобурыми лисами, водились и медведи; севернее жили белые и драгоценные голубые песцы. В тундре обитали оленеводы, с тысячными стадами оленей. Охота и рыболовство занимали хорошо если половину времени; окончив сезон, мужчины забирались на печки, на полаты и откровенно бездельничали: они были обеспечены на круглый год.

Приложить руки к домашнему хозяйству, к земле, мужчины считали для себя постыдным: хозяйство вели женщины. С мужчины достаточно того, что нужно по очереди возить почту, проезжих — зимой на санях, летом, если нет парохода, на лодке, которую тянет лямкой идущая по берегу лошадь. Тут родилась репа, картофель, немного южнее вызревали рожь, ячмень, но раньше их не сеяли: хлеба хватало привозного. И если женщина вскапывала огород, площадью с небольшую комнату, под репу и картофель, хозяйской гордости не было конца.

Но каждый двор имел по две-три — и до восьми-двенадцати коров. Летом их до зимы выпускали в лес, они не уходили далеко, хотя и случалось, что одну-другую задирали медведь. Это не считалось большим несчастьем: скотина стоила дешево. На зиму заготавливали сено, но травы, даже только на узкой полоске берега, не выкашивались и каждый год сгнивали на корню. Тут можно было бы прокормить скота в десятки раз больше, чем имел край. Но и без того он отправлял вниз, к океану, и дальше внутрь страны и за границу множество бочат янтарного масла. И жил безбедно и беззаботно: до тех пор, пока не пришел сюда концлагерь, местные жители не знали замков и никогда не запирали дверей, отлучаясь из дома.

На четвертый день пути мы приехали в большое село, прежний острог. От прежнего в нем мало что осталось. Богатых

оленоводов, промышленников, купцов давно уничтожили, разогнали; отдельные их семьи еще оставались и медленно умирали.

Возчик завез меня в такую семью, из двух молчаливых старух. Одна высокая, одутловатая, дородная, с горделиво поднятой головой, с длинным посохом в белой руке — с нее можно было бы писать боярыню Морозову. Утолщенная рукоять посоха — в пожелтевшей инкрустации: тут чудесно резали из кости, а кость брали из клыков моржа и бивней мамонта, законсервированные морозом туши которого иногда находили в тундре. Вторая старуха — низенькая, тощая, скрюченная пополам, с носом Бабы-яги, шыгала по комнатам, постукивая короткой клюкой. Обеим было почти по сто лет.

Истовые староверки, они чуть не прибили меня, когда я, не зная, куда попал, собрался закурить. Гневными взглядами и жестами старухи выставили «табашника» на мороз. За едой дали мне «мирскую посуду». Но отходчивы старушечьи сердца; может быть потому, что в их глазах я тоже был гонимым, к вечеру старухи смилостивились и степенно беседовали со мной. В доме было много икон; в одну из дверей я видел уставленную иконами стену, вероятно, молельной; наверно, были у них и старые книги. В разговоре о старине я спросил, что у них есть из древности. Книг мне не показали, но щедро вознаградили другой стариной.

Должно быть, старухи в этот день пересматривали свои вещи: в одной из комнат, на столах и древних укладках и сундуках, окованных цветным железом, лежали женские наряды. Старухи носили их лет восемьдесят назад. Это наряды еще от бабушек и прабабушек. Тяжелые бархатные, парчевые, легчайшие шелковые сарафаны, накидки — ярко-красные, малиновые, бордовые, нежно-голубые; цветистые персидские шали, платочки ажурного плетения устюжских кружевниц, расшитые сафьянные сапожки, веселые и величавые кокошники, униженные жемчугами и уральскими самоцветами — вся эта музейная редкость на наши деньги не имела никакой цены — и была несметным богатством. Для старух смотр был праздником; глаза их смягчились, увлажненные радостью воспоминаний; руки любовно гладили бархат, парчу, кружева...

Лошадь дали только к вечеру — днем я бродил по селу, тщетно вглядываясь в уцелевшие кое-где дома с крытыми переходами и высоким крыльцом под навесом, который держали

пузатые колонны. Срубленные из толстенных сосен, они стояли по двести лет.

О прошлом говорили и просторные торговые ряды, магазины, вместительные склады: революция начисто вымела содержимое и из них. Они стояли заброшенно, пусто; в единственном магазинчике «райпо» на полках — только желтые пачки «кофе здоровье» из желудей и голубые коробки зубного порошка. Когда-то тут сновали «молодцы», из тундры ехали оленеводы, снизу и сверху шли обозы, ядрено поскрипывая на морозе полозьями и туго увязанной поклажей. И вместо заунывного железного звона из судоремонтной мастерской, тоскливо и одиноко разносящегося в пустынных улицах, медно, торжественно, жизнеутверждающе гудели колокола собора, давно закрытого: его двери забиты досками, с голубых куполов сняты кресты.

На постоях, на ночлегах — недоумевающие, ничего не понимающие люди. Что делают с ними? Зачем? Кому нужно, чтобы оленеводы шли в колхоз и чтобы половина оленей из-за этого погибла, разбрелась? Что это за колхоз, кто его выдумал, зачем он? И как при нем жить? Почему у хозяек отобрали коров? Масло забирают, детям не оставляют даже молока. Почему не привозят товары, как прежде? Нет соли, нечем солить семгу, сига, нельму. Пришли голодные времена — их север не знал. Мужчин не оставляют в покое: одним дали задание на сдачу пушнины — и пушнины стали сдавать меньше, чем прежде; других гонят на лесозаготовки. Кому нужен этот лес, если он не может попасть внутрь страны? Заграницу? Это далеко и совсем непонятно: за лес ничего не дают взамен.

Северяне, люди свободные, с большим чувством собственного достоинства, почти не знавшие прежде давления власти и привыкшие жить своим умом, воспринимали новое, как стихийное бедствие. Спротивляться открыто бесполезно; только часть оленеводов ушла — одни на запад, лесами, к финнам и норвежцам; другие, как рассказывали, будто бы пробрались через весь север Сибири и Берингов пролив на Аляску. Остальные, приученные суровым севером к смекалке и изворотливости, всеми способами старались ускользнуть от насилия власти.

Ночами слева или за спиной небо загоралось северным сиянием. Оно перекидывалось исполинским сводом от одного конца неба к другому, и переливалось цветами радуги. Либо развешивалось полосатыми занавесами, — они играли оранжевыми, голубыми, синими, розовыми, зелеными огнями. Игра

эта никогда не манила, не влекла; она была ни земной, ни небесной: торжественная и непонятная, она обдавала холодом.

Термометр падал ниже пятидесяти. Заиндевевшая лошадка трусит, будто оставаясь на месте, словно замороженная; заморожен и ямщик на передке саней; его спина и голова в шарообразном капюшоне совика поседели от снега и инея. Воздух застыл; он обжигает щеки, режет горло, колет легкие. Куда ни глянешь — белое полотно: на реке, на обрывах скалистого берега, на прибрежных кустах с другой стороны, на стене леса за кустами — всюду белое безмолвие. Скалы тоже в инее и кажется, что у них из каменных пор, как от тяжелой муки, выступил пот и мгновенно застыл. Легкий дымок изо рта разлетается пылью, как пудрой, и только изредка раздастся выстрел: это треснуло от мороза дерево или не выдержал и лопнул камень, расколотый холодом, как колуном.

Неподвижны скалы, берег, лес. Мы минуем одни видения — открываются такие же, картины меняются, оставаясь одинаковыми, скованными всё тем же первобытным холодом. И кажется, что мы остаемся на месте, никуда не движемся, а кружимся по кругу среди кем-то нарочно расставленных декораций — они кружатся вместе с нами и нам не вырваться из них.

СТАРЫЙ ЗОВ

База группы — в тайге, в трех километрах от реки. Тут будет основная разведка. А весь район разведки — километров на двести и мы, всего сотня человек, только первая группа. Наше дело — начать и приготовить место другим.

Когда я приехал, в лесу уже было два барака; несколько охотничьих избушек вычистили от сажки, поставили в них железные печурки. В одной жил начальник группы, — проштрафившийся на воле чекист, как и начальник экспедиции ладивший с нами; еще в двух — шесть охранников, от скуки помогавших в хозяйстве; в других избушках — кухня, баня, склады.

Закончили еще барак, для будущего управления, немного в стороне. В одном его конце две комнаты заняли геологи, а комнату в другом — я, под временное подобие хозчасти. Как старый лагерник, знающий лагерное хозяйство, я приехал сюда завхозом, бухгалтером, кассиром, — ведающим сразу всеми денежными и хозяйственными делами.

Опять, как год назад, не было лагеря. Мы — большая семья, скрепленная одной участью, чувством заброшенности в глухой угол, человеческими отношениями. Но прежнее ощущение

ние не возникало. Это ведь — только повторение. Пройдет полгода, год — обязательно, неминуемо вернется лагерь.

Я следил за питанием, за выпечкой хлеба — из нашей муки, его пекли местные жители, в деревушке из четырех дворов на берегу реки. Вел мизерное денежное хозяйство, устраивал к весне пристань и склад на реке, почти каждый день ездил в деревню. У меня под началом — три лошади и конюха; главный из конюхов — громадного роста и медвежьей силы чалдонсибиряк Реда. Он смотрел из-под лохматых бровей понимающе и немного снисходительно, будто ему всё известно и нипочем. С ним хорошо работать: Реда никогда не перечил, был философски спокоен, и если делал не так, как говорил я, то выходило, как нужно. При том он умел щадить мое юношеское самолюбие.

В моей комнате — два сбитых из свежих досок стола. За моим сразу и спальня: койка-раскладушка. Под ней железный ящичек с деньгами. За вторым столом счетовод Калистов, лет тридцати, веселый, разбитной человек, хороший товарищ. За внешней веселостью проглядывала у него упорная тоска и что-то еще, чего я пока не мог разобрать...

Занятый хозяйством, я и не заметил, как подошла к концу зима. Кончились длинные ночи, утром и вечером прихватывавшие большие куски дня, потянуло теплом, попрозрачнел воздух — легче стало дышать. Дорога в деревню над оврагом — снизу, из-за голых еще кустов и деревьев, сначала робко, неуверенно, потом всё громче и громче зазвенел талой водой ручей, бередя в душе смутное беспокойство.

Выше поднялось, раздвинулось зимой низкое, туманное небо; в весенней голубени поплыли крылья облаков. А за рекой, прямо на восток, открылись горы. В ясные дни их было видно и зимой, но тогда они казались ниже и незаметнее. Теперь, стоя на берегу реки, я не мог оторвать от них взгляда. Высоко поднимались две острые вершины, на них сияло солнце; цепью на север и юг холмами громоздился хребет, тоже еще прикрытый снегом. Кое-где чернели черточки трещин — должно быть глубокие ущелья. Горы были то розовыми, то голубыми, фиолетовыми или синими, легкими и нежными, словно висевшими в прозрачном полотне неба. И мощными: тяжело, массивно, несдвигаемо давили они щетку тайги, поднимаясь над ней. И может быть вот это странное сочетание мощи и легкости, — легкая мощь гор, — отсюда, издали, придавала им особенное очарование.

Наверно, именно горы решили дело. Они с непонятной силой тянули к себе. Казалось, что до них подать рукой, хотя они начинались километров за сто от реки. Горы встали над тайгой, как сверкающая цель, как символ воли — он взворошил, поднял из-под спуда каждодневной суеты никогда не пропадавшее в душе до конца беспокойство. И в будоражащем зове поднялось неотступное, на что надо давать ответ: не пришел ли давно жданный срок?

Я пробыл в заключении около четырех лет. Оставалось еще больше шести. Ничего утешительного впереди не было. Примирительное наше временное благополучие скоро кончится: летом придут новые партии, снова приползет к нам удавья пасть. Даже мысль об этом нестерпима. Всюду я приглядывался: нельзя ли уйти? Страсть к воле, к чему-то другому, сидела в крови, ее не заглушить. Я думал о побеге не умом, а чувством, — ему не скажешь, что и за лагерем нет воли и уходить, наверно, бесполезно. Что толку в пользе, в чем она? А горы светят, как гибнущему в море маяк: весна ломает, рушит безудержно зимний плен, давая свободу живому, и разгоревшегося внутри огня не угасить.

Вверх по реке — цепочка деревень. Их можно миновать. Но километров через триста — другой большой лагерь, вокруг него — широкая ловушка — сеть оперативных постов, занятых ловлей беглецов. Себе в помощь оперативники привлекают комсомольцев, активистов из местных жителей, за плату продуктами охотящихся на людей. Если идти на юг — угодишь прямо в эту ловушку. Тоже и на юго-западе. На западе — наша экспедиция. Пройдя километров двести лесами, можно обойти экспедицию — останется еще восемьсот километров тайги. Тысячу километров за короткое лето не одолеть.

На севере — Ледовитый океан. Если даже в тундре пристать к оленеводам, о тебе скоро узнают: новый человек в тундре — новость, о которой промолчать выше человеческих сил.

Но открыт восток. Четыре, пять дней до гор, неделя — перевалить горы, еще неделя — добраться до первого жилья по ту сторону гор, по рекам спуститься к судоходной реке, на пароходе подняться кверху, как раз в густо заселенный промышленный район. Что остановит меня?

Раз начав, словно даже без участия в этом сознания, я складывал в целое детали, прикидывал километры, отбрасывал одно и выбирал другое, постепенно вырисовывая необходимый

план. Я вел хозяйство, разговаривал с начальником группы, с охранниками, с рабочими, — а перед глазами у меня расстиралась карта и я говорил с людьми, как сквозь сетку нанесенных на карту рек, гор, озер — где-то по ним проходил мой путь.

Карта, впрочем, существовала больше в воображении. В деревне попался истрепанный школьный учебник географии, я выдрал из него карту. На ней только большие реки и горы, главные населенные пункты — ни болот, ни мелких речек и деревень нет и в помине. Но точных карт этих мест вообще нет: их еще будут составлять наши топографы. Меня устроит та, которую я достал: направление есть, а идти придется не по карте, а по земле. Компас — у меня на складе, в снаряжении разведочных партий лежат десятки компасов.

Крестьяне говорят, что между рекой и горами — непроходимые болота. Через горы есть только санный путь, его иногда, не каждый год, прокладывают оленеводы. Летом тут не пройти. Но откуда они знают, если никто из них летом в тайгу дальше, чем на десять-пятнадцать километров не ходил?

Казалось, подталкивал каждый случай. В группе все с большими сроками, но молодого геолога Федотова отправили сюда по ошибке. В конце зимы он окончил свои пять лет, его освободили телеграммой из базы экспедиции. Федотов продолжал работать, ожидая, когда вскроется река, придут документы и можно будет уехать к океану и дальше, на большую землю. Но он до того хотел быть свободным, что не остался и месяца на прежнем положении и переселился в деревню.

Молчаливый, замкнутый, с втянутыми щеками — в них горел туберкулезный огонь, — Федотов в группе ни с кем не сходил и держался особняком. А тут вдруг его прорвало. Почему-то этот с нетерпением ждущий отъезда на волю человек почувствовал ко мне слепое доверие — через несколько дней после переселения в деревню у него не было от меня тайн. Может быть, до того тяжело ему было ждать, что не мог он вынести эту тяжесть один?

Мы сидим у него в комнатке за столом. Между нами лампа. Язычок керосинового пламени блестит у Федотова в глазах. От этого его глаза — как с сумасшедшинкой. Сквозь кожу красноватого лица словно проступает испуг. Пристально глядя то на меня, то на лампу, он говорит:

— У меня глупая боязнь: не дотянуть до парохода. Я знаю, этого не может быть, и всё-таки боюсь. Туберкулез у

меня не в такой форме, чтобы я не протянул еще два-три месяца. Надо выдержать: если бы вы знали, как я хочу еще раз увидеть семью, свой город! Тогда можно и умирать. Меня и страшит: а вдруг не увижу? Раньше я боялся, что меня не освободят. Не знаю, откуда это взбрело, но я был уверен, что не освободят, я убедил себя. А я пять лет только тем и жил, чтобы вернуться и еще раз увидеть. И решил: если не освободят — этой весной уйду. Пойду в горы, перевалю их, спущусь по рекам, а там поднимусь на пароходе к железной дороге и проберусь к себе. Вы знаете, севернее нас, километров за пятьсот, работает экспедиция профессора Светлова, из Геолкома? Я хотел выдать себя за участника этой экспедиции, отправленного по специальному маршруту. Имейте это в виду. Я уже кое-что заготовил — вот, если хотите, мне они больше не нужны. А вам могут пригодиться.

Он передал мне три заполненных профсоюзных билета. И билеты, и этот разговор — как знак судьбы. Я ничего не говорил геологу — откуда он узнал? И план почти тот же! Федотов снова и снова говорил об этом, как бы подталкивая и напутствуя меня.

В эти дни открылся и Калистов. Он сидел в хозчасти с утра до ночи, тут же обедал, ужинал; на железной печке пек нам оладьи, варил овсянку, кипятил чай. Мы подружились — и сначала из намеков, потом и из откровенного разговора выяснилось: Калистов живет тоже одной мыслью: как бы уйти, этой весной.

Калистов открыл больше: у них уже составляется группа, двое из нее — Редя и Хвоцинский. Сибиряк Редя, охотник, знает тайгу, как мы город, идти с ним — играть в беспроигрышную лотерею. Хвоцинский — бывший командир полка, храбрый и решительный человек.

Реду я знал; Хвоцинский работал плотником, знал его я только издали, что он представлял собой — неизвестно. Есть и еще кто-то — это уже опасно: каждому не влезешь в душу. В такие дела нельзя посвящать больше одного-двух человек. Я потребовал от Калистова, чтобы он ни с кем не говорил о побеге.

На другой день поехал с Редой в деревню. Сидя рядом в санях и посматривая по сторонам, Редя рассудительно говорил, как об обыкновенном деле:

— Я так думаю, большим кагалом не нужно: шуму много. И в лесу шумно выйдет, да и не уследишь. Калистов горя-

чий, он всех бы взял. А сгоряча и пропасть недолго. Нам не к чему пропадать, пускай коммунары пропадают. Пятеро-шестеро — ладней не может быть: глаз за каждым, и каждый свое дело исполнит. И выручка круговая, товарищество, и пройдем где хотим. Еще оружие нужно. В тайге без оружия — как без рук, это что плотник без топора. Зверя пострелять, пищу добыть, да и не больно погонятся, поопасятся. С оружием, впятером, вшестером, мы куда хочешь уйдем, хоть до Амура, а там и Китай...

Редя рассказал о своем плане. В одну из ночей, когда в тайге немного подсохнет, мы обезоружим начальника группы и охрану. Это не трудно: мер предосторожности они не принимают. Оставляем их связанными: до утра они ничего не сделают. Вооружившись винтовками, наганам и охотничьим ружьем начальника, уйдем на берег, возьмем в складе припасы, переедем на лодке реку — и в тайгу. Разыскать в ней пятерых-шестерых — дело почти безнадежное. Погоню организуют не раньше, чем к полудню: у охраны не будет оружия. И гнаться, зная, что у нас пять-шесть винтовок, ретиво не будут: каждому дорогá своя жизнь.

Этот план пришелся мне по душе. Против силы, что послала нас сюда и держит здесь, безоружные мы бессильны. Эту силу нельзя ни убедить, ни уговорить, ни умолить. Даже для того, чтобы только уцелеть, под ее властью надо всегда обманывать, хитрить, изворачиваться. Это не каждый может и не каждому по нутру. А тому, кто может, если он не из той же породы, всегда будет противно. Это — против природы человеческой, это унижает и оскорбляет. И даже если сумеешь перехитрить и вывернуться, у тебя остается чувство, что победа не за тобой, потому что ты должен продолжать изворачиваться, до твоего конца.

Совсем другое, если в руках у тебя оружие и рядом вооруженные друзья. Унизительное заячье чувство мгновенно пропадает. Пусть вас мало — вы всё равно отбрасываете уловки и говорите в лицо: иду на вы. И этим принуждаете противную сторону тоже отказаться от заячьего петлянья и выйти в открытую. Тут — почти поединок: кто кого. Это удесятяряет силы — и ослабляет трусливую власть.

Я одобрил план Реды, попросив, чтобы он пока никому не говорил о нем. До самого дня, когда надо будет приступить к выполнению, о нем будем знать только трое: Редя, Калистов и я.

Весна торопилась. Неделю назад казалось, что мертвые покровы в лесу, слежавшиеся ледяными глыбами, не растопить. А из-под них земля уже тянулась к солнцу. Беспокойный земной дух прошиб глыбы снизу, солнце съедало их сверху: снег осаживался — и вот он уже, как ненужный ноздрястый нарост. Теплый ветер выметает его, как с улиц выметают сор. Иначе запахло в лесу: природа на глазах совершала крутой поворот; обновление было неминуемым.

Поворот совершался и в душах. Яснее, чем когда прежде, можно было ощутить, как за внешним скрывается невидимое, более важное, чем видимое. Взгляд словно проникал сквозь оболочки и видел глубину душ. Я всматривался в лица, в глаза: который? Не этот ли? И безошибочное чувство говорило: и этот. Этот тоже под будничной покорностью таит дерзкую мысль: пробить налет, вырваться, взлететь ввысь. Душа издыривала пригибавший его к земле пласт — еще усилие, еще день, еще солнечный луч или веяние ветра весны, обжигающего ветра свободы — и человек выпрямится в рост. Похоже, что половина нашей группы готова была бежать и тайное для того, кто мог видеть, кто жил тем же чувством, стало явным.

На людях надо было оставаться спокойным. А ночью я корчился в лихорадке тревоги и не спал часами. Я проклинал медлительность весны, хотя она и не опаздывала. Преследовали неопределимые предчувствия: вдруг ничего не выйдет? Это было бы крушеньем, обвалом, катастрофой... Я успокаивал себя: нет причины, почему бы не удалось, но темные предчувствия сильнее рассудка и ночную тревогу не заглушить.

Днем, при виде далеких гор, тревога исчезала. И крепла тяга вдаль. Я не чувствовал, я знал: я буду там...

ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

Незадолго до вскрытия реки пришла телеграмма: немедленно, до ледохода, отправить в село, километров за сто. двух охранников, пятнадцать рабочих и Калистова. Они должны приготовить место для людей и груза, которые придут туда с первыми пароходами. Мы лишились одного из самых верных друзей — и ничего не могли сделать, чтобы его задержать. Калистов уехал, совсем сраженный; прощаясь с Редой и со мной, он едва не плакал. А я напрасно успокаивал их, говоря, что к сроку, до которого оставалось больше месяца, я сумею вернуть Калистова: я сам не верил в это.

Сразу после отъезда Калистова — новое несчастье: цынга свалила три четверти наших людей. Всю зиму не было овощей, мы питались хлебом, крупой, сушеной картошкой и цынга давно точила людей — теперь, с теплом, почти все рабочие лежали влужку. Будто это тоже было знаком судьбы, свалила цынга и Реду, железного таежника-сибиряка, легко сносившего лишения. Весь план насмарку: я остался один.

Меня будто вздернули на дыбу. Сошел в лесу снег, поднимались и зацветали травы, распустились листья березы и ольхи, — голову кружило и от липкого запаха весны, и от сознания, что рушилась воскресившая нас мечта. Прошел на реке лед, уехал Федотов, всё еще напутствуя, — но дороги больше не было. Призывно плескала вода, я покупал лодки для группы, приглядываясь, какая лучше подойдет для нашего замысла, — а он уже перестал существовать. Зачернели склоны гор, весна согнала с них снег, оставив его сиять на вершинах, — горы придвинулись еще ближе. Они будто дразнили: иди, мы близко, мы ждем... Я отворачивался и поскорее уходил с берега...

Недели через две больные начали выползать из барачков, греться на солнышке. На них жутко было смотреть. Скрюченные руки и ноги, черные лица, воспаленные слезящиеся глаза; только некоторые цынготники, опираясь на палки, могли кое-как ковылять, другие ползали. Лекпом говорил, что лечить нечем и болезнь надолго: как работники, больные выйдут из строя на все лето. Я и без него знал, что помочь могут только лук, чеснок, свежая картошка, молоко — то, чего у нас не было. Не было их и на базе экспедиции: там сотни человек тоже лежали в цынге.

Я доставал в деревне немного молока и два-три раза в неделю приносил Реду, украдкой, чтобы не видели другие. Но Редя не пил при мне и я знал, что потом он делился с товарищами, так что на его долю могли оставаться капли. Они не поднимут его на ноги: я понимал, что надежда на выздоровление Реды призрачна.

Когда я приходил, Редя отползал подальше, чтобы можно было поговорить. Как часто бывает, именно этого великана болезнь поразила, может быть, сильнее других. Он совсем обессилел и страшно становилось, когда Редя, с трудом двигая по земле руками и извиваясь огромным телом, подтаскивал себя, переползая на другое место.

— Не судьба, друг, — словно виновато говорил он. Я не

решался обманывать его утешениями, что, мол, он скоро поправится и мы уйдем: Реда — человек большого мужества.

— В этом году я больше не ходок, — говорил Реда, стараясь улыбнуться. — Может, выживу, тогда на другой год, если Бог приведет. А ты иди, чего ждать. Пользуйся случаем, пока здоров. — У меня не было и намека на цыngu, как и еще человек у двадцати в группе.

— Не дело, Реда, — отзывался я. — Вместе думали, вместе и ушли бы. А так — вроде как покинуть вас.

— На всё воля Божья. Чего же покинуть? Ушли бы, если б не случай такой. В нем никто не виноват. А свой случай упустить — Бога гневить.

— Один не уйдешь.

— Одному, верно, нельзя. Хвошинского в товарищи возьми. Вдвоем, полегоньку, и ступайте.

— Я его не знаю. Что он за человек?

— Да и я его не больно знаю. Они всё с Калистовым были. А думаю, ничего. Да тебе что: в походе каждый сойдет, вы одним будете связаны. Как один, по нему и другой поровняется. А выйдете на-люди, разделитесь, каждый своей дорогой пойдет.

Я и сам чувствовал: нельзя упускать случай. И странное дело: как ни дыбились мысли и чувства, как ни был я убит крахом нашего замысла, где-то глубоко во мне ворошилось смутное ощущение, что крах этот — не совсем настоящий. Не вышло одно — выйдет другое. Будто под спудом болезненного смятения оставалось и жило какое-то твердое ядрышко: надежда всё равно сбудется...

Поставив крест на одном, я исподволь начал готовить другое. И пока со стороны присматривался к Хвошинскому. Среднего роста, худошавый, но широкий в плечах и груди, он должен быть физически сильным и выносливым. Цынга его тоже не коснулась. Ходил Хвошинский прямо, высоко держа небольшую круглую голову. Лицо почти квадратное, с островатыми скулами и упрямым подбородком. Рыжеватые волосы, белобрысые усы; глаза смотрят смело и открыто. Может быть в них — чуть смущающая меня лишняя заносчивость. Или — это только лицо гордого, решительного человека, знающего себе цену? Похоже, что для нашего предприятия Хвошинский подходил. И другого нет. А случай нельзя не использовать и Хвошинский, зная обо мне, наверно, от Калистова, встречал мой взгляд жадно ожидающими глазами.

Я готовился, ничего не говоря ему. И только тогда, когда, по мнению Реды, в тайге подсохло и можно уже было двигаться в путь, я позвал Хвошинского в хозчасть. Он согласился сразу...

Днем я простился с Редой. Пересмотрел вещи, бумаги, всё, что не нужно, уничтожил. Из вещей взял самое необходимое, такое, что не могло выдать, откуда я. Пересчитал деньги: своих около пятидесяти рублей. Еще в кассе — двести с лишним. Кража, конечно, но у нас украли неизмеримо больше, а деньги будут нужны — положил в карман и эти. В кассе еще много лагерных денег, для заключенных — жаль, они нам ни к чему.

Вечером, часов в одиннадцать, взворошил одеяло на койке: если кто случайно войдет, пусть думает, что я спал и на минуту вышел. Осмотрелся: сюда я больше не вернусь.

Во мне ни волнения, ни суеты, я совершенно спокоен. К этой давно ожидаемой минуте душа и тело словно собрались в комок. И обострились еще больше чувства: движения четки и уверенны. Ничего лишнего. Будто вместе с уничтоженным ненужным барахлом я выбросил на время лишнее и из себя. И тело оказалось легким и странно напружиненным: легко и вместе с тем крепко.

Автоматически прислушиваясь и не оглядываясь, неторопливо выхожу из барака — не на дорогу, а в лес. Не раз пройденным для проверки путем прошел к кустам за поворотом дороги. В кустах ждет Хвошинский. Увидев меня, он молча и суматошно обрадовался. Стороной мелькнула мысль: неужели он думал, что я могу не придти?

Охранники, я знаю, дуются в карты или спят. В лес их ночью не выманишь. Теперь только не наткнуться на начальника группы, любителя шляться во всякое время по лесу с ружьем.

Шагая размашисто и сторожко, чтобы не хрустнула ногами случайная ветка, идем лесом, вдоль дороги. Белая ночь раскинула между деревьями чуть заметную пелену. В стороны видно далеко. Не шелохнет ни один лист. Слышен только шорох наших шагов; слух ловит даже дыхание соседа. Он готов броситься на каждый шелест, чтобы предупредить. Но ничего нет, всё замерло, может быть, спит. И только мы двое идем по лесу.

Вот и река. Деревня застыла; она тоже словно умерла, прикрытая прозрачным пологом белой ночи. Темный сарай

склада в стороне смотрит насупленно. Вода неподвижна, не всплеснет: река остановила свое течение. Над самой водой ползут, расплываясь, клочья тумана.

Открываем склад. Надеваем черные бушлаты, на вате: они одинаковы с гражданскими; новые сапоги. Припасы приготовлены: отсчитываем банки консервов, отложены сухари, сахар, крупа, соль, табак, спички — всё, что нашлось на складе. Наготове лежат плащи, парус, топорик, веревки, два компаса, другая мелочь из снаряжения: всё предусмотрено, но пока еще не уложено в рюкзаки, на случай, если кому вздумалось бы заглянуть в склад. Уложить часть в два тоже приготовленных геологических рюкзака, а часть снести в лодку — дело пяти минут.

Одна дверь склада — прямо к реке, к досчатому помосту: строилось под моим наблюдением. К помосту привязаны лодки; для нас я заранее выбрал лучшую, хотя хороших лодок тут нет. Сойдет и эта.

Вещи погружены, всё кончено. Запираю склад, оставляю ключ в замке: теперь всё равно, и не брать же его в тайгу. Молча показываю Хвошинскому: садись на руль. Отвязываю лодку, отталкиваю, скольжу на скамью к веслам: концы отданы.

Мы крадемся у берега, чтобы не увидели из деревни. Как когда-то на Волге, опускаю весла в воду неслышно, без всплеска вырываю из воды: у нас, у ребят, считалось особым шиком уметь так грести. Теперь пригодились: мы скользим беззвучно.

Это даже не нужно: берег мертв. Очнувшаяся вода подхватывает лодку, несет с собой. Уплывают деревня, склад — их обступила и уже закрывает темная стена неразличимого леса.

На душе будто тревожно. Спелась спокойная радость, настороженность и почему-то тоска. Я смотрю на уплывающую пристань, зная, что этих мест я не увижу больше никогда...

Г. Андреев

ET EGO IN ARCADIA...

It was the best of times, it was the worst of times.

Dickens

А я русских студентов терпеть не могу — они же лодыри.

Чехов (по Бунину)

Сейчас модно изучать СССР. Что и побудило меня написать эти заметки. Как фактический документальный материал для изучающих.

*

Очень хорошо помню выпускной вечер в школе. Танцы в зале на третьем этаже. У всех чувство, что вот теперь разойдемся в разные стороны. До танцев играли «Каменного гостя» (костюмы из костюмерной самой Мариинки). Данька (Лепорелло) изысканно, широкими движениями танцует танго с Фридкой (Анна). Толька (Карлос) за роялем. Рэм (в спектакле не занят) — мрачный у стенки. Друзья десяти школьных лет.

Мы с Нинкой (Лаура) ходили по темным коридорам второго этажа, заходили в классы, включали свет. Классы казались маленькими. Теперь мы сидим на окне в большом, темном физкультурном зале (ненавидел этот предмет все десять лет). Шведская стенка во всю стену. Сверху, из третьего этажа (тоже открыто окно) — только рояль. Внизу — булыжная мостовая Ивановской улицы (теперь Социалистическая) и петербургская (теперь ленинградская) белая ночь. Наши дома все тут поблизости: на Кабинетной, Звенигородской, Разъезжей, Загородном. Хорошо помню, как Нинка сказала: Вот мы и взрослые.

*

Для меня выход в жизнь начался немного раньше, с ареста отца за год до окончания школы. Обыск продолжался с пяти вечера до часу ночи. Перелистывали каждую книгу. Один

из них чуть не пять минут рассматривал арию Шакловитого на пианино (там вокальная партия была подчеркнута красным карандашом: «Ты в судьбине злосчастливая, родная Русь...»). Конфисковали портреты русских императоров (которые я вырвал вместе с другими картинками, перед тем как Брокгауза продали букинисту) и мое мелкокалиберное ружье «монте-кристо». Впопыхах забыли выключить радио, и обыск проходил под чтение проекта сталинской конституции. Уходя, отец сказал мне: «учись и будь дальше от политики». Он забыл сунуть в карман (как обычно делал) уже приготовленный томик Анатоля Франса. Тетя Дуня утешала плакавшую маму, что это хорошая примета («Значит, вернется за книжкой»). Через год маму тоже арестовали. Никто не вернулся.

*

Всё, что хочется рассказать, вертится вокруг университета. Трудно сказать, почему пошел на филологический. В моем положении надо было выбирать что-нибудь более полезное, индустриальный, что ли. Отец всегда склонял меня к естественным наукам (я и сам гербаризировал мальчишкой). Но я пошел на «филфак». Повлияла встреча с фридкиной знакомой, которая уже училась там на романском отделении. Девушка пресыщенно смотрела куда-то мимо меня, тихо исходила презрением ко всему окружающему и цедила сквозь зубы, что они скоро будут читать Мопассана в подлиннике. Чтобы хоть взглянуть на такие высоты, я выбрал филологический.

*

На медосмотре я познакомился с двумя, как и я, первокурсниками-филологами («филолухи», называли нас другие факультеты). Мы не стали близкими друзьями, но то, что это знакомство было для каждого первым в стенах университета, нас всегда потом связывало.

Один был блондин с сахарной улыбкой и потным рукопожатием. Он здоровался с большой афектацией, подбегая с вашим именем-отчеством на устах, долго тряс руку и заглядывая вам в глаза, как будто хлебосольный Тонкий, удостоившийся визита Толстого. Он чем-то напоминал Урию Гиппа. Скоро он стал первым учеником курса. Знал имена-отчества всех профессоров факультета. Его отец служил в НКВД. Мо-

жет быть, его отец и арестовывал моего отца. Сам же он поглом сделал большую карьеру. Даже, говорят, ездил интервьюировать швейцарского теолога Карла Барта.

Второй был черноволосый, с робкой удалью в движениях. Жал руку с предварительным размахом и отставив мизинец. У него, как и у меня, была переарестована вся семья. Он увлекался Тредьяковским, пьянствовал и спал не раздеваясь. Говорил с большой убедительностью, так что всем известные истины казались открытиями. Любил демонстрировать «душу» — но душа у него действительно была, и очень добрая.

*

Первый курс — время легкомыслия. К подлинной науке никто и не думал приближаться. Острили, блистали, ухаживали, пили — а больше всего были в восторге от своей причастности к университету и литературе. Даже беглый взгляд в окно открывал берег Невы от Зимнего до Сената. На филологический шли самые красивые девушки. Мы были в центре, были «аристократией». Ведь на исторический шли не попавшие к нам по конкурсу; на математический поступали по призванию, но благодарю покорно — математика! а на географический... географическим просто не интересовались, как будто там никто и не учился.

В перерывах между лекциями девушки по пять-шесть в ряд ходили по тесному залу. Юноши стояли кучками в углах, курили, обсуждали профессоров, передавали последние острооты. В буфете ели дешевый винегрет.

Профессора были разные. От знаменитого Жирмунского, которому приписывали фразу «Первые восемнадцать языков учить трудно, но потом легко», до выдвигенца Комарова, которого студенты с места хором поправляли на лекции: «Глагол времен, металла звон» — это Державин, а не Тютчев», а он смущенно бормотал: «Разве не Тютчев? Я проверю».

Острот было много. Увлекались шарадами (Что такое: острый предмет, отдан в починку в середине недели, а целое — состояние, необходимое студенту на экзамене? Ответ: сосреды-точится). Было модно блеснуть на экзамене изысканно-неверным ответом и на вопрос профессора, откуда «Кто на тебе со славой пал»? — выпалить: Из «Египетских ночей», это вопрос Клеопатре. Были и ответы не столь намеренные. Секретарь комсомольской ячейки на вопрос, кто написал

«Прикованного Прометея», неуверенно произнес: Не то Софокл, не то Ипполит.

Но слушали лекции с воодушевлением.

...Заслуженный профессор слезно с кафедры просил не читать его раннюю работу по Боккаччио, ибо там есть идеологические ошибки...

...Марксизм учили несчетное число раз. Однажды на экзамене я блестяще опроверг все вражеские теории троцкизма, хотя в жизни не читал ни строчки Троцкого (да и где бы я его достал)...

...Латинистка в конце урока, полного парадигм, давала «на закуску» эротические стихи Катулла, и мы с жадностью набрасывались на одиннадцатисложные строки...

По стране и по городу шла ежовщина. Она проникала даже в лекции по языкознанию. Говоря о местоимениях, профессор напоминал, что Гегель считал словечко «это» самым трудным, и на следующий день мы с полным знанием дела читали в стенограмме московского процесса замечание Бухарина со скамьи об этом самом «это» — а ему в ответ звучала брань Вышинского. В другой раз профессор говорил: «В некоторых примитивных языках нет категории будущего времени, и оно выражается отрицанием прошедшего. Например... (профессор делает паузу; простая ассоциация, перед ним сидят десятки студентов) например: я не сидел, значит — я буду сидеть». Слушающие косятся друг на друга, на губах подобие улыбки. Где-то шушукнули. Профессор внезапно вспоминает второе, идиоматическое значение глагола «сидеть» и быстро-сконфуженно переходит к следующей проблеме.

*

Но не прошло и шести месяцев, как наша школьная компания, рассеявшаяся было по ленинградским ВУЗам, была снова вместе и даже вступила в пору расцвета.

Нас было пятеро: двое русских, два еврея и одна полька.

Рэм был сын врача по сердечным болезням, умершего от сердечного припадка. Он боготворил отца и тяжело переживал его смерть. Полоумной матери он стеснялся — она приносила ему в школу в середине дня или свитер (решив, что сегодня холодно) или яблочко. Рэм был нервен, грубоват и застенчив. Был склонен к аскетизму, закалял себя (поэтому у него вечно был насморк). Он единственный из нас писал стихи еще в шко-

ле. У него был дикий дар. Не зная техники стиха совершенно и даже мало читая чужие стихи, он покрывал сотни страниц бессвязными, большей частью плохими строчками. Не кончал ни одного стихотворения. Мать считала его гением и крала у него черновики стихов (для вечности). Из-за этого они очень ругались. Рэмова бабушка иногда манила меня пальцем к себе в комнатку и, усадив на дырявое кресло, таинственно спрашивала: «Вы знаете, Марков, что Гитлер еврей?» и разрешала мое недоумение афоризмом: «Только еврей может так ненавидеть евреев». Рэм учился на историческом; дома, «для себя», зубрил санскрит. Погиб на войне.

Данька был сын инструктора по физкультуре. Сам он тоже любил спорт. У него было много дядей: актер, композитор, писатель и математик. Его старший брат был правоверным коммунистом и чуть ли не редактором крупной комсомольской газеты. У них в доме было шумно и весело. Много говорили о литературе, пели под пианино всё, что придется, дурачились. Семья вся была «ортодоксальная». Когда у меня арестовали отца, Данька, по настоянию брата, порвал со мной. Сделал он это по телефону. Когда дошел до изложения причин разрыва, сбился, не мог закончить мысли, сделал длинную паузу, потом повесил трубку. Мы друг друга особенно любили, и было гадко. Через год-два, без объяснений, мы опять сошлись. Семья уже не возражала: ежовщина прошла, меня не арестовали, всё было в порядке. О прошлом разрыве и о моем семейном положении не говорили. Только один раз, после представления ибсеновских «Привидений», Данька уронил: «Актуальная пьеса. Дети расплачиваются за грехи отцов». Я тогда почему-то нашел это остроумным.

Данька учился в архитектурном институте. Когда началась война, был где-то на Урале на практике. Может быть, выжил, строит (без удовольствия) дома в провинции и по-чеховски страдает. Наверное, влюблен (если не женат). В любви ему не везло, хотя он и был среди нас единственным красавчиком.

Нинка, муза нашей компании, была дочерью маленького инженера. Отец ее, поляк-патриот, заставлял ее дома говорить по-польски, она же ко всему польскому относилась с величайшей иронией. Нинка была девушка самостоятельная и не любила женского общества. Тетя Дуня не одобряла, что она до двенадцати ночи занималась за моим письменным столом, и ворчала что-то о современной молодежи. Нос у Нинки был

смешно загнут вверх, а глаза стояли далеко друг от друга. В ней было много юмора и энергии. Рэм, безнадежно влюбленный в нее, вначале мрачно страдал, потом любовь его кончилась внезапно и неожиданно. Нинка настолько привыкла к рыцарской покорности Рэма, что от возмущения влюбилась в него и пошла за ним на исторический. Но к концу курса появился новый объект — широкоплечий студент-техник. Нинке пришлось переключиться в Индустриальный (в Лесном). Технику она терпеть не могла и больше года в Индустриальном не выдержала. К тому же в «объекте» она разочаровалась, и ей очень нравился новый член нашей компании — с английского отделения моего факультета. Скоро Нинка стала читать до двенадцати за моим письменным столом Jane Eyre (до этого читались Ключевский, потом «Сопrotивление материалов»). В компании утвердилось подавляющее большинство филологов. Неизвестно, куда бы еще перешла Нинка, но война застала ее на филологическом (хотя в студенте-англисте она тоже разочаровалась). Она умерла от голода в осаду Ленинграда.

Пятого и последнего звали Левин. Его одного называли по фамилии. Он тоже всех называл по фамилии. Я с ним познакомился на филологическом, и он как-то приклеился к нам — единственный, с кем нас не связывала школа. Маленький, белесый, рыжий еврейский юноша в рыжем потертом кожаном пальто, он страдал от своей некрасивости, был развязан в обществе, но внутренне сдержан. Среди нас, остальных четверых, он любил играть роль более практичного рационалиста, что ему редко удавалось. В душе он был мечтателем. От отца, покончившего самоубийством, у Левина осталась замечательная библиотека, предмет нашего восхищения. Левин погиб на войне, наткнувшись на мину, когда хотел вывести раненого с минного поля.

*

Эти пятеро составляли ядро. На периферии было еще около дюжины других действующих лиц, часто на долгое время к нам примыкавших, вступающих в отношения с кем-либо из нас; но у этих лун всегда оставалась неизвестная нам сторона. Некоторых из них нельзя не вспомнить.

Вот Толька, кончавший школу вместе с нами. Он потом уехал в Москву и поступил в студию Московского Художественного театра. Большого роста, шумный, нахальный, он наезжал в Ленинград, ругал «наш» климат и прямые улицы, пробовал всколыхнуть нас, провинциалов, и опять уезжал.

Вот Фридка, тоже из нашего класса, дочь модистки, маленькая, тонкая, змеевидная, прирожденная закулисная интриганка. У нее было неплохое колоратурное сопрано, и мы пели с ней дуэты. Нинка ее терпеть не могла, она ненавидела Нинку. Вышла замуж за «ответственного работника», побывала не то в Эстонии, не то в Латвии, откуда они с мужем вывезли много чулок и губной помады. Попались, но вылезли. Я в чулках и помаде не нуждался, и наши отношения с Фридкой оставались дружескими. По приезде она однажды на улице сказала мне на ухо о «загранице»: «Там не жизнь, а мечта, а здесь одно.....».

Вот Наташа, представительница «высшего света», дочь известного литературоведа. Капризная, красивая девушка с лицом европейской кино-звезды. У них в доме хранились литературные традиции, уходящие в глубокую древность. Имелся дагеротип самого Жирмунского в гимназическом состоянии, — Жирмунского, который для меня был олимпийцем с тонзурой.

Вот Чегодаев (Левин всегда рифмовал его с «негодяев», и тот злился). Изучал английскую литературу, но жил Глюком и Бетховеном. Был анахоретом. У него в келье стоял бюст Бетховена собственной работы, а по стенам висели портреты (собственной кисти) оперных певиц, в которых он был влюблен. Пианино у него, к сожалению, не было — и он разбирал бетховенские квартеты на мандолине.

Вот Ляля, дочь шахматиста, толстая, подслеповатая. Она одновременно занималась в университете и в музыкальном техникуме, и вечно где-нибудь не успевала. Она нам играла свои переложения «Интернационала» под Моцарта, Дебюсси, Рахманинова и др.

Их было еще много, но жаль тратить их на очерк. Лучше вставить в повесть, в роман.

*

Почти всё происходило в моей комнате. В эту бывшую спальню моих родителей теперь была составлена вся мебель, уцелевшая от конфискации (многого спасли, рассовав по комнатам соседей). На 20-ти квадратных метрах помещались: кровать во всю ширину комнаты от стенки до стенки, большой диван с высокой спинкой, огромный отцов письменный стол, два кресла, буфет с библиотекой и шкаф с бельем и одеждой (последний занимал нишу в стене и не отнимал от жилплощади). Был еще столик у единственного окна (с форточкой), на котором

стоял дореволюционный патефон. Для прохода между мебелью едва оставалось место. Мне до сих пор непонятно, каким образом на литературных вечерах и вечеринках в комнате помещалось до двадцати человек. Правда, диван давал место десяти.

Комната была настоящим центром и воспринималась почти как символ. На рождение, перед самой войной, мне подарили точный макет комнаты, где все мельчайшие детали обстановки (вплоть до портрета Улановой над столом) были повторены в соответствующем масштабе. В этой комнате читали стихи и прозу, спорили, пели, пили; начинали и кончали романы, даже давали пьесы. Над диваном висел большой портрет Ленина, выполнявший двоякую функцию: а) закрывать дверцу к вьюшкам, б) чтоб не вешать Сталина. Нинка посоветовала: лучше уж он, чем этот.

Любили играть в разные игры. Одно время в моде была «сюрреалистическая» игра собственного изобретения, где один произносил слово (как правило, 'существительное'), другой же обязан был ответить по принципу ни сходства, ни контраста, а Бог знает как — но чтоб «получилось» что-то «невыразимое». Повидимому, основанием игры был некий неосознанный принцип звукового «ответствия» — но сформулировать его в словах ни тогда, ни теперь я не мог бы. Мы с Левиным схватывались в эту игру часто и выдыхались на десятой минуте. Я не знаю игры более изматывающей. Любили играть в литературный вариант «испорченного телефона». На ухо говорилось строка, и человек, которому сказали, посилено без слов изображал сказанное — следующий пытался угадать цитату по пантомиме и говорил свою догадку на ухо следующему. Получались забавные недоразумения. Наташе дали «Роняет лес багряный свой убор»; она несколько секунд недоуменно стояла в центре круга, не зная, как выразить это жестом — и вдруг (эврика!), расстегнув красный пояс на своем платье, бросила его на пол. Конечно, следующий передал:

**Если пояс сокровенный
Развязался и упал.**

На первом курсе довольно много пили, потом стали меньше. Данька знал пропорцию чая, которую надо прибавлять к водке так, чтобы она, не теряя цвета, теряла сивушный при-

вкус. Но гвоздем вечера бывали ликеры, которые Левину выделял его дядюшка-аптекарь. Когда умер Шаляпин (три строчки в «Правде» на последней странице), были поминки: водку закусывали, беря пальцами, одной кислой капустой, которая лежала прямо на столе, без тарелки.

Пели тоже много, иногда часа по два, начиная с моцартовских дуэтов и кончая «Ермаком» или Вертинским. В хоровых песнях фальшиво подтягивал даже Рэм, музыки не любивший и слуха не имевший. Длинные русские песни, вроде «Шумел камыш», пелись, из спортивных соображений, до самого конца, со всеми бесчисленными куплетами и повторениями припева.

Было традицией дарить на рождение что-нибудь свое, «непокупное». Левин получил от меня венок пародий-стихов ему на рождение от разных поэтов, от Катулла до Лебедева-Кумача. Он мне отплатил рукописным изданием моих сочинений по академическому образцу: суперобложка, предисловие с социологическим подходом и скандальными деталями личной жизни, с портретами, черновиками и комментариями. Рэму устроили на рождение заседание археологов двухтысячного года, по оставшимся немногим предметам и обрывкам стихов, восстанавливавших рэмову жизнь. Между прочим, эти археологи расшифровывали слово Госстрах на документе как НКВД.

*

В стенах моей комнаты цвело комнатное творчество. Все писали, кроме Нинки, верным чутьем угадавшей, что роль женщины — вдохновляющая. Пробовали себя в чем угодно, но в общем царили своеобразные гонгоризм, августианство. Культ *tour de force*, условные, насквозь пролитературенные жанры, стихи к рождению, застольное, мадригалы. Что-нибудь вроде

Терзаюсь от тебя вдали я,
О поразительная Лия,
И плачу, реки слез лия
Твоей любви дождусь ли я?

На стихи и рассказы друзей строчились пародии, а на пародии еще пародии. В самих произведениях изощренность начитанных юнцов шла рука об руку с наивным эротизмом и мальчишеской мечтательностью.

Данька писал рассказы о каких-то идеальных девушках, которых в конце герой-фантаст всегда терял. Я писал в прозе ирреальные повести размера школьной тетради, действие которых происходило в несуществующей стране. Героями были картонные варианты классических персонажей, — Вертер, Фальстаф и другие вели дружбу, беседовали и куда-то пропадали. Их разговоры были полны намеков и острот, понятных только в нашем кругу. Левин культивировал жанр отрывка: только одно начало à la пушкинское «Цезарь путешествовал...», но чтоб отделать, как жемчужину (жемчужины не выходило). Или сочинял одно оглавление к роману, но чтоб всё было понятно: предел краткости. Он также переводил Катуллу, надеясь издать (ведь перевод А. Пиотровского был повсюду изъят из-за ареста переводчика).

Аудиторию не старались расширять. Однажды я сглупа дал почитать мою поэму знакомому с исторического и забыл попросить не передавать дальше. Поэма попала в комсомольскую ячейку их факультета, и, как мне говорили, секретарь потрясал тетрадкой на собрании и кричал: «Что это за советский молодой человек, которого интересует только любовь, вино и симфоническая музыка!» К счастью, последствий не было.

Рискованных тем старались не брать. Все помнили студента, который осмелился прочесть на факультетском литкружке сонет, обращенный к царевичу Алексею. Его чуть не выгнали из университета. Петр в это время уже прочно ассоциировался с «великим учителем», и, логически, Алексей становился чем-то вроде Рыкова.

Правда, в один из своих бурных приездов из Москвы, Толька привез пьесу, которая явно претендовала на нечто большее, чем стены комнаты. Написанная по рецепту афиногеновского «Страха», она содержала профессора, которого арестовывают и который там, в тюрьме, что-то начинает понимать. Что — было неизвестно. В конце пьесы было настроение, напоминающее концовку «1984» Орвелла. Самым смелым был образ инженера-сексота. Толька бравировал храбростью постановки вопроса, презирал нашу комнатность и посылал пьесу на какой-то конкурс, где ее не приняли. «Последствий» тоже не было.

Мы не только писали. В той же комнате устраивались выставки акварелей, пастелей и гравюр коллег Даньки по архитектурному. Вещи были полны преступного формализма.

*

«Для себя» читали больше стихи. Прозы у «филолухов» было достаточно в списке обязательной литературы по курсу — от «Эфиопики» до «Прощай, оружие». Это было хорошим предлогом, чтоб не читать советскую литературу, которую откровенно презирали и бойкотировали (даже хорошее). Я до сих пор не читал «Тихого Дона». Только Даньку брат заставлял прочитывать официально признанное; но над ним трунили, если он являлся с восторгами по поводу какой-нибудь «Педагогической поэмы». Левин подводил его к моему буфету с книгами и, ткнув носом в корешок Песталоцци, говорил: «Юноша, вы сперва прочтите вот это». К модному почти всегда относились враждебно. Когда «Анна Каренина» возымела успех в МХАТе, и томик романа появился во всех уважающих себя домашних библиотечках, Рэм демонстративно отнес свою «Анну» на полку в уборную.

В поэзии каждый шел своим путем. Левин с благоговением показывал свои томики Гумилева, к которому мы были равнодушны. Я «открывал» отдельно от других Тютчева с Боратынским, «преодолев» Гейне, которого все мы прекрасно знали в подлиннике (культ немецкой поэзии был еще со школьной скамьи). Рэм всему предпочитал английские баллады. Данька не расставался с книжкой ранних стихов Маяковского, и это пристрастие все мы разделяли. Когда Маяковский был официально объявлен «талантливейшим», мы восприняли это, как кражу у нас. Мимо Есенина проходили без увлечения. Пастернака уважали. Мандельштама знали только по имени. Однажды, из другой компании, попалась к нам «Вторая книга стихов» Заболоцкого с поразившей нас надписью: «Дарю тебе книгу величайшего поэта наших дней». У них, значит, был культ Заболоцкого. Блока все мы любили. Анненского не знали даже по имени. Перед самой войной «открыли» Рильке: случайно попала в руки книжка в переводе А. Биска. Правда, недавняя школьная зубрежка, а теперь «изучательный» подход мешали еще найти свою живую дорогу к «классикам». Но помню, как однажды Левин пришел ко мне взволнованный, пошел прямо к полке, взял Лермонтова, раскрыл на «Думе» и прочитал мне ее вслух от начала до конца. «Ведь это про нас, — сказал он, кончив, — особенно:

Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью презренные рабы»

*

Иногда ходили в Дом Писателя. Знаменитостей там было мало. Неизвестные поэты играли на бильярде или пили водку в буфете. Ахматову видели раза три: на улице, у Акимова в театре, да на вечере памяти Маяковского она читала стихи странной для нас, распевной манерой. У того же Акимова в театре слушали, как Зощенко читал свою пьесу.

Впрочем, в Доме Писателя были интересные диспуты. Запомнилось, как критику, осмелившемуся сказать, что Маяковский ценил Лебедева-Кумача, несколько минут не давали говорить, топоча ногами и улюлюкая; кто-то крикнул: «А вы забыли, как Кумач травил Маяковского при жизни?» Другой раз, на дискуссии о советской поэзии (куда пошли, потому что выступал любимый профессор), среди поэтов и критиков взяла слово троглодитка из самых высоких верхов ленинградского комсомола. Прочитовав из только что вышедшей книжки Ахматовой «Я люблю лебеду и крапиву», она воскликнула: «Разве советский поэт может любить сорные злаки (sic)?» Она явно считала Ахматову дебютанткой в поэзии.

Более часто мы посещали заседания переводческой секции в Готическом зале. Туда публика приходила избранная, и пахло предреволюционным Ренессансом. Читали свои переводы В. Гиппиус, А. Радлова, Фроман и другие. Спорили. Поднимался какой-нибудь «мистико-анархического» вида неизвестный нам блондин и нараспев, как стихи, начинал: «Во всем виноват Александр Блок. Как некий херувим, он несколько занос нам и т. д.» Или же молодой переводчик останавливался в смущении перед рискованным местом в своем переводе «Симплициссимуса» и говорил: «Ну, это я пропущу. Понимаете, всё-таки семнадцатый век». На что дама «бывшего» вида с тиком у правого глаза из шестого ряда басом заявляла: «Читайте, читайте, здесь же не институтки». Нам было странно, интересно и как-то тепло.

*

Мы с гордостью сознавали себя жителями самого необыкновенного города в мире и в глубине души делили Россию на Петербург и на всё остальное. Остальное было «не то», провинция, нечто в расчет не принимаемое. Петру всё можно простить за этот город, хотя и не он выдумал «блеск безлунный», слегка хмелящий, когда мы гурьбой бродили до поздней

ночи. Особенно любили Невский после того, как трамваи ушли в парк, большую набережную, Литейный, полный лавок букинистов, безлюдные каналы. К Достоевскому на Сенную не заглядывали: рынок там снесен, площадь залита асфальтом. До сих пор мелкие факты юношеской жизни наполняются особым значением именно потому, что они произошли или у Лебяжьей Канавки, или у Ростральных колонн, или у Храма на Крови. Просится на язык невежливое обращение к «непосвященным» читателям: «Ах, что вы понимаете, вы там не бродили».

*

Может быть, даже не литература, а книга объединяла нас больше всего. У каждого в крови была библиофилия. Левин к своему книгохранилищу не подпускал в шапке и в пальто. Там на полках были Гумилев, автографы Блока и утонченно-непристойная «Le livre de la marquise» с рисунками Сомова. Там стоял том Некрасова с пометками Блока, где рядом со строчками

В нем каждый год убийцей был
Какой-нибудь мечты

на полях было написано рукой поэта: «Лермонтов», а перед «Блажен незлобивый поэт» — «Злоба самый чистый источник вдохновения». «Поэт и гражданин» был испещрен подчеркиваниями и пометками и жирной чертой была подведена в уличных сценах строка «Мерещится мне всюду драма».

Я спасал книги отца от конфискации в ванной, в бельевой корзине. Многие издания «Academia» пришлось продать (на стипендию жить было туго), но половина денег, вырученных за книги, шла на книги же. Много часов было проведено на Литейном, где до сих пор ютятся почти все букинисты. Выработывалось шестое чувство. Подходя, знал, что вот именно на той полке найдешь себе книгу.

Покупали и ноты. В них попадались забавные страницы со следами «перестраховки». Вот «Забудь так скоро», где зачеркнуто «Боже мой» и сверху надписано «милый мой». Или рахманиновское «Здесь хорошо», где вместо «здесь только Бог» — «здесь только ты». Самым любопытным был экземпляр «Черной шали», бывший владелец которого решил себя застраховать от всякого обвинения в национальном уклоне. «Презренный еврей» превратился в «презренного старика» (не смотря на рифму), а строка с «армянином» в новой редакции

звучала с изысканным ассонаксом в конце: «Неверную деву застал я с другим». Для полноты картины певец уничтожил и вполне безопасную «гречанку», заменив ее «красавицей» (не смущаясь лишним слогом).

*

По-настоящему мы и не пытались применить творчество в тех начатках исследовательской работы, какую приходилось делать. Поступали по правилам — и только. Я раз попытался в работе о Клопштоке выделить весь марксизм в самое начало, а потом заняться делом — но вышла почти пародия, и я получил строгий выговор от испугавшегося профессора.

Два наших приятеля, к «ядру» компании не принадлежавшие, но вхожие к нам в любое время, попробовали сделать вещь более решительную. Уже в конце третьего курса оба пережили методологический кризис и захотели «восстать». Они считали себя правоверными марксистами, но были уверены, что марксизм следует перерабатывать и развивать. Осторожные профессора (в душе немарксисты) пичкали их фактами, сверху намазывая всем известной историко-материалистической пастой. Два друга сначала хотели уходить из университета, не видя смысла в изучении, но потом решили пойти трудным путем. Целый год, запустив остальные занятия, они грызли новую европейскую философию от Спинозы и Декарта до Гегеля, читая и обсуждая вдвоем. Когда на лекции влиятельный карьерист Плоткин сослался на Гегеля, один из друзей с места заметил: «Гегель такого не говорил» и, прервав лекцию, не вставая, презрительно доложил Плоткину, что именно говорил Гегель (Плоткин ему это потом припомнил). Два друга пришли к своей философии, которая «ничуть не противоречила марксизму». Существует субстрат исторического мышления, для каждой эпохи особый — на этой почве произрастают, как отдельные растения, литература, музыка, экономика («Заметьте, литература растет не из экономики, она рядом, — но стоит на том же общественном мышлении»), политика (о, ересь!), философия. В философии это мышление выступает в наиболее чистом виде, с нее надо начинать. И так далее. Это называлось «синтетической теорией». На экзамене по диамату оба с треском провалились, хотя знали свои «источники» лучше, чем экзаминаторы. Их обвинили в том, что они находятся «в плену у буржуазной философии». Друзья долго хлопотали во всем инстанциям, пока им не разрешили сдавать вторично. Но больше тройки им всё же не поставили.

Мы философов «ни при какой погоде» не читали, и по диа-мату имели одни пятерки.

*

Кроме отшельника Рэма, все мы ходили по театрам. «Не поэт, кто не был театралом». В этих словах Некрасова много правды.

Даже в моей комнате был однажды поставлен «Белый ужин» Ростана, где мы с Данькой играли двух Пьеро, а Фридка Коломбину. Не знаю, хорошо ли играли, но героиня очень искусно в конце пустила дымовое табачное кольцо — в точности по ремарке автора.

«Нашим» театром был театр Акимова, что рядом с Елисе-евским магазином на Невском. В академические театры мы за-глядывали редко, считали скукой. Говорили, что художе-ственный с его «бескрылым натурализмом» изжил себя.

У Акимова было весело и интересно, там шли современ-ные западные пьесы или европейская классика. Особенно восхищались постановками комедий Лопе де Вега и Шекспира в искристых переводах Лозинского. Акимовское оформление было всегда талантливо, с юмором и всё еще с хорошей долей уже запретного старого доброго формализма. Акимов пускал нас к себе на репетиции и театральные дискуссии.

Но особенно увлекались мы художественным чтением. Созданный Закушняком, этот вид театра расцвел в то время чрезвычайно. Строя подачу на особой, отличной от драмати-ческой игры, технике, чтец исполняет в течение вечера боль-шие отрывки или целые произведения, один держа в напря-жении зрителя. Для нас художественное чтение означало: Яхонтов. Никто так не читал стихов (да и прозы). Упругая ритмическая основа, взлеты и спады строчных окончаний, юно-шеский тембр голоса, скупой жест и немалая доля личного гип-нотизма — это до сих пор в памяти со всеми подробностями. Многие строки Пушкина, Лермонтова и Маяковского не мы-слятся без его интонации. Он любил вводить немногие «аксес-суары»: бокал Моцарта, шуба Репетилова, зонтик Акакия Ака-киевича. Его «Петербург» («Белые ночи», «Медный всадник» и «Шинель») содержал даже какие-то диковинные ножницы. Яхонтов был изысканным формалистом. Он в совершенстве пользовался методом монтажа и постороннего вкрапления, не-ожиданно вставляя платок из «Отелло» в Достоевского, на-родную песню в «Онегина» или смело ставя рядом пушкинские

«девичьи лица ярче роз» и гоголевский «цвет лица, что называется геморроидальным». Особенно у него выходили женские образы — Натальи Павловны в «Нулине», Татьяны, Джульетты, а лучше всего — Настасья Филипповна, нервно обрывающая лепестки с хризантем после рассказа Тоцкого.

*

Пропадали мы и в балете. Кому знакомо это стеснение в груди при начале любого адажио из *pas de deux*? Конечно, с галерки балет казался волшебнее. Один раз я попробовал посмотреть «Лебединое» (кажется, чтобы отметить двадцать пятое посещение этого балета) из первого ряда партера — и был разочарован: рисунок танца был наполовину скрыт, каждый лебедь вдруг приобрел отвратительную индивидуальность, грим делал лица кордебалета порочными. Одна Уланова не потеряла и вблизи.

Галина Сергеевна занимала в нашей жизни особое место. Спорить тут было не о чем. Это было за пределами балетного жанра и касалось каких-то самых важных начал искусства вообще. Слова начинают нестерпимо фальшивить, когда говоришь о ней. Описать ее танец вряд ли можно. Достаточно сказать, что Шекспир дошел до меня не когда я прочитал перевод Щепкиной-Куперник, а когда я посмотрел прокофьевский балет. Там, в первом акте, на балу, она стояла в арабеске и смотрела в глаза Ромео несколько секунд, не двигаясь, и всё же вы могли указать пальцем те полсекунды, тот миг, когда в Джульетте зарождается любовь. Лебедь, Жизель, Джульетта, Аврора, Маша, Мария — дело не в танце (танцевали и лучше ее), а в чем-то, чему нет имени: в беззащитности, в робком, одной головой (прижавшись спиной к занавесу) раскланивании у рампы. Во всяком случае, к ней мы относились особо. Обычные проявления поклонничества: букеты, аплодисменты, попытки познакомиться — казались тут вдвойне пошлыми. На нее можно было только смотреть и потом хранить то, что видел.

Моя маленькая сестренка презирала «культурную» тенденцию комнаты, играла в лапту с мальчишками во дворе и упорно произносила: «Я помню чудное мгновение». Я принимал все меры, чтоб она не выросла бревном: рассказывал страшные сказки (чтоб плакала), водил в Эрмитаж, давал читать любовные романы. Не помогало. Тогда я повел ее в балет, и старый друг балет не подвел: она влюбилась в Сер-

геева на «Ромео и Джульетте». Через неделю сестру нельзя было оторвать от «Виктории» Гамсуна.

*

В Филармонии наше место было на хорах с левой стороны, в четвертом или пятом промежутке между колоннами. На хорах была особая публика. Если внизу, в партере, восседала советская «интеллигенция» с деньгами, — актеры, музыканты, писатели, — то наверху стояло студенчество вперемежку с людьми из дореволюционных романов: какие-то бородатые умноглазые люди толстовского типа, какие-то дамы в трауре, какие-то старички, старушки, одетые с чистой бедностью. Глаз сверху скользил по партеру, отмечал знаменитостей: вот Шостакович с женой, вот певец Ершов, вот трагик Юрьев. За пультом наш любимец Мравинский, похожий на Дон-Кихота в молодости. Прямо на нас смотрели медные духовые, и эта часть оркестра на нас особенно действовала. Нельзя было оставаться равнодушным, когда тромбон вел в Третьей Малера свое соло, которое мы называли «влюбленным бронтозавром» или когда труба чертила свой странный график по ткани скрябинской «Поэмы экстаза», но больше всего когда там же в финале все восемь валторн поднимали свои раструбы вверх. Волна звука опрокидывала физическим напором. После «Поэмы» на хорах было, как после битвы. Все пришиблены, кто-то безумно шагает взад-вперед с взлохмаченными волосами, кто-то сидит с неподвижным взглядом, девушка плачет. Забывали бежать за калошами в гардероб.

Недавно, прослушав «Поэму» уже здесь, не ощутил никакого «экстаза». Показалась аморфной и даже неинтересной.

* * *

С галерки Маринского театра смотрелась также и опера, хотя Ленинград ею гордиться не мог. Необыкновенной была только Преображенская, лучшая Марфа в «Хованщине», мать многочисленного семейства, прибавлявшегося каждый год, и владелица молочной фермы где-то под Лугой, — женщина типа матери-земли Юнга. В Михайловском пели еще хуже, но зато там Мейерхольд ставил «Пиковую даму» (запомнилась до последней детали), там шла «Леди Макбет Мценского уезда», пока ее не запретили.

Музыка была и у меня в комнате. Мы знали многие оперы

наизусть (не считая сотен романсов), и когда не шли в театр, могли спеть их от начала до конца сами. У нас был даже оркестр. В старых игрушках у сестры оказалась дудка с восемью тонами гамм, где только си звучало на полтона ниже (фабричный брак). Чегодаев написал концерт в фа-мажоре для этой дудки с оркестром. Оркестр состоял из пианино, чегодаевской мандолины, старой гитары и хора, вокализовавшего с закрытым ртом.

У нас были и свои песни. Одна из них стала нашим «национальным гимном», хотя забрела она к нам из другой компании. Это была песня о небывалой стране Мичуан Люри:

Мичуан Люри, Мичуан Люри,
Солнечно синий,
Мичуан Люри, Мичуан Люри,
Край мой счастливый.

Над странкою той в темноте ночной
Звездные дали,
На краю земли, в Мичуан Люри
Слез не видали.

И проходят, знай, тот счастливый край
Бури и грозы,
Чтоб весь год цвели в Мичуан Люри
Синие розы.

Есть там корабли, что без страха шли
Бурею пенной,
Чтоб найти вдали, в Мичуан Люри
Край незабвенный.

Люди годы шли в духоте, в пыли,
В смерч и в ненастье,
Чтоб найти вдали, в Мичуан Люри
Родину счастья.

Над странкою той летом и зимой
Легкое небо.
И тебе и мне хватит в той стране
Счастья и хлеба.

Ты не плачь, малыш! Над железом крыш —
Дождик, туманы.
Вот весна придет, мы пойдем в поход
К солнечным странам.

И ты скажешь: Я уйду, друзья,
 Будьте здоровы,
 На краю земли, в Мичуан Люри,
 Встретимся снова...

*

В Эрмитаж мы с Левиным ходили раз в месяц обязательно. Равнодушные к античным обломкам и темным египетским мумиям, мы пробирались на поклон к леонардовой «Мадонне Литта» и долго молча стояли перед ней. Потом Левин забегал к своему любимому Рубенсу, где девочки-школьницы «культурно» слушали лекции гида о золотой гамме красок на теле Вакха, осторожно косясь на писающего мальчика на первом плане. Меня жировые складки рубенсовских сирен не привлекали, и я ждал Левина рядом, в Вандейковском зале, в который раз любясь руками на его портретах. Потом мы опять вдвоем проходили через испанские залы, задерживаясь перед «Распятием» Зурбарана. Итальянцев бойкотировали, после того как Политбюро продало американскому миллионеру нашу любимицу — тицианову «Венеру перед зеркалом». Под конец начиналось самое главное: мы входили к французам. Оба застывали у Пуссена, я отставал на Ватто, а Левин у Фрагонара. Наконец, мы поднимались на следующий этаж — в XIX и XX век. Уже на Делакруа краски начинали будоражить. Когда входили к импрессионистам, можно было дышать полной грудью. В двух последних залах висели Матисс и Пикассо-кубист. Сердце уже так билось, что приходилось утишать его, спускаясь обратно к Грезу.

*

Специалист по социальной психологии, которому уже давно надоел¹ мой каталог времяпрепровождений пятерки студентов из Ленинграда конца тридцатых годов девятнадцатого века, спросит: как вы относились к окружающему? было ли у вашей группировки политико-социальное (или социально-политическое) лицо? имелось ли у вас самосознание, хоть в зачатке? В зачатке оно имелось. Мы сознавали, что имеются «другие» — и этих «других» не чуждались, даже приглашали на наши вечера. Те — странно — чувствовали себя польщенными. К нам были даже дружелюбны. Когда пришлось на от-

¹ В оправдание: пусть вспомнит, сколько томов понадобилось Прусту для того же самого.

крытом собрании поступать в профсоюз, кто-то бросил мне из публики: «А как вы относитесь к тому, что у вас арестован отец?» Меня прошиб пот, и я несколько секунд молчал. Сбылся кошмар публичного отречения от родителей. Но в это время один из «дружелюбных других» проронил: «А как бы вы относились?» Я был спасен. Церемония пошла гладко, хотя вопрос, спасший меня, был двусмыслен, по меньшей мере, и ничего не разрешал.

Мы были чем-то вроде «попутчиков». Были согласны в принципе, морщились на многочисленные «детали», где-то внутри чувствовали, что *the time is out of joint*, но опасались признаваться себе в этом. Во всяком случае антисоветски мыслящих в компанию не допустили бы. Их избегали, если приходилось встречаться. Боялись.

В революции сомнений не было, хотя к «конкретной действительности» отношение было иногда резко критическим. «Доксы» (сокращение от «ортодокс»), начиная с «Вождя и Учителя» и кончая отсеком или просто правоверным юношей, были объектом постоянной иронии, а то и прямого издевательства (между собой, конечно). Нинка делила «доксов» на кончающих речи на собрании словами «Да здравствует товарищ Сталин, который ведет нас от победы к победе» и на тех, которые кончают «...от победы к победы». Подразумевалось, что «докс», кончавший эту фразу по всем правилам грамматики, тем самым уже переставал быть «доксом».

Но в подполье мы не шли. Да и не знали о таком.

Трудно сейчас многое вспомнить: очень изменился. Как тогда думал, как чувствовал? Ясно сформулировать, значит, солгать. У юности нет твердых взглядов. Сейчас, в эмиграции, многие фантазируют о своей твердой антибольшевистской платформе там. У нас такой «платформы» не было, даже считали, что принимаем официальную линию. Но, как шелуха, это всё отвалилось на следующий день после того, как оказался здесь (без всяких кризисов). Это очень важный факт. В нем лежит большая надежда.

Но тогда, повторяю, не бунтовали. Не бунтовали бы, думаю, если бы даже была причина. Не хватало — во имя чего. В самом деле, во имя чего? Государя императора, великой Родины, всемирного правительства? Ни одно из этих понятий не имело значения. Они пришли потом. Не веровал тогда и в Бога (вернее, думал, что не верую).

*

Один раз мы ясно осознали себя единством. И струсили. Одна дама, доцент истории, заинтересовалась нашей компанией и решила «свести» ее с другой литературной группой, более официальной, так как она собиралась в Доме Культуры и ее вел один известный литературовед. Мы явились в полном составе. Нас встретили враждебно. Прыщавые юноши, хамоватые под Есенина. Они читали стихи. Что-то вроде тра-та-та́ тра-та-та́ тра-та-та́ — с крестьянской тематикой. О деревеньке, «где я вырос парнишкой глухим». Левин не выдержал и заметил, что слово «глухой» не совсем подходит. Автор обозвал его дураком. Потом выступали мы: Рэм читал стихи («...В эту бы ночь любить и надеяться, Сердце бросать в кипящую серу. Я бы хотел быть последним индейцем, Чтобы любить в предпоследнем Перу»). Данька прочел рассказ, я — переводы из Горация, Левин — поэму. Оказалось, что у них в группе борьба партий, и «оппозиция» нас признала. Приглашали на литературный вечер на дому, но Левин отсоветовал. Еще пришлют какую-нибудь программу, даже, не дай Бог, политическую. Решено было на тот вечер не ходить, дабы не оказаться в роли «знамени». Но после этой встречи мы на время осознали себя маленьким государством с точными границами, со своим лицом. Даже думали назваться.

Однажды Данька, в новой шляпе, подаренной ему на рождение, шел по улице и громко упражнялся в произношении слова *fromage*. Когда он поравнялся с прислонившимся к стене пьяным рабочим, тот со всей силой пролетарского презрения сказал Даньке: «Эх, ты, промаш в шляпе...» (не привожу слов полностью). Мы хотели назваться Промаш. Выходило вроде Сельмаш. Звучало даже ортодоксально.

*

Трудно писать о личных отношениях. Это уже материал для романа, даже для нескольких. Кто их будет читать? Конечно, влюблялись. Но для описания этой стороны надо было еще в середине решить проблему *Dichtung und Wahrheit* и перейти на третье лицо или перемешать героев. Ведь глупо писать «я подумал» и пошло писать «я поцеловал». Безвкусно, как всякое приближение жизни к искусству.

*

Когда пишешь в прозе, трудно не делать выводов, обобщений. Кажется, только Пушкин умел избежать этой западни. Сам Лев Толстой не удержался от «максимы» в начале «Анны».

Мыслитель, бросив взгляд на этот автопортрет, наверняка скажет со строгостью судьи и гражданина: как неглубоко жила эта молодежь. И он будет прав. Для чего мы были? Не знаю. Чего мы хотели? Главным образом: остаться при университете в аспирантуре. Что мы знали? Приблизительно, что я описал. Чего мы не знали? Многого. Например (называю наугад), Библии, Хиндемита, Бердяева, Фолкнера, Эмили Дикинсон, Леонтьева, Утрилло, Цветаевой... Что нас объединяло? Незнание дороги, презрение к «доксам», любовь к искусству, к Петербургу, а главное, может быть, беспечность, двадцатилетнее легкомыслие. Типичны ли мы? Не знаю. В других группах и компаниях были, наверное, иные вкусы, иные нравы. Мы их не знали, они не знали нас.

Война ничего не поправила. Кое-кто испытал подъем патриотизма. Мне потом рассказывали, что один знакомый (совсем неглупый малый) высунулся из окопа только, чтобы крикнуть «За родину, за Ста.....» и пал, сраженный немецкой пулей, не закончив фразы. Трудно представить глупее смерть. Другие пережили настроение пира во время чумы. Ваня Харитонов, лучший математик нашего класса, сухарь еще в детстве, будущий чинуша, ходил на оргии, которым предавалось юношество Ленинграда, когда было еще что пить. Так это поколение и погибло: в окопах ополчения, невооруженное и необученное, под немецкими пулеметами или же от голода в зиму осады.

Немногие случайно уцелели, как я, — и теперь вспоминают. Но можно ли доверять этому воспоминанию? «Память активна, в ней есть творческий, преобразующий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания» (Бердяев). Больше: сначала искажает восприятие, потом память, потом воображение, и получится чорт знает что. Я беру обратно слова, которыми начал эти записки, и хочу предостеречь бывших участников циммервальдской конференции против использования написанного мной в качестве документа. Я очень многое просто наврал. Например, на встрече с «другими» поэтами это я читал поэму, а Левин переводы из Горация, а не наоборот. Фридка в Латвию не ездила и той фразы мне на ухо на улице

не говорила, а сказала это одна актриса и совсем не мне (хотя тоже на ухо и тоже на улице). Да и в физкультурном зале на выпускном вечере я сидел у окна вовсе не с Нинкой, а с Валей Хохловой, девушкой, которую я потом потерял из виду. А в именах я так напутал, что даже Министерство Государственной Безопасности не разберется.

Есть и другие искажения. Я уже давно в процессе написания этих очерков заметил, как тщательно пропускаешь всё неприятное. Очевидно, каждому хочется иметь золотое детство любой ценой. А может быть, оно для памяти всегда золотое, какое бы оно ни было. *Forsan et haec dim meminisse juvabit.* «Хорошо, это в памяти; а тогда? Вы не хотели тогда бежать от невыносимых и т. д.?» — От чего же бежать: от комнаты, от Улановой, от юности? Кто от такого бежит, да еще в двадцать лет? А что человек лучше помнит хорошее, чем плохое, это, кажется, даже научно-установленный факт. Неужели хотите, чтоб и вспомнить было нечего? Есть такие, кому нечего. Мне их жаль.

«Хочется ли вам на родину?» Родина-то ведь юность. Какой Мефисто вернет ее? А кусок земли, на котором написано «СССР», меня мало интересует. Там живут чужие люди. Даже те, кого знал, совсем другие. Вот я наткнулся в советском литературном журнале на стихи — о Сталине, об электростанциях. Подписано знакомым мне именем. Да ведь она же в университете кокаин нюхала! Когда я зубрил марксизм перед экзаменом, она надо мной издевалась. Ходила тощая такая, неуклюжая, с пронзительными глазами, окружающее презирала, а советскую действительность и подавно. И вот она признанный начинающий поэт, пишет об электростанциях. После Бодлера-то. Нет, на эту родину я не хочу. Там нет ничего, если там не осталось моей юности.

Но вряд ли запретят мне любить мою юность блюстители, которые уже давно недовольны, что я ничего не пишу о кацетах. Там были и такие компании, что я описал. Их трудно «интегрировать» в знакомую всем по газетам жизнь. Они — шампиньоны, зачем-то и почему-то выросшие под солнцем сталинской конституции.

*

Там сейчас утро. Мой двойник с портфелем висит на подножке переполненного трамвая. В восемь начинается лекция по политической экономии. Будут неприятности, если опозда-

ешь. «Всё по-старому, бывалому, да только без меня». А двойник этого двойника в Калифорнии ложится спать. Десять вечера. И начинается знакомый сон. Я — там. Иду по улице. Как бы скрыть, что был за границей. Вижу друзей. Сказать бы о том, что видел за эти годы — но не знаешь, как примут, и так уж смотрят подозрительно. Наконец, решился рассказать, но как раз в этот момент что-то происходит, что-то мешает — и я так и не рассказал. А потом начинается другой, менее знакомый сон, и его почти нельзя припомнить, когда проснешься.

В. Марков



Не жена и не любовница,
Не подруга и не мать, —
Мне бесплодную смоковницей
Над источником стоять.

И, как лист на лист похожие
Шелестят на солнце дни.
Лишь случайные прохожие
Отдохнут в моей тени...

И вставая, чуть оглянется
На приветную листву
Мне неведомая странница
Для которой я живу.

Лидия Алексеева

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ¹

(1877 — 1882)

1. ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА

Мы вернулись с Кавказа,² когда занятия в университете уже начались, и прежде всего повидали гимназических товарищей, которые уже перешагнули порог священных врат познания. Увы, их первые впечатления уже успели их несколько расхолодить. Шамонин с сокрушением говорил о казенной постановке классического преподавания, которое на первых порах нас особенно интересовало. Профессор Иванов читал Марциала и смаковал описание римских вин, уподобляя их современным. Этого рода гастрономия нам совсем не понравилась, и сам профессор, казалось нам, смахивал на какого-то приказного старых времен. Это было, конечно, несправедливо; но оно характеризовало смену наших настроений. Для меня это был холодный душ, который сразу отбил у меня интерес продолжать свою гимназическую линию увлечения классиками. Зато внимание мое обратилось к тому новому, с чем мы встретились на первом же курсе филологического факультета. Вместо «филологии» — старый термин Вольфа — здесь мы услышали о новой науке, «лингвистике» и «сравнительном языковедении». Ей предшествовала репутация «самой точной из наук после математики». В это, при тогдашнем увлечении «точными» науками, хотелось верить; этим как бы оправдывалось самое наше вступление на филологический, а не на естественный факультет. Преподавал тогда сравнительное языковедение

¹ С любезного разрешения Издательства имени Чехова, мы печатаем, с небольшими сокращениями, несколько глав из выходящих в близком будущем двухтомных воспоминаний П. Н. Милюкова, написанных им в последние годы его жизни. *Ред.*

² Летом 1877 г., когда шла русско-турецкая война П. Н. Милюков только что окончивший гимназию был на Кавказе, в составе санитарного отряда, организованного московским дворянством. *Ред.*

Филипп Федорович Фортунатов, — знаменитость, привлекавшая учеников из-за границы. Я очень добросовестно записал за ним его курс литовской фонетики: литовский язык тогда был признан древнейшим из сохранившихся и перенял эту славу у санскрита. Вместе с этим последним он открывал древнейшую страницу культурной истории индоевропейской семьи народов. Сопоставление звуков речи и их перемен вводило в историю языка, то есть орудия, которым человек пользовался с тех пор, как стал человеком. История звуков, которую своим глухим голосом нам раскрывал Фортунатов, была, конечно, очень поучительна; но она утомляла, и слушатель спешил перейти к живым выводам: от Боппа к Гейгеру, а немного позднее — к Шрадеру. А тут, рядом, нас вводил в тайны примитивного человечества молодой и живой преподаватель Всеволод Миллер. Мы слушали у него санскритский язык, переводили «Наля и Дамаянти» и дошли даже до гимнов Ригvedы. Но комментарий к последним расширял и углублял исторические горизонты при помощи фольклора, преданий, легенд, мифов народной словесности. Миллер был жестоким противником «солнечной» теории происхождения мифов, которую широко применял русский собиратель и толкователь фольклора Афанасьев. Это было новым этапом в истории науки, и мы с увлечением пошли по указанной тропе. Помню, я написал у Миллера большой доклад о роли огня в развитии понятий о загробной жизни у примитивных народов — и уже считал себя оригинальным исследователем. Всё это страшно увлекало и, несомненно, положило основу для моих позднейших занятий пре-историей.

Проф. Троицкий читал на первом курсе историю греческой философии. После моего Шwegлера и аристотелевской «Метафизики» это было для меня уже не ново. Но лекции Троицкого дали мне возможность понять и усвоить многое, остававшееся в тумане. У него был талант ясного изложения сложных вещей; он разжевывал предмет для самых неподготовленных. Правда, эта простота достигалась подчас за счет глубины мысли. У Троицкого была привычка трактовать греческих философов как-то свысока, точно он говорил: смотрите, какие глупости они проповедовали. При этом он с сожалением разводил руками и подчеркивал интонациями голоса превосходство собственной мысли. Студенты мне поручили издание лекций Троицкого, и так как в моей записи за профессором упрощенное выходило часто чересчур уже элементарным, я решил обра-

тяться к пособиям. Я достал двухтомного Целлера и к каждой лекции прочитывал соответствующую часть книги. При помощи Целлера я возвращал лекциям их серьезность, а иногда и подбавлял по Целлеру немножко деталей. Я показывал затем текст профессору. Думаю, что он его не читал; но никаких поправок он не делал и оставался доволен. Мне самому эта работа над лекциями принесла большую пользу. Между прочим, у меня укрепился в мысли — не новый, конечно — параллелизм между ролью Сократа на повороте от метафизики к критическому методу «самопознания» — и эволюцией новой философии. Его *gnōti seauton* — «познай самого себя» — так наглядно соответствовало роли Канта на таком же повороте к философии нашего времени. В теоретико-познавательной школе я усмотрел выход из своих колебаний между научным познанием и ощущением сверхчувственного мира. Критицизм проводил между тем и другим твердую и непроходимую границу — и я за нее ухватился. Я достал немецкий текст «Критики чистого разума» и — с большим трудом — принялся одолевать кантовские «паралогизмы» и «антиномии». Кант сам ссылался на своих предшественников — Юма, Локка. Я достал Локка; читать его было много легче. Критическая философия сделалась одной из границ моей мысли против потусторонних вторжений «сверхопытного» познания.

История меня заинтересовала в университете не сразу. Профессором всеобщей истории был В. И. Герье, — уже тогда не молодой. Самая его внешность не располагала в его пользу. Сухой и длинный, с вытянутым строением нижней части лица, производившей впечатление лошадиной челюсти, с пергаментной, морщинистой кожей, всегда застегнутый на все пуговицы, с неподвижным, каким-то стеклянным выражением глаз, с тонкими губами, иногда растягивавшимися в пренебрежительно-насмешливую улыбку, он как будто боялся уронить свое достоинство и отделял себя от слушателей неприступной чертой. Первая же встреча с ним в аудитории сразу оставила резко отрицательное впечатление. Он точно задался целью прежде всего унижить нас, доказав нам самим, что мы дураки и невежды. Совсем по-гимназически он задал всей аудитории вопрос: сколько было членов в римском сенате? Водворилось молчание. Он пожевал губами и задал еще такого же рода вопрос. Доказав нам, что мы не знаем азбуки, он задал урок: к следующему разу прочесть такую-то главу Тита Ливия и из нее выписать: сколько раз упоминается слово *plebs* и сколько раз

слово *populus*. Таков был приступ к семинарию по римской истории. Лекции Герье состояли из подробного конспекта взглядов Нибура, Рубино, Ланге на древнейший период римской истории. Я как раз читал Ланге и, сравнивая лекции с книгой, убедился, до какой степени добросовестно, но и бес-таланно — переданы все подробности содержания книги. На дальнейших курсах Герье перешел к истории французской революции по Тэну, с определенной целью внушить нам его отрицательный взгляд. Когда он замечал отклонение (я читал потихоньку Мишле, — запрещенное тогда в России сочинение), профессор начинал издеваться над жертвой. Я писал ему сочинение о Токвилле, — и тоже испытал его скрытый гнев. Вообще, он боялся, чтобы кто-нибудь не узнал того, чего он не рекомендовал — и не знает. В последнем многие из нас убедились, когда, уже будучи оставлены при университете, готовились к магистерскому экзамену. Помню случай, произошедший с одним из магистрантов. У него была тема об итальянском Возрождении, и он пришел к Герье на дом — посоветоваться о книгах. Профессор отличался отсутствием памяти и слабостью сведений по части библиографии. Он забыл имя автора книги, которую собирался рекомендовать. «Этот — ну, как его», — имя не подвертывалось. Тогда Герье начал чертить пальцем по воздуху, вставши в то же время со стула и удаляясь к двери кабинета, за которой и скрылся. Впоследствии Герье написал, с научной добросовестностью, злобный памфлет по поводу речей ораторов в первой Государственной Думе. Тема была благодарная: сколько глупостей было там наговорено! И мне вспомнилась профессорская критика Тэна... Должен всё-таки оговориться. Выбор семинарских занятий по «*Contrat Social*» Руссо, по книге Токвилля, по Тэну, по книге *Benlé* об Августе, оказали несомненное влияние на нас, научили объективизму в трактовании истории и застраховали от радикального догматизма.

По русской истории заканчивал свою профессорскую карьеру С. М. Соловьев, читавший для старших курсов. Я раз пошел на его лекцию. Профессор импровизировал, очень обобщая факты. Он говорил утомленным голосом «о жидком элементе» в русской истории. В который раз приходилось ему выжимать смысл из 28 томов его «Истории»! Но «жидкие элементы» проходили отвлеченными призраками и внимания слушателей не задерживали. В следующем году Соловьев умер. Заместителем его кафедры явился, по старинной при-

вычке, его зять, Нил Ал. Попов. Преподавание в университете было его синекурой, чего он в сущности и не скрывал. Помню, читал он нам о крестьянском освобождении. Посещали его лекции студенты по очереди, по наряду. Но надо было всё-таки иметь материал для экзамена. Я пришел, в свою очередь, на лекцию с книгой Иванюкова и к своему удивлению заметил, что лекция целиком списана с этой книги. Я стал следить, заметил, что пропущено «отсюда и досюда», начал отмечать. Мы решили, что составлять лекцию не к чему; надо только знать, откуда что взято. Затем, мы еще упростили технику подготовки. Перед экзаменом товарищи меня посылали к профессору, которого я просил дать свои записки для исправления наших лекций. Получив тетрадь, мы ее делили на части по числу слушателей, и каждый избирал себе «специальность», готовясь по тому же оригиналу профессорских записок. На экзамене профессор, отлично видевший наш трюк, спрашивал каждого: «У вас о чем?» Тот говорил, «о чем», и отвечал по своей части записок. После экзамена записки складывались и с благодарностью возвращались профессору. А на выпускном экзамене мы так обнаглели, что растеряли часть записок, и я не мог все вернуть ему его рукописи (списанной, очевидно, с книг переписчицей). Он о ней и не спрашивал. Мы подводили его пребывание в университете под формулу: «живи — и жить давай другим». Благодушный вид и полная фигура профессора совершенно соответствовали смыслу этого стиха Жуковского.

По счастью, этим не ограничилось то, что дал нам университет по всеобщей и русской истории. На той и другой кафедре появились настоящие светила учености и таланта: молодой доцент П. Г. Виноградов, только что приехавший из-за границы с репутацией представителя нового взгляда на историю и нового исторического метода, — и В. О. Ключевский, затмивший всех остальных блеском своих лекций и глубиной перестройки всей схемы русской истории. С обоими я был одно время очень близок и обоим многим обязан.

2. МОИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Несмотря на отрицательные впечатления первых двух лет, мой интерес начал сосредотачиваться на истории. Но какой истории? Слова «философия» я сам никогда не прилагал к истории, опасаясь что под этим словом кроются пережитки «метафизической» эпохи. В этом смысле понятие истории скорее противопоставлялось понятию философии. Но и к понятию исто-

рии я не присоединял обычного представления о ее содержании. Наше поколение отбрасывало а *limine* представление об истории, как повествовании о фактах. Гимназическое преподавание нас достаточно отучило считать генеалогии государей, даты их царствований, побед и поражений в войнах и т. д. за настоящую историю. Отвергая всякое научное значение истории повествовательной, как бы красиво она ни была изложена, мы ждали от истории чего-то другого, что приближало бы ее к экспериментальной науке. Это требование, как мы уже знали относительно заграницы, удовлетворялось до известной степени переходом от истории событий к истории быта. Какого именно? Прежде всего, наиболее доступного наблюдению и учету. Таким был быт экономический. «Экономический материализм» был в моде на западе раньше и независимо от Маркса. Теоретические сочинения об этом и образцы научных работ до нас уже доходили (Лориа, Торольд Роджерс). Несколько позднее мы познакомились и с первым томом «Капитала» Маркса в переводе Бакунина и во французском сокращенном изложении Малона. Но понятие «экономического материализма» у нас не смешивалось с марксизмом. Во второй очереди после экономической истории стояла история учреждений. От молодого приват-доцента, только что вернувшегося из-за границы, мы ждали последних слов европейской исторической науки именно в этих, намеченных нами, направлениях.

П. Г. Виноградов, может быть, не удовлетворял нас как теоретик. Но он импонировал нам своей серьезной работой над интересовавшими нас сторонами истории на основании архивного материала. А кроме того он сразу привлек нас к себе тем, что в противоположность Герье, не отгораживался от нас и не снисходил к нам, не приходил в затруднение от наших вопросов, а, наоборот, вызывал их и трактовал нас, как таких же работников над историческим материалом, как и он сам. Он приехал с готовой работой о Лангобардах в Италии, составленной на месте по архивам и на деле показывавшей, чего можно от него ожидать. Я не помню точно последовательности его университетских курсов: была ли это римская империя или начало средних веков. Но еще важнее, чем его лекции, был его семинарий. Только у Виноградова мы поняли, что значит настоящая научная работа, и до некоторой степени ей научились. Для сравнения с семинарием Герье приведу один пример. Проф. Герье, параллельно с преподаванием Виноградова, устроил свой семинарий по германским «Правдам», древнейшим памятникам

средневекового законодательства. Он принес нам маленькую книжку избранных мест из «Правды» и мы должны были вместе с ним читать текст. Он приходил не подготовившись, и мы этим пользовались. У меня в библиотеке оказался толстый том варварских «Правд» и папских декреталий; я мог сличать тексты и, по указаниям Виноградова, разбираться в трудных местах. На этих трудных местах я и ловил профессора. Когда он давал свой ходячий перевод, я предлагал свой вариант, более или менее правдоподобный. Герье терялся и не знал, как выйти из положения, — что нам и было нужно. С Виноградовым, конечно, не могло случиться ничего подобного, так как различения текста он знал, что называется, на зубок. Но мы и не думали смущать Виноградова, сразу убедившись в глубине и солидности его знаний. Он мог задавать нам работы по первоисточникам, не боясь остаться позади нас, а, напротив, с удовольствием приветствуя всякие новые выводы. Помню свою работу, основанную на римской эпиграфике. Я тщательно проштудировал сборники надписей и пришел, по этому богатейшему первоисточнику, к определенным выводам на поставленные профессором вопросы. Выводы были для него так же новы, как для меня: это его не смутило, а, напротив, заинтересовало. Это был кусок настоящей научной работы. Так он ставил нас сразу на собственные ноги в избранной им области. И мы сами чувствовали, что растем и не могли не испытывать величайшего удовлетворения, а к виновнику его — глубочайшей благодарности. Чем дальше, тем семинарий Виноградова становился всё более серьезным, а участники семинария сближались на общей работе и составили, в конце концов, дружную семью, с которой встретимся дальше.

Мне нет надобности говорить подробно о тех новых выводах по русской истории, с которыми знакомил нас проф. Ключевский. Об этом мне приходилось неоднократно говорить печатно. Но влияние Ключевского на нас носило иной характер, чем влияние Виноградова. Он нас подавлял своим талантом и научной проницательностью. Проницательность его была изумительна, но источник ее был не всем доступен. Ключевский вычитывал смысл русской истории, так сказать, внутренним глазом, сам переживая психологию прошлого, как член духовного сословия, наиболее сохранившего связь со старой исторической традицией. Его отношение к мертвому материалу было иное, чем у Виноградова: он его оживлял своим прожектором и сам говорил, что материал надо спрашивать, чтобы он давал

ответы, и эти ответы надо уметь предрешить, чтобы иметь возможность их проверить исследованием. Этого рода «интуиция» нам была недоступна и идти по следам профессора мы не могли.

К этой черте присоединялась другая: то обаяние, которое производила художественная сторона лекций Ключевского, его искрящееся остроумие, отточенность формы, неожиданные сопоставления и антитезы, наконец, готовые схемы, укладывавшие в одну отточенную фразу смысл целых периодов истории. Всё это было слишком далеко и стояло слишком высоко над тем, к чему нас приучило предыдущее преподавание русской истории. Свое стройное здание профессор выводил в готовом стиле на нашей *tabula rasa*. Мы видели на его примере, что и русская история может быть предметом научного изучения; но дверь в это здание оставалась для нас запертой.

Студенты моего курса были первыми слушателями Ключевского, после того как он из Духовной Академии и Александровского военного училища стал, наконец, университетским преподавателем. Это заметно отразилось на характере наших отношений. Мы имели возможность подойти к профессору ближе, чем студенты следующих выпусков. И всё же эта большая близость не приняла характера совместной работы, как это было у Виноградова. В. О. Ключевский вел свой семинарий с нами у себя на дому. Разбиралась «Русская Правда», текст которой еще более темен и труден, чем текст и терминология германских «Правд». Среди этих почтенных развалин древности Ключевский производил свои изумительные раскопки — и возвращался с ценными находками. Но, повторяю, мы за ним следовать его путем не могли. Мы оставались ждать у входа. Собственной научной работе в этом семинарии научиться было нельзя: оставалось записывать за профессором его личный комментарий. Но вот час семинария кончался, а мы не уходили. Наш выпуск присвоил себе, после семинария, привилегию непринужденной личной беседы. Анисья Михайловна, жена Ключевского, приносила чай, мы поднимали политические вопросы (а их было так много в эти годы) и осаждали Василия Осиповича, желая знать его мнение. Он отделялся шутками, сыпал парадоксами, с которыми согласиться было трудно, а не согласиться не деликатно, — и так проходил вечер, — вероятно, к большому неудовольствию профессора.

С обоими профессорами и с их семьями у меня создались личные отношения, начала которых я не помню, но которые

углубились и укрепились далеко за пределами описываемого периода. С П. Г. Виноградовым это было легче — уже по меньшей разнице возраста и по близости общих взглядов на историю и ее задачи. С В. О. Ключевским было труднее: разделяла и социальная среда, из которой мы вышли, и, при всей модернизации Ключевского, разница взглядов и общественных настроений, а кроме того и причудливый, неровный характер учителя и его усиливавшаяся с годами замкнутость и нервность. Всё же были счастливые годы, когда мы с ним сходились очень близко.

Известное равновесие между моими отношениями к преподавателям иностранной и русской истории устанавливалось уже тем фактом, что я долго не хотел окончательно останавливаться на выборе какой-нибудь одной из этих двух специальностей. Работал я, как видно из предыдущего, больше с П. Г. Виноградовым; с В. О. Ключевским работать было невозможно. Но про себя я решил, что моей специальностью будет русская история, тогда как занятия по иностранной дадут мне хорошую школу. Моим главным мотивом при этом выборе было то, что работать в России по истории иностранных государств значило «таскать воду в колодезь», тем более что диссертации на ученую степень писались по-русски и до иностранцев не доходили; а дальнейшая работа, после получения степени, поневоле тормозилась за недостатком материала и трудностью сноситься с границей. П. Г. Виноградов представлял в этом отношении блестящее исключение: он и сделался в конце концов иностранным профессором на кафедре Оксфордского университета. Напротив, русская история, плохо разработанная и нуждающаяся в работниках, только и могла изучаться русским, на месте нахождения источников. Независимо от патриотической точки зрения, даже с точки зрения международной науки, русские вклады профессоров русских университетов для нее были необходимы и неизбежно должны были войти в общий научный оборот. Итак я избирал русскую историю, но ею в университете почти не занимался, посвящая всё время истории всеобщей и считая, что русский материал от меня всё равно не уйдет.

3. ПОЛИТИКА ОБЩАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ (1879 — 1881)

В годы моего пребывания в университете Россия, несомненно, вступала в свой революционный период. И если в по-

следних классах гимназии мы могли только догадываться, что за доступными нам пределами что-то происходит для нас непонятное, а в первые два года университета могли лишь урывками и без достаточного внимания следить за фактами, дошедшими до нас больше в форме судебных процессов, то вторые два года, 1879-80 и 1880-1881, составили в этом отношении решительный перелом. Несколько фактических справок покажут, в чем было дело. Мы, конечно, не знали внутренней истории революционной борьбы, не знали и того, что в июне 1879 года съезд революционеров в Липецке привел к разделению революционной партии «Земля и Воля» на две части: «Черный Передел» Плеханова и будущих социал-демократов — и «Народная Воля». Странники Плеханова эмигрировали, уйдя на время с поля зрения русской общественности. Напротив, «народовольцы» (будущие «народники»), по настоянию Желябова, восстановили открытую борьбу с правительством посредством террора. Они начали свою деятельность с обращения к Александру II с требованием дать России политическую свободу и парламентарный режим. Это — по форме — совпало с умеренной программой либеральных земцев; но мы не знали о неудавшейся попытке И. И. Петрункевича убедить революционеров приостановить террор, чтобы дать время правительству откликнуться на требования земств. Самое имя Петрункевича едва ли в нашей среде было тогда известно. Во всяком случае, правительство не только не пошло на уступки, но усилило репрессии — и Петрункевич был сослан. Со своей стороны народовольцы начали форменную охоту на царя. С сентября 1879 до 1 марта 1881 г. она длилась непрерывно два с половиной года — и не могла не привлечь к себе общего внимания. Какой-то фантастический и всемогущий «центральный комитет» (в котором потом оказалось не больше 30 членов) успешно боролся с могущественным государственным аппаратом; значительная часть общества и всё либеральное общественное мнение втайне сочувствовали революционерам. Не могло такое настроение не задеть и университета, этого «барометра общества», как выразился Пирогов. После взрыва в Зимнем Дворце (февраль 1880) поднимается, наконец, в среде самого правительства вопрос о каком-то шаге навстречу умеренной части общества. Создается Верховный комитет и во главе его ставится харьковский генерал-губернатор, граф Лорис-Меликов с чрезвычайными полномочиями. Одной из первых мер этой «диктатуры сердца» является удаление гр. Д. А. Тол-

стого с поста министра народного просвещения и назначение на его место Сабурова. Толстой перед самой отставкой готовил реформу Устава 1863, дававшего университетам некоторую автономию. Но он не успел провести ее, а Сабуров проектировал расширение автономии на студентов, путем легализации студенческих организаций. Около этого вопроса и разгорелось в 1880 г. очень сложное студенческое движение, в которое и наш курс был непосредственно втянут.

Легализовать приходилось, прежде всего, студенческие учреждения, уже существовавшие фактически. Мы издавна имели свою общестуденческую организацию для помощи бедным товарищам. Наша касса пополнялась не только взносами, но и доходами с устройства студенческих балов, на которые очень охотно отзывались артистические силы Москвы. Я сам был представителем этого учреждения по выбору курса, — и не могу сказать, что эта должность была синекурой. Главная трудность состояла не столько в собирании, сколько в распределении денег. Кандидатов на получение пособий было очень много, а средств — очень мало. Приходилось ходить по студенческим квартирам для собирания самых подробных сведений о положении просителя. Задача была очень тягостная, но необходимая. Собрав все данные, каждый из нас являлся адвокатом просителя на общем собрании, чтобы вырвать пособие своему клиенту. Не обходилось без обид и без тяжелых разговоров. У центральной организации, ведавшей этой раздачей, было еще другое дело: студенческая столовая, требовавшая больших забот и знания дела. Но после назначения Сабурова у студентов явились и более широкие требования. Они хотели легального представительства всего студенчества по всем делам, касающимся студенчества.

Первые шаги в этом направлении, на которые начальство смотрело сквозь пальцы, прошли благополучно. Сам Сабуров хотел услышать организованное мнение студенчества о предполагаемой автономии. По курсам начались выборы, как бы предreshавшие создание центрального выборного органа студенчества. В день выборов меня не было в университете, и представителем курса был выбран мой гимназический приятель, Н. Н. Шамонин. Он оказался очень хорошим председателем курсовых собраний, но мало интересовался политической стороной дела, и вся «политика» перешла в мое заведывание. А «политики» было сколько угодно. На общих собраниях мы натолкнулись на самые разнообразные мнения. Левые течения,

представленные преимущественно студентами-медиками, обладали и по численности, и по настойчивости своей тактики. Тут я встретился с нашими постоянцами, с Шарым и Гиммельфарбом. Но были люди много сильнее и влиятельнее их. Юристы приняли мало участия в общем деле; их у нас считали будущими карьеристами и дельцами. Мы, филологи, представляли среднее мнение. Проводить его в студенческой массе было очень трудно. Наша цель состояла в том, чтобы, пользуясь благоприятной минутой правительственного либерализма, вести подготовительные собрания студентов к созданию признанной правительством системы студенческих учреждений. Левые, при их настроении, напротив, вносили политику в университет и добивались фактического признания за студенчеством политической роли. Это, конечно, не говорилось прямо; но к этому вело, прежде всего, непризнание того организованного общего представительства, которым мы уже владели. Нам, «конституционалистам», как нас тогда уже называли, противопоставлялась идея «суверенного народа», в виде верховной власти студенческой сходки. «Общая сходка» или «парламент» — так формулировалось наше основное «политическое» разногласие. А на общих сходках, как только они собирались, уже говорили открыто не о студенческих учреждениях, а о вопросах общей политики, и студенческая сходка превращалась в политический митинг.

Наша борьба с этим направлением вначале шла довольно успешно под защитой легальности. Мы пошли на уступки: согласились, например, на создание студенческого суда, в котором меня выбрали председателем. Над этим «судом» много потешались потом реакционеры. По несчастию, первым «процессом», который и оказался последним, было личное семейное дело между студентами С. и М., полное самых интимных подробностей. В роли председателя я вел к тому, чтобы вынести решение, что подобные дела студенческому суду неподсудны. Доклад был готов, но как раз в эти дни последовал крах всей «левой» политики, а с нею и всего студенческого движения.

Охота террористов на царя продолжалась. После новых неудачных покушений наступило 1-е марта 1881 г. Университет, избалованный невмешательством властей, забушевал. Помню маленький эпизод, в котором мне тоже пришлось играть роль. Правые элементы открыли подписку на венок на могилу Государя. Их было мало, сбор шел вяло, и один студент, вместо денег, бросил в шапку пуговицу. Нашелся другой студент,

некто Зайончковский, которые донес об этом начальству. Над Зайончковским потребовали студенческого суда, который и состоялся — опять-таки под моим председательством. Мне подсказывали со стороны, что ректор согласен даже на увольнение Зайончковского из университета, если суд вынесет такое решение. Но оно мне казалось юридически спорным и политически опасным. И я убедил собрание ограничиться порицанием и запрещением Зайончковскому впредь принимать участие в студенческих делах.

Но это были уже последние дни лорис-меликовского либерализма. Как известно, правительство Александра III, под влиянием Победоносцева, повернуло очень быстро в сторону реакции. Сабуров, оскорбленный одним студентом из левых, принужден был уйти; его место занял Николаи. Студенчество всё еще не понимало, что его дело проиграно. Студенческие сходки были запрещены. Но левые настаивали, чтобы была назначена еще одна, последняя общая сходка, на которой само студенчество постановит свои решения. Было ясно, что сходка будет разогнана властями. Тем не менее, я пошел на нее, чтобы убедить сходку разойтись по собственному почину. Произошло всё, как по писаному. В самый разгар горячих речей вошла полиция, а ораторы всё говорили и говорили, пока всех нас не окружили жандармы и не отвели в манеж, против университета. А оттуда, в поздний час, нас отвели, под конвоем конных жандармов, в Бутырскую тюрьму и оставили всех вместе в общей обширной камере. Ночь прошла очень весело: даже появился самодельный сатирический листок. Политические речи продолжались, но уже никого не интересовали. Кое-кто расположился спать на партах; успевшие закупить по дороге продукты принялись ужинать. Всё, наконец, замолкло. Уже на рассвете стали вызывать студентов с протекцией; их родственники убедили начальство, что они присутствовали на сходке «по ошибке» или «по неведению». Конечно, имена освобождаемых сопровождалась шумными выражениями негодования. Утром, переписав всех, нас отпустили.

По списку полиции мы были преданы профессорскому суду. До меня дошло, что ректор призывает к себе отдельных студентов и требует от них заявления, что они не знали о запрещении сходок и не знали цели данной сходки. Это заявление освобождало от наказания. Между прочим, Шамонин просил у меня совета, как ему поступить. Я посоветовал ему, как мало прикосновенному к политике, сделать требуемое заявле-

ние. Сам я чувствовал себя в ином положении. Я был слишком ангажирован перед всем студенчеством, и мой отвод был бы равносителен тому, который предъявляли в тюрьме родственники освобождаемых. Я решил не уклоняться от правды. По вызову ректора я пошел к нему на квартиру.

Ректором был Николай Саввич Тихонравов, профессор русской литературы. Я забыл упомянуть его в числе профессоров, оказавших на меня влияние. Он читал по старым запискам, довольно монотонно, и шепелявил. Но его лекции были истинным вкладом в науку (впоследствии они были напечатаны). Меня он знал по большой работе (обязательной), которую я сделал на данную им тему о литературных течениях в Москве XV-XVI в. Я много читал для этой работы; общие черты ее и выводы вошли впоследствии в мои «Очерки». Я знал, что Тихонравов благовоит ко мне, и тем более неловко было идти к нему с заранее принятым решением. Он встретил меня вопросом: вы, конечно, не знали, для чего собирается сходка? Я ответил: к сожалению, должен признать, что знал это и шел сознательно. Он посмотрел на меня с удивлением, помолчал, потом предложил тот же вопрос в другой форме. Волнуясь, я отвечал то же. Он повернулся и ушел. В результате, я был исключен из университета, с разрешением подать прошение на тот же курс — то есть до осени.

Каково было мое отношение к общей политике? Я боюсь точно определить его, чтобы не заменить бессознательно тогдашнее настроение позднейшим. Но всё же думаю, что в общем я разбирался в событиях. В эти годы (1880-81) у меня шла переписка с Лудмером, высланным в Архангельск и очень хорошо устроившимся при губернаторе Баранове. Я помню, что резко осуждал в письмах попытку правительства примирить общество на диктатуре Лорис-Меликова и предсказывал, что ничего из этого не выйдет. Земство я осуждал за слабость, левых — за непримиримость. Сам пытался, как изложено, провести в университете среднюю линию. Жалею, что эта переписка исчезла, как сказал мне через несколько лет сам Лудмер при встрече.

4. ПОСЛЕДНИЙ ГОД В УНИВЕРСИТЕТЕ (1881 — 1882)

Лекции в университете уже начались, когда я вернулся из Италии.¹ Но я мало заботился о лекциях. Мне казалось, как

¹ Летом 1881 г. П. Н. совершил поездку по Италии. *Ред.*

будто я уже окончил университет, и отсрочка на год есть простая формальность. К тому же и состав моих новых однокурсников был мне совершенно неизвестен. Среди них у меня не было ни товарищей, ни близких друзей. Те, с которыми мы четыре года назад вместе вошли в стены университета, ушли в жизнь. Я остался один, и охоты сблизиться вновь у меня не было. К этому присоединилась традиционная привычка старших смотреть на студентов младших курсов как-то свысока и снисходительно. Так на наш курс смотрели студенты старшего курса, например, Карелин или Якушкин, о которых речь будет дальше. Так и я склонен был смотреть на догнавших меня студентов. Это было, конечно, неправильно и среди них было немало интересных людей. Я сразу могу назвать двоих: Матвея Кузьмича Любавского, которому суждено было впоследствии занять кафедру Ключевского, Василия Вас. Розанова, прославившегося потом в роли писателя-философа определенного направления. Оба в университете были мало заметны. С некоторыми другими я ближе сошелся по работе в семинарии П. Г. Виноградова, единственно меня интересовавшем на этом курсе. Я не могу точно вспомнить, какая именно тема трактовалась участниками семинария в этом году: кажется, это был разбор, очень строгий, первого тома Фюстель-де-Куланжа, посвященного концу римской империи. Может быть, тогда же, а может быть и несколько позже, я встретился там с некоторыми участниками общей работы, которые стали моими друзьями. Украинец Петрушевский, талантливый исследователь средневековья — в том духе, как мы понимали историю, то есть, главным образом, как историю социальную и историю учреждений; Моравский, след которого я потом потерял; А. И. Гучков, явившийся к нам из Берлина с репутацией бреттера и выбравший себе тему о происхождении гомеровского цикла; так и не dokonчив этой работы, он отправился помогать бурям.

Остается упомянуть еще об одном, довольно пассивном участнике семинария П. Г. Виноградова, о М. Н. Покровском. Покровский прогремел при большевиках своим квази-марксистским построением русской истории. Ими же он был и развенчан. У нас он держался скромно, большею частью молчал и имел вид вечно обиженного и не оцененного по достоинству.

Общественные ожидания, возбужденные первыми неделями царствования Александра III, быстро рассеялись, когда Лорис-Меликова сменил Игнатъев, а Игнатъева вытеснил Победоносцев. Революционная борьба была подавлена крутыми

репрессиями, и в политической жизни наступило затишье, продолжавшееся в течение почти тринадцати лет царствования Александра III. Для научной деятельности, в частности для моей, это затишье оказалось чрезвычайно полезным. Я мог отныне, после неудачного политического опыта, всецело погрузиться в научную работу. Начало этой работы я и должен вести с последнего университетского года. Не ожидая ничего для себя нового, я очень манкировал университетскими лекциями (за исключением лекций проф. Виноградова). Но освободившийся таким образом досуг я употреблял на серьезное чтение социологического, политико-экономического и исторического содержания. Русская история, в частности, продолжала стоять у меня на первом плане. Центром внимания в этом отношении стала, конечно, диссертация В. О. Ключевского на тему о «Боярской Думе», начавшая печататься отдельными статьями в «Русской Мысли». Построение киевского периода сразу показалось мне в ней, при всем остроумии автора, искусственным и спорным. Напротив, объяснение частно-хозяйственного происхождения государственных учреждений московской Руси увлекло меня своей глубиной и основательностью. Мысль начала сосредоточиваться в этом направлении.

Приближалось время выпускных экзаменов, и я — слишком поздно — заметил многочисленные пробелы, образовавшиеся у меня в результате непосещения лекций. Старый гимназический способ покрыть эти пробелы состоял из нескольких бессонных ночей, проведенных над лекциями при помощи крепкого чая. В университете этот способ облегчался снисходительностью профессоров. Я уже говорил о том, как упрощенно мы сдавали экзамены у Нила Попова. На экзамене у проф. Дювернуа, по курсу о древнеславянском языке, которого никто не слушал, дело обходилось несколько сложнее. Брали билеты три студента подряд, и пока отвечал первый, два другие отходили от экзаменационного стола к скамьям, где уже был заготовлен конспект лекций, и прочитывали конспект, соответствовавший вынужденному билету. Не помню, как сходило у меня с рук такое незнание по другим предметам, но на экзамене у Виноградова у меня случился неприятный казус, тем более неожиданный и для меня, и для профессора, что я сам и издавал его лекции. Положившись на свое знание их, я только накануне экзамена, перебирая лекции, заметил, что нескольких листов в моем экземпляре недостает вовсе. Просидев ночь, чтобы освежить в памяти курс, я пошел на экзамен, положив-

шись на случай. Можно себе представить мое крайнее смущение, когда я вынул билет, как раз соответствовавший недостававшим листам — о германской исторической школе. Делать было нечего, я стал вспоминать читанное на эту тему в толстом *Handbuch*'е о немецкой историографии — и начал ответ. Виноградов сперва пришел в недоумение: того, что я говорил, не было в курсе. Потом догадался, усмехнулся и, не прерывая меня, поставил удовлетворительную отметку. Потом уже я объяснил ему, в чем было дело. По счастью, наша дружба от этого нисколько не пострадала. Виноградов выступил главным моим защитником в вопросе о моем оставлении при университете. Он знал от меня, что я хочу специализироваться на русской истории. Тем не менее, и он, и проф. Герье — последний в особенности — стали настойчиво убеждать меня остаться при университете по кафедре всеобщей истории. Я отказался, не понимая, в чем дело и откуда идет сопротивление моему оставлению по русской истории. Только позднее я начал, к своему глубокому огорчению, догадываться об этом. Сопротивление, конечно, могло идти только от В. О. Ключевского. Возможно, что он был недоволен моим политическим направлением или моим малым вниманием к его предмету. Возможно, что он уже тогда считал более подходящим для занятия кафедры более послушного М. К. Любавского и смотрел косо на мое увлечение всеобщей историей. Возможно и то, что общее происхождение из духовного звания более сближало его с духовным обликом Любавского. В дальнейшем, как будет сказано, открылись и наши различия во взглядах, как частных, так и общих, на русскую историю и на способы ее изучения. Возможно, что они почувствовались уже тогда, и В. О. не доверял моим стремлениям к самостоятельности, предпочитая более надежного в этом отношении М. К. Любавского. Как бы то ни было, все эти догадки возникли у меня позднее. В них не было и надобности тогда, так как в конце концов факультет, очевидно с согласия или даже по предложению В. О., всё же оставил меня при университете по кафедре русской истории.

П. Милюков

АМЕРИКАНСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО И РОССИЯ

(Деятнадцатый век)*

«Позвольте же, через вас, начать объединение двух полушарий совместными усилиями над распространением науки. Необходимость этого одинаково сознается учеными, как вашей, так и нашей страны».

Из письма американского филолога Дюпонсо к русскому филологу Аделунгу (1817).

Восемнадцатый век приближался к концу, когда Американское Философское Общество известило мир о кончине своего основателя и президента, прославленного Вениамина Франклина. Когда Франклин оставил по болезни высокий пост первого представителя независимой Америки в Париже, его заместителем был назначен другой герой американской революции, автор «Декларации Независимости», Томас Джефферсон. Называвшим его «заместителем Франклина» он говорил: — «Заменить Франклина нельзя: Франклину можно только следовать».

Томасу Джефферсону выпало на долю «следовать Франклину» не только на политическом поприще, но и на культурном, в качестве президента Американского Философского Общества. Вскоре после этого Джефферсон был избран президентом Соединенных Штатов, и это немало содействовало процветанию Американского Философского Общества, а также укреплению связей Общества с Европой, в частности — с Россией.

Избрание Джефферсона президентом Соединенных Штатов совпало с вступлением на российский престол императора Александра I. «Дней Александровых прекрасное начало»

* О связи Американского Философского Общества с Россией в восемнадцатом веке см. статью автора в кн. 36 «Нового Журнала». Ред.

было также прекрасным началом дружбы между Америкой и Россией. В Александровскую эпоху впервые установились официальные дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами. Им предшествовали личная дружба и переписка американского президента с русским царем.

Дружба Джефферсона с Александром I представляла собою явление не совсем обычное, если принять во внимание антимонархические убеждения великого американского демократа и его нескрываемую антипатию к коронованным особам. Во время французской революции, даже республиканская Америка была смущена одобрением, высказанным Джефферсоном по поводу казни Людовика XVI, и долго еще Джефферсон носил у себя на родине кличку «якобинца».

Но русский монарх Александр I, воспитанник республиканца Лагарпа, мало походил на остальных коронованных особ. Еще в бытность свою наследником, Александр, увидев в руках Лагарпа речь Джефферсона, заинтересовался автором «Декларации Независимости». С тех пор Лагарп (собиравшийся до своего приезда в Россию принять участие в американской войне за независимость) не переставал мечтать о сближении своего царственного питомца с героем американской революции. Он считал, что дружба Александра с Джефферсоном «была бы чрезвычайно полезна для обоих, равно как и для счастья человечества».

Через своих друзей — английского книгопродавца Стона и знаменитого английского физика, члена Американского Философского Общества Джозефа Пристли, эмигрировавшего в Америку, — Лагарпу удалось заинтересовать Джефферсона личностью молодого русского императора и проектами его реформ. Джефферсон явно ждал удобного случая, чтобы завязать с Александром непосредственную переписку, которая по его мнению «была бы крайне важной для всех, искренне стремящихся при существующем положении вещей, к прогрессу человечества».

Случай не замедлил представиться. В то время Америка принуждена была вести негласную, но чрезвычайно изнурительную войну у берегов Триполи с пиратами, нападавшими на американские торговые суда. Другие государства, заинтересованные торговлей в Средиземном море, платили султану Триполи ежегодно дань, которая была тогда непосильной для разоренной своей революционной войной Америки. Кроме того, захватывая американские суда и продавая в рабство плен-

ных американцев, пираты наносили ущерб не только американской торговле, но и национальному престижу молодой заокеанской республики. Джефферсон тщетно прилагал усилия, чтобы организовать коалицию из европейских государств, которая могла бы вооруженной силой прекратить нападения и вымогательства триполитанцев. Даже недавняя союзница Америки, Франция, и та отказалась помочь в этом, считая американскую торговлю в Средиземном море лишней конкуренцией для Европы.

Джефферсону не оставалось ничего другого, как прибегнуть к помощи России, пользуясь личным расположением русского царя. Александр не обманул ожиданий Джефферсона и охотно согласился использовать свое влияние на турецкого султана, чтобы через него выхлопотать освобождение от рабства и возвращение на родину захваченных триполитанцами американских граждан. Инцидент этот положил начало переписке Джефферсона с Александром I.

За год до этого Джефферсон послал в Петербург первого американского консула Левитта Гарриса, которому выпала на долю почетная роль посредника между своим президентом и русским царем, а также между Американским Философским Обществом и русскими учеными.

Через Гарриса Джефферсон послал Александру I в подарок книги: «Жизнь Вашингтона» в четырех томах и «Конституцию Соединенных Штатов». Интересно отметить, что первый французский перевод конституции США был подарен в 1783 г. Франклином отцу Александра, Павлу Первому, тогда еще наследнику. Павел в то время очень интересовался американской войной за независимость и несколько раз выражал желание познакомиться с текстом американской конституции. В ответ на подарки Джефферсона Александр послал ему свой бюст. Когда в 1809 году Джефферсон отказался вновь выставить свою кандидатуру в президенты, русский царь высказал сожаление, переданное Джефферсону Гаррисом. Президент ответил: «Я очень польщен замечанием императора. Я действовал на скромном поприще, стремясь к миру и представляя трудолюбие все его приобретения. Император направлял судьбы мира и (я убежден в том!) улучшил их настолько, насколько менее добросовестные сотрудники позволили это сделать. Он молод, способен, добр и имеет перед собой еще долгие годы, чтобы заслужить от потомства горячую благодарность Небу за то, что жил подобный правитель!»

Вряд ли другой монарх в Европе мог удостоиться такой блестящей оценки из уст республиканца, друга якобинцев, врага монархов, каким был Джефферсон. Что слова эти были искренни, доказывают многочисленные письма Джефферсона разным лицам, в которых он не только высказывал свое восхищение русским императором, но и неоднократно подчеркивал, что русский царь оказался «единственным другом Соединенных Штатов».

Покинув пост президента США, но оставшись президентом Американского Философского Общества, Джефферсон смог уделять больше внимания культурной работе. По его просьбе много книг было послано Гаррисом в Америку из России. Лично для Джефферсона Гаррис приобрел трактат Румянцева о русской торговле и сочинения историка, графа И. Потоцкого, о русских провинциях. Книги эти находятся сейчас в Филадельфии, в библиотеке Американского Философского Общества, куда попала и одна из рукописей Потоцкого о его путешествии на Кавказ в 1798 году. Рукопись эта долгое время оставалась неизвестной и лишь в 1829 году была издана немецким ученым Клапротом, членом Американского Философского Общества, выписавшим рукопись Потоцкого из Америки в Вену.

В самом начале девятнадцатого века Гаррис с большим трудом раздобыл в России для Американского Философского Общества несколько словарей и грамматик русского языка. При помощи Гарриса и секретаря Русской Академии Наук Н. Фусса оживился обмен *Трудов* Американского Философского Общества и изданий Русской Академии. К 1803 году в Русской Академии было уже пять томов *Трудов* Американского Философского Общества, а в архивах последнего сохранялась полная коллекция мемуаров Русской Академии.

К первой половине девятнадцатого века относится интересная переписка вице-президента Американского Философского Общества, филолога П. Дюпонсо, с русским ученым Ф. Аделунгом.

Дюпонсо попал в Америку во время американской войны за независимость, вместе с французскими войсками генерала Рошамбо, личным секретарем которого он был. После войны Дюпонсо остался в Америке, был избран в члены Американского Философского Общества, затем стал его вице-президентом и наконец — его президентом и историком.

Будучи по призванию филологом, Дюпонсо, в бытность

свою вице-президентом Американского Философского Общества, основал при Обществе специальную филологическую секцию, наладившую переписку со всеми выдающимися филологами Европы. Одной из главных работ секции было сравнительное изучение языков американских индейцев. Как уже упоминалось в предыдущей статье, толчком для этого послужило составление Екатериной Второй сравнительного словаря всех языков мира. Посылая русской императрице словари индейских языков, составленные по присланному ею образцу, американские ученые заинтересовались методом Екатерины и постепенно стали сами для себя собирать образцы индейских наречий. Таких рукописей набралось в архивах Американского Философского Общества довольно много.

После первого издания сравнительного словаря Екатерины (известного под названием словаря Палласа по имени его издателя) и после смерти Екатерины, все дополнительные лингвистические материалы, оставшиеся неиспользованными, сосредоточились в руках русского филолога Аделунга, который, продолжая интересоваться языками американских индейцев, завязал переписку с Дюпонсо. В порядке обмена филологическими трудами Аделунг получил от Американского Философского Общества не только печатные труды американских филологов, но также рукописи недостающих ему словарей индейских племен из собраний общества. В свою очередь Аделунг послал в дар коллекцию библий на языках почти всех народностей Российской Империи, а также ряд трудов о России. Книги на русском языке, посланные Аделунгом, до сих пор хранятся не разрезанными в архивах Американского Философского Общества.

После Клингшедта, Дашковой и Палласа, Аделунг был избран четвертым русским в члены Американского Философского Общества, а Дюпонсо — первым американцем в члены Вольного Экономического Общества в Петербурге.

Копии писем Дюпонсо к Аделунгу, сохранившиеся в архивах, говорят о том, что вслед за Джефферсоном, американские ученые придавали огромное значение царствованию Александра I. Дюпонсо, например, писал: «Широта взглядов вашего Государя и огромный прогресс, достигнутый вашей страной во всех отраслях науки, указывают на то, что в ней мы должны искать источник поддержки наших работ. Позвольте же через вас начать объединение двух полушарий совместными усилиями над распространением науки. Необходимость этого одина-

ково сознается учеными как вашей, так и нашей страны». Затем, Дюпонсо, указывая на необходимость установления общего для всех стран «звукового алфавита» для облегчения контакта между филологами, писал, что такой алфавит должна дать «благодарному миру» Россия.

В 1809 году в Петербург приехал первый американский посол Джон Квинси Адамс, которому суждено было сыграть выдающуюся роль в развитии культурной связи Америки с Россией. Сын второго президента Соединенных Штатов, Джона Адамса, молодой Адамс получил блестящее образование в Харвардском университете и в Европе. В 1781 году четырнадцатилетним юношей Джон Квинси Адамс был послан своим отцом сопровождать в качестве переводчика первого неофициального посла Америки ко двору России, Франсиса Дэйна. Миссия эта оказалась, как известно, преждевременной и окончилась неудачей, но знакомство молодого Адамса с Россией пригодилось ему в будущем. Вторичное пребывание Джона Квинси Адамса в России в качестве официального посла прошло в той же атмосфере преклонения перед личностью Александра I, какая была в Америке. Несмотря на то, что во время Отечественной войны 1812 г. Америка была официально на стороне Наполеона против Англии, Адамс не только не был выслан из России, но продолжал исполнять свои функции посла и так горячо переживал вместе с русским народом его отечественную эпопею, что его письма домой могли бы быть смело подписаны любым русским патриотом.

Впервые через Адамса наладилась связь Американского Философского Общества с Императорским Обществом Испытателей Природы в Москве. В 1811 году Адамс переслал Американскому Философскому Обществу научный труд известного русского энтомолога Фишера фон Вальдгейма, основателя и президента московского Общества Испытателей Природы. Связь московских натуралистов с Америкой оказалась прочной: Фишер фон Вальдгейм и его сын Александр, заменивший отца на посту председателя общества, были избраны членами Американского Философского Общества и установили постоянный обмен научными трудами русских естествоиспытателей с Америкой.

При помощи Адамса был сделан первый шаг сближения представителей американской медицины с русскими медиками. Знаменитый Вениамин Рош, «отец американской медицины», один из членов-основателей Американского Философского Об-

щества, решил послать свой главный научный труд в дар самому русскому царю. Из переписки Адамса с Рошем выясняется, что в ответ на этот подарок Александр I послал Рошу ценный бриллиантовый перстень. Вениамин Рош был избран в члены Императорской Медико-Хирургической Академии в Петербурге, а основатель этой Академии, лейб-медик Александра I Я. Виллис, первым из русских докторов стал членом Американского Философского Общества. После него были избраны еще несколько русских докторов, среди них профессор анатомии Илья Буяльский, работы которого по анатомии и хирургии доставили автору большую известность.

В мемуарах Джона К. Адамса подробно описываются его встречи с русскими академиками и другими деятелями русской культуры, из которых многие по рекомендации Адамса были избраны членами Американского Философского Общества. Из них отметим академика натуралиста Тилезиуса, завязавшего переписку с американскими учеными Бартоном и Вистаром. Тилезиус познакомил Адамса с знаменитым русским мореплавателем И. Крузенштерном, которого Тилезиус сопровождал в качестве зоолога во время первой русской кругосветной экспедиции, состоявшейся в 1803-1806 годах.

Встреча Адамса с Крузенштерном была, судя по дневнику Адамса, чрезвычайно интересной для них обоих, так как Крузенштерн был одним из немногих русских, которым удалось побывать в Америке еще в конце восемнадцатого века (в то время Крузенштерн проходил курс практического мореплавания в английском флоте). Навещая Тилезиуса, Адамс был свидетелем того, как подготавливалось к печати роскошное трехтомное издание путешествия Крузенштерна с зарисовками океанской фауны, сделанными Тилезиусом. Книга вышла в свет по-русски и по-немецки и скоро была переведена и на другие языки. Позже Крузенштерн издал свой знаменитый «Атлас Южного моря» (так тогда назывался Тихий океан), который нашел себе широкое распространение среди моряков всего света. Крузенштерн был избран в члены Русской Академии, Лондонского Королевского Общества и Американского Философского Общества.

Наряду с русскими учеными и (как это будет отмечено ниже) русскими дипломатами и государственными деятелями, в члены Американского Философского Общества в начале девятнадцатого века вступил и личный друг Адамса, Иван Степанович Лаваль, фигура чрезвычайно колоритная, которо-

му суждено было занять совсем особое место в истории александровской России. Сын французского винодела, присоединившегося во время французской революции к армии Кондэ и затем эмигрировавшего в Россию, Лаваль был сначала учителем французского языка, а затем инспектором наук в Морском Корпусе. В России он женился на А. Козицкой, происходившей из семьи купцов-староверов, которая принесла ему в приданое знаменитый Архангельский завод на Урале и часть Аптекарского острова с великолепной дачей на берегу Невы. Сестра Козицкой вышла замуж за князя Белосельского, получившего за ней, кроме разных угодий и заводов, Крестовский остров в Петербурге. Обе семьи жили дружно, и Адамс бывал часто и у Лавалей и у Белосельских. После женитьбы Лаваль выстроил по планам знаменитого архитектора Тома де Томона пышный особняк на Английской набережной рядом с Сенатом. Дом этот, воспетый Пушкиным, является одним из красивейших памятников строительного искусства начала девятнадцатого века.

«Тогда на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом,
С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые...»

«Воспел» по своему этот великолепный дворец Лавалья и Адамс, оставивший в своих воспоминаниях описание его внутреннего убранства и знаменитой картинной галлерей. Дом Лавалья был центром художественного и литературного Петербурга: там сходились русские и иностранные замечательные люди того времени, там Пушкин читал «Бориса Годунова» Мицкевичу и Грибоедову, там произошла ссора Лермонтова с Барантом, и там же родилась дочь Лавалья, знаменитая некрасовская «русская женщина», Екатерина Ивановна, вышедшая замуж за декабриста Трубецкого и последовавшая за мужем из этого же исторического дома в Сибирь.

Адамсу, конечно, было невдомек, что дом, в котором он бывал так часто и запросто, станет исторической реликвией России, а записи его о Лавале явятся ценным вкладом в свидетельства современников об отце княгини Трубецкой. Любопытно, что Адамс считал Лавалья потомком Лавалей де Монморанси, а его жену урожденной «княжной» Козицкой. Современники отмечают, что Лавалю нравилось приписывать себе знатное происхождение, что и вызывало протесты его знатных

однофамильцев. Уже после отъезда Адамса из России Лаваль получил графский титул от Людовика Восемнадцатого за то, что во время изгнания последнего, ссудил его крупной денежной суммой.

Почти все первые русские дипломаты в Америке были в контакте с Американским Философским Обществом и некоторые из них были избраны в его члены. Самым выдающимся из них был, пожалуй, Петр Иванович Полетика, который побывал в Америке два раза: с 1809 до 1812 года в качестве советника русского посольства и с 1819 до 1822 года — в звании русского посланника и полномочного министра. Сразу же по приезде в Америку, Полетика усердно принялся за изучение новой для него страны, что дало ему возможность написать труд «О внутреннем состоянии США и их взаимоотношениях с Европой». Книга Полетики была издана в 1826 году: в Европе по-французски, в Америке — по-английски. Выдержки из нее были опубликованы по-русски в России. В этом труде, касаясь отношений Америки и России, Полетика писал: «Имя императора Александра очень популярно в Америке. И немудрено — потому что русское правительство не раз вставало на защиту интересов США в то время, когда другие морские державы Европы с ними не считались. Могущество России не страшит Америку, которая и в будущем рассчитывает на русскую помощь в защиту от стран, относящихся к ней менее дружелюбно».

Американскому Философскому Обществу Полетика привез в дар из России «Русскую Правду» Ярослава Мудрого как символ справедливости, которая должна направлять взаимоотношения Америки и России. В русской литературе имя Полетики связано с лучшими именами девятнадцатого века. Земляк Гоголя, друг Жуковского и Пушкина, Полетика был принят членом в знаменитое литературное общество «Арзамас», где получил прозвище «Очарованный чёлн» по причине своих далеких странствований. Друзья называли его также квакером, находя, что Америка наложила на его наружность отпечаток «забавно-почтенной оригинальности».

Другой русский дипломат в Америке в начале девятнадцатого века был еще теснее связан с русской литературой. Писатель, художник, впоследствии издатель «Отечественных Записок», П. Свиньин был послан в 1811 году в Филадельфию в качестве секретаря русского консульства. Как и Полетика, Свиньин посвящал всё свое свободное время изучению Аме-

рики, путешествуя по ней и зарисовывая сцены из американской жизни. Этими рисунками он впоследствии иллюстрировал свою русскую книгу: «Опыт живописного путешествия по Северной Америке». В Америке Свиньин издал по-английски книгу о Москве и Петербурге, тоже иллюстрированную им самим и написал ряд статей в американских журналах, стараясь дать американцам правильное представление о России. Среди них особенно любопытны статьи о донских казаках, которых Свиньин сравнивает с американскими индейцами, описывая их военную тактику и храбрость. Американскому Философскому Обществу Свиньин преподнес книгу Карамзина «Пантеон русских писателей» с предложением сделанного им перевода на английский одной из глав книги, посвященной Ломоносову.

Двухлетнее пребывание Свиньина в Америке было прервано данным ему поручением сопровождать в Европу известного антибонопартиста, французского генерала Моро, эмигрировавшего в Америку. Моро был приглашен на русскую службу императором Александром, желавшим использовать вражду Моро к Наполеону в борьбе против Бонапарта. Свиньин доставил Моро в лагерь Александра в Германии и вскоре стал свидетелем смерти генерала от ран, полученных им в сражении под Дрезденом. Биография Моро, написанная Свиньиным, выдержала несколько изданий в Европе и в Америке.

В 1823 году Американское Философское Общество получило не совсем обычное письмо от одного из секретарей русского посольства, Юлия Валленштейна. Русский дипломат сообщал о произведенных им в городе Вашингтоне метеорологических наблюдениях при помощи барометра, предоставленного в его распоряжение парижской обсерваторией. Результат исследований Валленштейна был опубликован Американским Философским Обществом в его *Трудах* в 1825 году, а автор избран членом Общества. Как и все русские дипломаты того времени в Америке, Валленштейн интересовался историей Соединенных Штатов и написал на французском языке «Очерк дипломатической истории американской революции», оставшийся, к сожалению, в рукописи.

1825 год отмечен в Американском Философском Обществе избранием в почетные члены бывшего канцлера Российской Империи, графа Н. П. Румянцева, известного основателя Румянцевского музея в Москве, покровителя всех культурных начинаний в России, издателя древних грамот и других памятников русской литературы и организатора одной из первых

русских кругосветных экспедиций под начальством Коцебу, которую Румянцев снарядил на свои средства. За заслуги на поприще русской культуры Румянцев был избран почетным членом Русской Академии Наук. Он состоял также членом Вольного Экономического Общества и ряда заграничных научных обществ, из которых его особым вниманием пользовалось Американское Философское Общество. В виде особого благоволения к последнему Румянцев прислал ему в дар свой бронзовый бюст, который до сих пор хранится в Филадельфии. В свою очередь Американское Философское Общество настолько выделяло Румянцева из числа своих иностранных членов, что когда Румянцев скончался, Общество почтило его память специальным траурным собранием, таким же, каким оно отметило смерть своего основателя Франклина и затем Джефферсона. В протоколе этого собрания говорится: «Американское Философское Общество выражает глубокую скорбь по случаю утраты своего знаменитого сочлена, утраты огромной не только для всех друзей науки, но особенно для нашего общества, к которому граф Румянцев был глубоко привязан, что неоднократно высказывал при жизни».

Другой известный русский государственный деятель девятнадцатого века, министр финансов Российской Империи, граф Е. Ф. Канкрин, тоже занимал видное место среди русских членов Американского Философского Общества. Он не мало содействовал развитию культурного обмена между Американским Философским Обществом и русскими научными учреждениями, распорядившись о посылке в Филадельфию периодических изданий Императорского Российского Минералогического Общества и Горного Корпуса, которым он особенно покровительствовал. Через Канкринна Американское Философское Общество вступило в переписку с Центральной Физической Обсерваторией в Петербурге, первой магнитной обсерваторией в России, в которой сосредотачивались метеорологические наблюдения всей империи. Во главе обсерватории стоял академик А. Купфер, профессор химии и физики Казанского Университета, автор работ по установлению и приготовлению нормальных русских мер, избранный вскоре членом Американского Философского Общества.

Магнитные наблюдения русской обсерватории учрежденной в 1830 г. особенно интересовали Американское Философское Общество, обратившееся в 1839 году в Вашингтон с ходатайством об учреждении в США магнитной обсерватории.

«чтобы не отставать от прогресса изучения земного магнетизма в других странах». Как пример, приводились достижения русской магнитной обсерватории, «распространившей магнитные наблюдения не только до самых отдаленных частей Российской Империи, но и до Пекина».

К тому же времени относится контакт Американского Философского Общества с бывшим министром народного просвещения и председателем Академии, известным адмиралом А. Шишковым, автором работ о русском языке. Сначала Американское Философское Общество получило в дар немецкий перевод его главного труда «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» в трех томах и в пяти экземплярах для рассылки в другие научные учреждения США. Кроме этого, Американское Философское Общество получило полное собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова на русском языке в 16-ти томах и два перевода его книг на французский язык. Филологические исследования Шишкова вызвали восторженный отзыв Дюпонсо, бывшего в то время президентом Американского Философского Общества, который на заседании Общества 20-го августа 1841 года сделал доклад, содержащий подробный анализ трудов Шишкова.

По распоряжению Шишкова Американскому Философскому Обществу были также посланы статистические данные о русском образовании. Любопытно отметить, что в то время как американские ученые знакомились с системой русского образования по материалам, присланным им из России, в самой России, на месте, американский посол Джемс Бьюкенен осматривал русские школы, о которых оставил интересные записи. Культурная миссия в России Джемса Бьюкенена, члена Американского Философского Общества и будущего президента США, заслуживает такого же внимания как и пребывание в России его предшественника Джона Квинси Адамса. Как и Адамсу, Бьюкенену удалось завязать личную дружбу с представителями русской культуры благодаря тому же Гаррису, который, по словам Бьюкенена, так свьязся с Россией, что перестал быть настоящим американцем. В сопровождении редактора «Северной Пчелы» Н. Греча, Бьюкенен совершил интересную поездку в Москву, где в честь него в одной из школ был дан урок географии Америки. По просьбе Бьюкенена учитель спросил одного из учеников, кто был самым знаменитым человеком в США и тот без запинки ответил: «Вашингтон». Когда на вопрос, кого из великих американцев он еще знает,

мальчик ответил: Франклина, — Бьюкенен был так тронут, что еле удержался от слез.

В Москве Бьюкенен познакомился с редактором «Московского Телеграфа» Н. Полевым, печатавшим в своем журнале переводы из американской литературы, с профессором И. Снегиревым, от которого получил в подарок его книгу о русских древностях, с деканом Московского университета хирургом Аркадием Альфонским и другими. В честь американского посла был устроен прием московским генерал-губернатором князем Д. В. Голицыным, героем Отечественной войны, изумившим Бьюкенена своим прекрасным английским языком. Бьюкенен побывал почти у всех представителей хлебосольной московской знати — у князя Урусова, у Новосильцева, Скарятина, Пашкова и др. Он посетил Троицко-Сергиевскую Лавру, где подвергся троекратному лобызанию игумена Антония, и вернулся в Петербург изумленный и потрясенный величием старой русской столицы.

Николай I оказал Бьюкенену много внимания, несмотря на то, что, как заметил Бьюкенен, он считал американцев распространителями в Европе революционной «заразы». Высшее русское общество, хотя и боялось той же «заразы», всё же Америкой интересовалось, и Бьюкенен считал, что в будущем только очень умные и талантливые люди должны будут посылаться из Америки в Россию, «чтобы дать русским правильное представление об американских учреждениях».

Вернувшись в Америку, Бьюкенен продолжал помогать культурному обмену Американского Философского Общества с представителями русской культуры. Незадолго до Крымской войны еще одна связь была установлена Американским Философским Обществом в России: членом общества был избран известный русский астроном, основатель и директор Пулковской Обсерватории, Вильгельм (Василий) Струве. Связи В. Струве с Америкой не ограничивались избранием его в члены Американского Философского Общества и затем Бостонской Академии. Еще до этого имя Струве и его обсерватория были известны в Америке и сыграли решающую роль в деле основания первых обсерваторий в США. По образцу Пулковской Обсерватории была сначала построена обсерватория в Цинцинати, и ее основатель Митчел вел переписку с В. Струве. По просьбе Струве Митчел взялся продолжать наблюдения, начатые Пулковской Обсерваторией над двойными звездами. Наблюдения пулковского телескопа охватывали только часть

неба, от северного полюса до экватора. Первая американская обсерватория продолжала эту работу на юг от экватора.

Вторая американская обсерватория в Харварде заказала свой телескоп в той же фирме Мерца и Малера в Мюнхене, которая сделала телескоп Пулковского. Харвардский телескоп был прозван «близнецом пулковского» и составлял предмет гордости харвардских астрономов. С 1848 года начались паломничества американских астрономов в Пулковскую Обсерваторию, прозванную ими «астрономической столицей мира». Среди них был знаменитый американский астроном Ньюкомб. Среди собранных в Пулковской Обсерватории высказываний о ней ученых всех стран, сохранилось и мнение Ньюкомба, который написал: «Когда мне в Америке рассказывали о чудесном устройстве Пулковской Обсерватории, я смеялся потому что не мог поверить всему этому. Теперь, когда я приеду в Америку и буду рассказывать в свою очередь о том же, мои слушатели будут смеяться, так как тоже будут считать всё это невероятным». Ньюкомб был избран членом Русской Академии Наук и получил от нее премию имени русского астронома Шуберта за достижения в области математической астрономии. Он был также членом Русского Астрономического Общества, и некоторые из его трудов были переведены на русский язык. Ньюкомб был единственным из американских астрономов, портрет которого был помещен в знаменитой портретной галерее великих астрономов в Пулковской Обсерватории.

Ко второй половине девятнадцатого века относится также избрание в члены Американского Философского Общества знаменитого русского ориенталиста, профессора персидской словесности Казанского, а затем Петербургского университета А. Казем-бека. В молодости в Астрахани Казем-бек встретился с шотландскими миссионерами и под их влиянием перешел из магометанства в христианство, примкнув, однако, не к православию, а к пресвитерианской церкви. У тех же миссионеров, Казем-бек выучился английскому языку, которым владел в совершенстве. Живым доказательством этому служит его письмо с благодарностью за избрание, сохранившееся в архивах Американского Философского Общества. По словам одного из его биографов, Казем-бек владел одинаково шестью языками: персидским, арабским, турецким, русским, английским и французским и на всех этих языках писал и печатался.

Другой русский ориенталист, заинтересовавший Американское Философское Общество и избранный в его члены,

был академик Бетлинг, известный составлением словаря санскритского языка по поручению Русской Академии Наук.

В 1876 году в Филадельфии состоялось большое торжество: праздновался столетний юбилей независимости Соединенных Штатов, в ознаменование которого была устроена первая в Америке международная выставка, привлекавшая посетителей со всех концов света. Общее восхищение вызвали русские экспонаты, помещенные в главном здании выставки. Американская пресса отмечала, что великолепием своих драгоценностей, тканей, вышивок, мехов и кустарных изделий Россия затмила все остальные страны, участвовавшие в выставке. Впервые американцы получили полное и правильное представление о «северном колоссе», с которым их правительство продолжало поддерживать самые дружественные отношения. Всё поражало американцев в русском отделе выставки, но удивительнее всего оказалось, что большая часть русских экспонатов была изготовлена учениками русских технических школ. Американцы заинтересовались постановкой дела и методом обучения в русских технических школах, и московское Строгановское училище охотно поделилось своими достижениями в этой области. Результатом было открытие таких же школ в Америке, где преподавание было поставлено по русской системе.

Юбилейную выставку в Филадельфии посетил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеева интересовала в Америке постановка нефтяного дела и сталелитейные заводы Питтсбурга. Имя Менделеева и его современника, другого известного русского химика В. Марковникова, создавшего учение о взаимном влиянии атомов в химических соединениях, занимает почетное место среди иностранных членов Американского Философского Общества и Бостонской Академии. К концу девятнадцатого века в списке русских членов Общества появляются имена русских геологов — С. Никитина, А. Карпинского и Ф. Чернышева. Имя знаменитого русского геолога Карпинского, автора основ теории о месторождении руд и трудов о строении континентов, особенно прославилось в связи с его полемикой с американским палеонтологом О. Геем по поводу открытия Карпинским остатков древнего животного «геликоприона». Гей был также связан с Американским Философским Обществом, которое издавало его труды.

Имя знаменитого академика Ивана Петровича Павлова не только украшает списки иностранных членов Американского Философского Общества и Бостонской Академии. И. П. Павлов дважды посетил Америку, где у него были друзья среди ученых, Лучшим его другом был знаменитый американский физиолог, член Американского Философского Общества Вальтер Каннон. У него Павлов гостил, когда приезжал в Америку. В свою очередь Каннон был гостем Павлова, когда приезжал в Россию. В своей автобиографии «Путь исследователя» Каннон оставил ценные воспоминания о Павлове. Может быть ни один из русских ученых не был так популярен в Америке как Павлов. Почти в каждой американской лаборатории можно и сейчас увидеть оформленное наподобие страницы из библии предсмертное обращение Павлова к молодежи. В нем есть такие слова: «Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека».

Американское Философское Общество, основанное Франклином и долгое время служившее единственным научным центром Америки, первое в Новом Свете раскрыло свои двери для культурной связи с Россией. В течение двухсот с лишним лет его существования культурное сотрудничество соединяло его членов — великих людей России и Америки. Тридцать пять русских имен украшают списки его иностранных членов и будущий историк русско-американских отношений не сможет пройти мимо богатых архивов Филадельфии, запечатлевших одну из ярких страниц дружбы двух этих народов.

Е. Двойченко-Маркова

ЧЕРТЫ УТОПИЗМА В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ

1. Мы живем в век утопий. Несмотря на всё торжество положительного знания, необычайные успехи техники, развитие машинизма, несмотря на всю «позитивность» нашего времени, никогда еще в истории не была так сильна власть идей и именно утопических идей. Элементы утопизма проникают в научное и философское творчество, в обывательское сознание, подчиняют себе массы, приобретают порой черты настоящего психоза. Явление это стало сейчас повсеместным, оно вышло далеко за пределы Европы и всё более захватывает внеевропейские континенты. По истине, мы живем в век утопий.

Утопические искания, некая одержимость несбыточными планами, вспыхивали в истории человечества не раз, но две мировые войны, повлекшие за собой колоссальные разрушения повсюду, создали особенно благоприятную почву для того упадка исторической и жизненной трезвости, который толкает психику в сторону фантастических ожиданий и утопических грёз. Не всегда эта склонность к созданию фантазий и утопий переходит в какое-либо революционное действовање, но при крайней возбужденности и психической заостренности последнего времени неревлюционные утопии остаются просто выражением чудачества, маниловщины, влияние же и успех имели и имеют именно те утопии, которые тяготеют к революционному действованию, к тому, чтобы переменить «курс» истории. Утопии вообще антиисторичны и внеисторичны, но когда они хотят овладеть потоком истории с помощью насилия, в них вдруг с необычайной силой выявляется демоническая стихия.

Весьма любопытно, что в античном мире, которому не был чужд дух утопизма, утопии были немногочисленны. Настоящий расцвет утопических настроений наблюдается только в христианскую эпоху, может быть вследствие эсхатологической установки христианства — обращенности сознания к «концу» истории. Во всяком случае, как показывает история

утопических построений¹, в Западной Европе уже к концу средних веков возникают первые утопии. Последующие столетия оказались прямо заполнены утопиями — вплоть до настоящего времени.

В настоящем этюде я имею в виду коснуться того, как в истории русской мысли проявился дух утопизма. Мы получили прививку этого яда с Запада, но раз войдя в русское сознание, утопическая установка окрепла в нем, найдя, очевидно, благоприятную почву для своего развития.

2. Утопическое сознание просыпается в России только в XVIII веке (если не вспоминать о Москве — «Третьем Риме»). XVIII век был в России веком секуляризма, т. е. окончательного отрыва от бывшего церковного мировоззрения, определявшего всецело жизнь русских людей до середины XVII века. Начиная с эпохи Петра Великого, нарождавшаяся тогда русская интеллигенция стала перед задачей построения нового, внецерковного мировоззрения, и на этом пути она оказалась в глубочайшем плену у западной мысли. Только к концу XVIII века русское сознание начинает медленно отрезвляться от чар западной культуры, и тут и начинаются поиски новой идеологии, которая могла бы ответить на все запросы духа. Одними владела социально-политическая тема (Татищев, Щербатов, Радищев), других увлекают вопросы просвещения и культуры (Новиков), некоторых занимают вопросы духовного порядка (русское масонство XVIII века в его разных разветвлениях). Особо стоит русское вольтеррианство, из которого уже в XIX веке развился русский радикализм, позже перешедший в нигилизм.

Во всех этих течениях начинает постепенно формулироваться утопическое сознание, начало его можно возводить уже к Тредьяковскому с его «Телемахидой» (перевод, скорее переложение известного сочинения (утопии) Фенелона «Путешествие Телемаха»). После этого в русской литературе XVIII века начинается усиленное развитие утопических идей — умножаются переводы с иностранных языков («Утопия» Томаса Мора появилась например в русском переводе уже в 1789 г.), появляются первые пробы русских утопий («Путешествие в Офирскую землю» Щербатова). В знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева в разных местах звучат утопические ноты.

¹ Для общего ознакомления с различными утопиями полезна недавняя книга Prof. Ruyer. *L'utopie et les utopies*. Paris, 1950.

Новый оттенок привносится сюда тем «эстетическим гуманизмом», который занесли нам из Германии Карамзин и Жуковский, но эстетический гуманизм скоро становится нашим собственным, найдя обильное питание в эстетических исканиях русских людей. Даже в русском масонстве (как это впервые отметил П. Н. Милюков в своих «Очерках по истории русской культуры») начинают звучать утопические ноты. Все эти искания «конечного совершенства» во внешней и внутренней жизни XVIII век завещал XIX веку, и действительно в XIX веке у нас пышно выявляется утопическая структура духа в самых различных областях.

Само по себе отсутствие исторической трезвости, столь характерное для утопического сознания, не связано, конечно, с умственной близорукостью или каким-то умственным затемнением; тут дело совсем в другом — в настойчивом искании путей *к решительному и быстрому осуществлению идеала в жизни*. Высокая напряженность духовных исканий как бы отодвигает холодный контроль рассудка, освободившись от которого творческая сила уходит в построение несбыточных планов. Часто это переходит в чистую маниловщину (напр. в учении кн. Кропоткина о «мирном анархизме», отчасти в учении Л. Н. Толстого о преображении жизни через «непротивление злу»), но та же утопическая установка легко может склониться и к революционным планам, что у нас и случилось. У нас (как и на Западе) стала развиваться *общая утопия революционизма*, родилось то поклонение «кумиру революции», о котором так хорошо писал С. Л. Франк в своей книге «Крушение кумиров». Жажда вмешаться в ход истории, замысел подчинить развитие истории определенному плану — это не что иное как *руссоизм*, всё более проникающийся демонической стихией, первые проявления которой мы находим уже во французской революции.

3. Идею структуру утопического сознания лучше других анализировал П. И. Новгородцев в своей известной книге «Об общественном идеале». В утопическом сознании, по мысли П. И. Новгородцева, мы имеем дело с исканием конечного, абсолютного устройства жизни, *в котором должна завершиться история*; иначе говоря, то всецелое преобразование жизни, о котором тоскует сердце человеческое, может быть осуществлено для утопизма в каком-то «прыжке» из царства необходимости в царство свободы (формула Маркса), в прыжке из царства относительного, вечно меняющегося исторического

бытия в царство, в котором уже не будет иметь место этот закон изменчивости и эволюции. В сущности это есть чисто эсхатологическая установка, *устремленность к концу истории*², и в этом, по Новгородцеву, и заключается идейная ошибка всякого утопизма, который не различает абсолютного и относительного, хочет вместить в историю то, что по своей сути сверхисторично, что не знает «развития» и «изменения». Все утопии суть утопии *земного рая*, некоей абсолютизации в пределах исторического бытия. «Истинное понятие о безусловном идеале относит мысль о его всецелом осуществлении *за* пределы конечных явлений», справедливо пишет Новгородцев, и это значит, что функция идеала в нашем сознании должна оставаться во всей силе, как направляющая сила творчества, но без мысли о том, чтобы вместить этот идеал во всей его цельности в историческое бытие. Так как по своей природе историческое бытие изменчиво, то навязывание ему идеального содержания переходит либо в чистый *революционизм*, т. е. насильственное и противоестественное насаждение «земного рая», либо в ту или иную *магическую конъекцию*. Как мы увидим дальше, в русском утопизме обе эти формы проявились в полной силе. В обоих случаях мы имеем дело с *перерывом* в естественном ходе истории, с скачком из порядка изменчивого бытия в порядок неизменного бытия. Мы увидим дальше, что эта идея *скачка* в истории получила необычайное развитие уже у Маркса, и она же оказалась условием для расцвета демонической стихии в русском марксизме, стала идейным основанием того неслыханного террора, который всё еще не затихает в русской жизни...

4. Обратимся прежде всего к социально-политическому утопизму. Мы не будем останавливаться на чисто политической утопии анархизма, который у русских мыслителей (кн. Кропоткина и Л. Толстого) получил преимущественно форму «мирного анархизма» — только у Бакунина, да у русских его последователей анархизм получил революционный характер. Чистый политизм вообще, за редким исключением, не характерен для русской мысли — над всем сказывается власть социальной темы, «примат социального над политическим», по известному выражению Герцена.

Социальные искания в русской интеллигенции проявля-

² Это есть, по существу, конечно, чисто религиозная идея, развитая христианством. В новейшей же философии учение о «конце истории» принадлежит, как известно, Гегелю.

ются уже в XVIII веке — то на почве идей «естественного права» (напр. у Радищева), то на почве чистого гуманизма. Всё это как бы предваряет то яркое развитие социального идеализма, который стал характерной чертой русской интеллигенции XIX века. В этом отношении особенно типична история духовных мечтаний Герцена, который начал с чисто политических мечтаний. Не случайно ведь то, что он всю свою жизнь за границей принимал чрезвычайно деятельное участие во всех политических движениях на Западе. Однако и в это время движущей силой всего его творчества был социальный мотив. Он сам напр. признает, что для него «слово республика имело тогда *нравственный смысл*», т. е. политическая сторона была для него выражением моральных, в данном случае социальных исканий.

Как известно, именно на этой почве Герцен пережил чрезвычайное разочарование на Западе, он почувствовал такое отвращение к «мещанству» на Западе, к мелочности и бессердечию тамошней жизни, что он, по его признанию, «был на краю нравственной гибели». В этот тяжкий период своей жизни Герцен обращает свои взоры к русской общине, о которой столько говорили уже тогда славянофилы, и им овладевает утопическая надежда на русскую общину, он становится родоначальником и вдохновителем русского народничества. Герцен теперь живет верой в то, что общинный строй, сохранившийся в России, может лечь в основу преобразования всего социального порядка. «Какое счастье для России, писал Герцен, что сельская община наша не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной. Если Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту, то Россия не так неспособна (!), — на этом основана наша вера в ее будущее». Герцен теперь проповедует «русский социализм» — под этим надо разуметь «тот социализм, который исходит от общинного владения и общинного управления и идет таким образом навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще». Тут кстати привести слова Самарина о том, что «в русском общинном строе уравниваются те два начала, разъединение которых и кладет преграду для движения к социальному идеалу: начало личное, начало обособления (индивидуализм) и начало справедливости, начало равенства».

Это воспевание русской общины, формируя утопическое сознание, пока еще чуждо революционизма, — на первом плане здесь выступает *идея возможности* пойти, в движении к со-

циальной правде, иным путем, чем шел Запад. Здесь огромное значение в диалектике идей принадлежало тому историческому алогизму, который с таким блеском и убедительностью развивал Герцен. В его системе еще не было надобности в *идее прыжка*, в идее скачка, так как он отвергал историософский детерминизм.

В русском народничестве, как оно стало развиваться после Герцена, утопический характер тех ожиданий, которые были обращены к русской общине, как бы закрывался тем, что общинный строй *уже* существовал в русской жизни (как база для преобразования социальных отношений). «То, что *представляется утопией* в другой стране, писал Чернышевский, то существует (в России) как факт». Почти в тех же словах писал о русской общине Н. К. Михайловский: «Рабочий вопрос в Европе, писал он, есть вопрос революционный, ибо для передачи условий труда в руки рабочих он требует экспроприации теперешних собственников. В России же вопрос рабочий есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только сохранение нынешнего строя». Аналогичные мысли находим у Л. Толстого. «Мы в России, писал он, находимся в том счастливом положении, что огромное большинство нашего народа, живя земельным трудом, не признает земельной частной собственности и требует уничтожения этого старого злоупотребления. Я думаю, что разрешение этого великого всемирного греха, разрешение, которое будет эрой в истории человечества, предстоит именно русскому, славянскому народу, предназначенному для этого великого всемирного дела». Как видим, у Толстого его утопические упования соединяются даже с своеобразным мессианством, как это было и у Достоевского, заплатившего большую дань утопической установке духа: «Если я вижу где зерно или идею будущего, писал он, — так это у нас в России — потому что у нас уцелел в народе принцип, что для него земля есть всё... в силу чего он сохранил и такую вещь, как община».

5. Русское народничество в том *идиллическом* облике, который мы находим в идеализации общины, недолго стояло на принципе примата социального над политическим. В русское народническое движение довольно рано (уже у Чернышевского) входит стихия революционизма, и народнический утопизм постепенно становится подлинно *демоническим утопизмом*³.

³ Я беру этот термин у С. Л. Франка (см. его книгу «Свет во тьме»).

Народническая утопия, преобразованная в социал-революционное учение, постепенно теряла в сознании многих свой кредит. Это разложение народничества не убило однако самой социальной утопии, и рядом с революционным народничеством (первоначально даже в прямой борьбе с революционизмом его) возникает движение русского марксизма, возглавлявшееся с самого начала Г. В. Плехановым. Но прежде чем перейти к нему, упомянем еще о религиозной социальной утопии «общественного христианства», впервые провозглашенной Влад. Соловьевым и воскресившей те же утопические ожидания, какие были в народничестве — только в иной окраске. С наибольшей яркостью эти грёзы о христианской общественности, противопоставляемой христианскому индивидуализму (с его сосредоточением на проблеме «личного спасения»), развивали у нас Мережковский, Тернавцев, некоторое время ими увлекался Бердяев. «Наступило время — провозглашал Тернавцев — открыть сокровенную христианскую правду о земле», а Мережковский противопоставлял «безнадежной противообщественности исторического христианства» «освященную общественность». Всё сосредоточивается здесь в ожидании «нового откровения»... Впрочем и в это течение проникла демоническая стихия революционизма — говорим о возникшем в 1905 году в Москве «союзе христианской борьбы», которому отдали временную дань Флоренский и Булгаков, Эрн и Свенцицкий.

Переходим к русскому марксизму.

6. Но сначала два слова о марксизме Маркса. В классическом марксизме надо отчетливо различать экономическое учение и социалистическую утопию, опирающуюся на это учение. Яркая и блестяще документированная первая часть, завершающая почти вековую работу экономической мысли, вскрывает «железный закон» экономического развития, разрисованный однако по схеме гегельянской диалектики. Как бы критически ни относиться к экономическому учению Маркса, нельзя не признавать огромной научной ценности его работы. Основная схема Маркса о развитии форм экономической жизни остается и ныне бесспорной, хотя нельзя считать бесспорными разные иные учения — о «прибавочной стоимости» и т. п.

Еще менее бесспорно то историсофское обобщение, которое принято называть «историческим» (или экономическим) материализмом и согласно которому весь динамизм исторического процесса связан только с «производственными процессами», говоря общее — с экономическим процессом. По схе-

ме исторического материализма, все остальные стороны исторической жизни оказываются зависимыми от экономической сферы, являются «надстройками». Нам нет надобности сейчас входить в обсуждение всей этой историософской схемы, весьма шаткой в своих основаниях и совершенно неприемлемой и неверной в учении о «надстройках». Но, конечно, как некое историософское обобщение, оно имеет право на существование, как научная гипотеза или научное построение.

Совсем иное надо сказать о той социалистической утопии, которую Маркс развил на основе своих экономических идей. В *этой* своей части марксизм вовсе не отличается от так наз. «утопического социализма», который впрочем строил свои утопические концепции, действительно не сообразуясь с тем, как фактически складывается развитие экономической жизни. То, что Маркс создал учение о внутреннем детерминизме в экономической сфере, выгодно отличает его учение от построений Фурье, Кабе и др. Но если фундамент социалистической утопии Маркса оказался солидным, то это вовсе не обозначает, что его социалистическое учение о будущем «царстве свободы» вытекает из его экономического учения. То, что капитализм раздирается внутренними противоречиями, дает поляризацию капитала и труда, вовсе не заключает в себе *никакого* основания для того, чтобы считать, что следующая стадия экономического развития будет заключаться в полном крушении (*Zusammenbruch*) капитализма и в «обобществлении средств производства». Маркс совершенно не учел того, что в известной степени определялось его же учением, — о возможности развития *социального реформизма*, — он с головой ушел в мечту о скорейшем, если не немедленном, переустройстве социального строя. Момент утопизма, столь резко отброшенный им (в критике утопического социализма), через эту его мечту, которой он был одержим, изнутри изменил всё его построение. Не входя в большие подробности, укажем на самое главное, на то, в чем за ним последовали Ленин и иже с ним.

Маркс унаследовал от Гегеля учение о конце истории, как завершительной ее фазе, как «царстве свободы», когда кончится всякая социальная борьба и наступит не могущий быть измененным новый социальный строй. Но если у Гегеля с его учением о смысле истории, как самораскрытии Абсолютного Духа, эта идея «конца истории» связана была с логически постепенным и исторически непрерывным переходом от «необходимости» к свободе, от истории к метаистории, то у Марк-

са получилось здесь глубочайшее противоречие идеи о «конце истории» с тем *натурализмом*, который он исповедывал и который знает только бесконечную эволюцию. Нечего удивляться, что Марксу пришлось ввести понятие «скачка», чтобы связать естественное течение истории с ее уже стабильной стадией, завершающей историю. Царство необходимости должно как-то свернуться и уступить место царству свободы, что и предполагает «скачек». Это уже явно утопическое понятие; его корни лежат в общей установке революционизма, т. е. в конечном счете восходят к Руссо с его антиисторизмом. Царство свободы у Маркса *устраняет историю*, начиная новый порядок жизни; нечего удивляться, что у Маркса и в его «Коммунистическом манифесте» в дальнейших построениях — в качестве фактора, создающего «скачек» от истории к метаистории, выступает революционное сознание, проникнутое классовой ненавистью. Чутьем умного человека Маркс понимал, что на пути «естественного» хода истории не может быть никакого скачка, поэтому его утопическая устремленность к «царству свободы» неизбежно опиралась на *революционное сознание*, выводящее уже за пределы истории. Через эту «щель» в его идеологию широкой волной вливалось утопическое сознание...

То «безклассовое общество», которое не будет знать никаких экономических противоречий, и есть тот утопический идеал, который ничем сам в себе не отличается от аналогичных построений разных утопистов, — только у Маркса есть видимость «необходимости» конечного строя, которая затемняла и доныне затемняет сознание людей — говорим «видимость», потому что без революционного скачка, т. е. без разрыва исторической ткани обойтись марксизму невозможно.

Ничто так ясно не вскрывает весь утопический смысл этого «скачка» в «царство свободы», как тот опыт революционного его насаждения, какой мы видим в Советской России, где в действительности вместо царства свободы мы видим господство насилия, вместо бесклассового общества — острейшее противопоставление господ положения (коммунистической партии) и рабов (всего населения), где вместо «обобществления труда» и исчезновения противоположности труда и капитала мы находим государственный капитализм, в котором государство беспощадно эксплуатирует рабочих... Такова историческая реальность советского строя.

7. Ранний русский марксизм, представленный Г. В. Плехановым, стремился быть верным основным принципам марк-

сизма, но, как известно, «меньшевизм», ожидавший постепенного «созревания» классовых противоречий, отступил перед большевизмом, в котором идея революционного скачка приобрела невероятные размеры, окончательно окрасив марксизм в утопические тона. Это и есть новейший русский марксизм.

Философски русский марксизм завуалировал свою утопическую суть в «диалектический материализм» — между тем как раз *никакой диалектики в «скачках»*, столь нужных и дорогих для революционного насаждения коммунизма, *нет*. При самом пылком воображении никак нельзя диалектически вывести из социального строя России в 1917 году тот порядок, который установила коммунистическая революция, — тут просто нет никакой связи, а есть чистая революция, чистый скачек. И то, что новый порядок, созданный революцией, до сих пор может держаться только насильем и не допускает ни в малейшей степени свободы, то, что вместо социального равенства наступило перерождение всей системы в полицейский режим, в систему чудовищного бюрократизма, что на путях удержания власти в своих руках революционная верхушка не останавливается перед самым ужасным террором, — всё это уже не просто страшная власть утопизма, а превращение его в чистый демонизм. Крушение «утопии земного рая» и состоит как раз в вырождении марксизма либо в чистый социальный реформизм⁴, либо в чистый, можно сказать, перманентный революционизм.

Справедливо было сказано Н. А. Бердяевым, что советский режим превратил социалистические грёзы в настоящий *титанизм*, предоставив чудовищную власть диктатору, от воли которого зависит и личная жизнь населения и хозяйственная и даже идейная его жизнь. Можно сказать, что в социальном революционизме в России окончательно разоблачен социальный утопизм; всякое насильственное вмешательство в ход истории и есть как раз попытка вместить абсолютное в сферу текущего бытия, что, как мы видели, и образует идейную суть утопизма.

От социально-политической утопии неомарксизма перейдем к другим проявлениям той же установки, — только в этих утопиях «скачок» имеет черты не внешнего революционного

⁴ Этот процесс превосходно изображен П. И. Новгородцевым в его книге «Об общественном идеале».

действия, а получает характер *магического* преобразования отдельных душ или всего исторического бытия.

8. «Магические» концепции, создавшие условия для развития утопического сознания вне социально-политической сферы, почти все были связаны у нас с вопросом о власти и силе *красоты*, о действии *искусства* на душу человека. Тут тоже идет речь о преобразении исторического бытия, но не о внешнем, а внутреннем изменении самого человеческого существа.

Первые пробы в построении эстетической утопии принадлежали Гоголю. Уже в ранних своих произведениях (особенно в «Тарасе Бульбе») Гоголь отмечал высокую *динамичность* эстетических переживаний, могущих совершенно перевернуть весь психический строй человека (образ Андрия в Тарасе Бульбе). Но когда Гоголь написал «Ревизора», им овладела странная, чисто утопическая мысль, что постановка этой вещи на сцене, может совершить некое чудо в душах зрителей, одушевить всех Сквозник-Дмухановских, Тяпкиных-Ляпкиных и т. д. желанием измениться и стать честными людьми. «Ревизор» был прекрасно разыгран на сцене, но, конечно, никакого «чуда» не произошло и Гоголь сразу почувствовал всю иллюзорность своего ожидания. Его утопические надежды быстро угасли, им овладела невыразимая тоска, он неожиданно уехал за границу, чтобы «развеять свою тоску». Тогда-то в душе Гоголя и начался глубокий духовный перелом, закончившийся расцветом в нем религиозной жизни. Но его эстетическая утопия до конца дней держалась в его душе⁵, он продолжал жить верой, что искусство может преобразовать души...

Во всех этих его преувеличенных ожиданиях, в надежде, что в искусстве таятся силы, могущие вызвать глубокий перелом в душе и создать «нового человека» — и заключалась утопическая установка, своеобразное учение *о магическом* действии искусства. Отметим тут же, что Гоголь первый в русской литературе отметил расхождение путей эстетической и моральной жизни, первый отошел от того наивного эстетического гуманизма, который пустил глубокие корни в русской душе. Тем ярче выступает у Гоголя его утопическое ожидание, что через искусство можно преобразить жизнь.

Нельзя не сопоставить эту утопическую концепцию Гоголя с позднейшей утопией Скрябина, который под конец жиз-

⁵ См. подробности в моем специальном этюде: Gogol's aesthetic Utopie (Ztsch. f. Slav. Philologie).

ни весь ушел в фантастическое верование, что должна быть написана такая музыкальная «мистерия», которая преобразит всё космическое бытие, преобразит человеческие души. Как известно, Скрябин успел написать лишь «предварительное действие» к этой будущей музыкальной мистерии...

Всё это не является каким-то чудачеством больших деятелей искусства; все эти утопические ожидания уходили своими корнями в размышления их о том, как перестроить мир, как преобразить человеческие души, чтобы достигнуть «конечного совершенства» — тут налицо та же потребность превратить относительное бытие в абсолютное, текучее, вечно меняющееся, неверное бытие сделать носителем вечной правды и силы...

Мы не раз упоминали об эстетическом гуманизме в русской культуре. В основе этого очень влиятельного в русском сознании направления лежала преувеличенная оценка эстетических переживаний и их значения в динамике души (всё это питалось от Шиллера, особенно от его знаменитых «Писем об эстетическом воспитании»). Жуковский, Гоголь, Станкевич, Белинский, Герцен, Михайловский, Достоевский, не говоря уже о разных *dii minores*, прошли через «шиллеровщину», через убеждение, что в красоте скрыта «спасающая сила». Известные слова Достоевского (в «Идиоте») — «красота спасет мир» — стоят в теснейшей связи со всеми этими течениями в русской мысли. Один из очень тонких, хотя и мало себя проявивших русских шеллингианцев, Аполлон Григорьев писал, что «одно художество вносит в мир новое, органическое», т. е. что только через эстетическую сферу происходит преображение души. А Достоевский, до конца жизни сохранивший утопические ожидания от действия красоты, писал в «Дневнике Писателя» меланхолично, что «величайшая красота... обращается ни во что единственно потому, что всем дарам человека не хватило гения, чтобы управить этим богатством». Так фактическое бессилие красоты и искусства в преображении жизни объясняется у него лишь нашим неумением «управить нашим богатством»...

Ближе к жизни, ближе к реальным условиям жизни души стоит построенная уже в XX веке эстетическая утопия Б. П. Вышеславцева (в его замечательной книге «Этика преображенного эроса»). Вышеславцев развивает теорию (построенную на данных новейшей психологии) о «преображающей силе прекрасного образа». Процессы сублимации, освобождающей душу от низких душевных движений (особенно в сексу-

альной сфере), по Вышеславцеву, открывают простор для высшей духовной деятельности, для подлинного творчества. Сублимация, по этой теории, и таит в себе ключ к «преображающей силе прекрасного образа». Особенно интересно и вдохновляюще у Вышеславцева его учение о сублимации свободы, о поднятии ее от естественной «спонтанности» к творческому преобразению жизни. И всё же это типическая утопия, типическая установка на «магическое» действие красоты, искусства. Когда-то Глеб Успенский в удивительном отрывке «Выпрямила» (в «Записках Тяпушкина») писал тоже о «преображающем» действии искусства (в частности при созерцании Венеры Милосской) на душу человека... Всё это как-то близко к истине, — но во всем этом есть незаметный уход в утопическое ожидание, что через действие красоты или искусства может произойти подлинное и окончательное («спасающее») преобразование человеческой души.

Наконец не тем же ли эстетическим утопизмом отмечена прославленная и действительно гениальная статья Владимира Соловьева «О смысле любви»? Кн. Евгений Трубецкой назвал построения Вл. Соловьева «эротической утопией», но сам эрос у Соловьева возводит нас к вечной красоте, т. е. эрос является эстетизирующей силой...

Эстетический утопизм, упорно живущий и постоянно возрождающийся у русских мыслителей, не ищет внешнего революционного «скачка» — но *и он весь держится на ожидании иного «скачка»* — внутреннего, магически преобразующего человека. И здесь нужен не труд, не работа над собой, не трудовое восхождение к идеалу, а энтузиастический подъем и упоение красотой, что и создает «нового человека»⁶.

9. Утопическая установка прорвалась еще в двух сферах русского творчества — в религиозной и педагогической мысли. Не входя в изучение религиозной мысли в России, в виду большой сложности этой темы, упомянем лишь об утопических мотивах в религиозных течениях XVI и XVII в. В XIX в. особенно ярко проявилось утопическое умонастроение у Н. Ф. Федорова, отчасти у Толстого и Достоевского.

Что касается педагогической мысли, то еще в эпоху Екатерины II русские педагоги (напомним о Бецком) впадали в искушение путем воспитания создать «нового человека». Имен-

⁶ Эстетический утопизм с огромной силой проявился и в русском символизме, в интереснейших его мечтах. Но это особая тема, требующая специального исследования.

но в этом разрезе надо толковать и образ идеального учителя во II т. «Мертвых душ». Но самым ярким проявлением педагогического утопизма было то направление, которое создал Толстой с его верой в «естество» души: задача педагога по Толстому состоит только в том, чтобы не мешать юной душе найти себя, не загромождать детское сознание всей той ложью, которой насыщена наша цивилизация. Педагогическое толстовство, как известно, закончилось крахом (я имею в виду главным образом т. наз. «Дом свободного ребенка»), но мотивы педагогического толстовства жили и живут в русской педагогической мысли. Один из последователей Толстого — Венцель — писал: «ребенок нуждается в великой хартии свободы... ребенку должна быть гарантирована та свобода, какой пользуются взрослые члены семьи». А редактор журнала «Свободное воспитание» Горбунов-Посадов, договаривая до конца утопические надежды педагогов, высказывал общую мысль, что через реформу воспитания станет возможной и реформа жизни. По слову Венцеля «истинный ключ к прочной и устойчивой организации общественного строя на новых началах — в свободном воспитании...»

Обилие утопических построений в истории русской мысли, постоянное возвращение к ним позволяют утверждать, что дух утопизма не есть случайное явление в русской культуре. Тот же факт, что в русском утопизме с страшной, можно сказать, роковой силой проявилась демоническая стихия, что идея революционного скачка и насильственного изменения хода истории до сих пор не потеряла своей власти над русскими умами, — всё это заставляет с особой вдумчивостью отнестись к анализу утопизма вообще. Не будем однако думать, что дух утопизма есть болезнь только русских людей: перед нами *общее заболевание европейского духа*. Если в русском утопизме и есть специфические черты, то общей основой утопических построений являются: нетрезвость мысли, соблазн революционизма, надежда на возможность насильственно направить ход исторической жизни. А то, что мы пережили за последние десятилетия, учит нас простой истине, что путь к идеалу, к перестройке жизни есть путь *трудоустрой*. Исторический прогресс, подлинная «реформа бытия» (как выражался С. Л. Франк) предполагает — столько же устремленность к идеалу, сколько и непрерывный труд без грубой ломки сложившихся форм жизни.

Прот. В. Зеньковский

ПЕРЕСМОТР УСТАВА ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Предстоящая десятая сессия Организации Объединенных Наций отличается от предшествующих тем, что один специальный пункт ее повестки заранее предусмотрен Уставом ООН. Пункт 3 ст. 109 говорит, что, если конференция для пересмотра Устава «не состоится до десятой ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи,... предложение созвать такую конференцию включается в повестку этой сессии». Включение в повестку еще не означает, конечно, положительного решения вопроса о созыве конференции, для чего требуется «простое большинство голосов членов Генеральной Ассамблеи и голоса любых семи членов Совета Безопасности».

Очередной сессии ООН таким образом предстоит высказаться о необходимости созвать конференцию для пересмотра Устава ООН или сохранить Устав в том виде, в каком он был выработан и одобрен десять лет тому назад в совершенно другой исторической обстановке. Вопрос о созыве конференции для пересмотра Устава ООН, конечно, не тождественен с вопросом о жизнеспособности самой организации. Но оба они внутренне между собой связаны и, в известном смысле, — неразделимы.

Устав ООН не представляет собой «монолита». Он сочетает многие и даже противоположные взгляды. Только статьи 108 и 109, предусматривавшие возможность поправок к Уставу и общего его пересмотра, примирили с ним «обойденных» участников ООН, получивших основание надеяться, что привилегии и, в особенности, право вето «великой пятерки» будут отменены или серьезно ограничены. «В виду множества аномалий в Уставе, будет трудно обеспечить поддержку Устава без определенного предусмотренного порядка его пересмотра», говорил делегат Бельгии на конференции в Сан-Франциско в 1945 г. Текст Устава был отредактирован наспех, противоречиво

и технически неудовлетворительно, — ниже уровня, на котором обычно редактируются подобные документы. Это тогда же было отмечено британским лорд-канцлером Джовит. Позднее то же подробно доказал знаменитый Ганс Кельсен в своем монументальном комментарии «Право Объединенных Наций» (*The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems*. 1950)¹.

За десять лет существования Устав ООН в значительной мере устарел: одни статьи не проявили признаков жизни, иные отмерли и уступили место другим, не предусмотренным в Уставе. Да и могло ли быть иначе, когда при утверждении Устава предполагалось согласованное руководство ООН (и миром) «пятеркой»; когда человеческое сознание еще не было потрясено угрозой термо-нуклеарной стихии; когда система колониального управления еще не треснула по всем швам; и когда специальные «агентства» при ООН не оттеснили на второй план Генеральную Ассамблею и даже Совет Безопасности? Государственный секретарь Доллес говорил в 1953 г.: «Устав ООН относится к до-атомной эпохе. И в этом смысле он уже устарел до того, как фактически вошёл в силу».

За минувшие годы Генеральная Ассамблея стала адресовать свои «рекомендации» не только членам ООН, как то предусмотрено ст. 10-й, но и государствам или образованиям, не входившим в ООН. Вопреки ст. 15, Генеральная Ассамблея не получала ежегодных отчетов от Совета Безопасности и некоторых других «органов» ООН. Согласно ст. 20, Ассамблея должна была собираться на очередные сессии. Фактически же Генеральные Ассамблеи продолжали действовать в течение круглого года. Ст. 23 предусматривала избрание непостоянных членов Совета Безопасности с учетом «в первую очередь, степени участия членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также по справедливому географическому распределению» (ст. 23, п. 1). В действительности же «первая очередь» совершенно отпала, и выборы производились исключительно по географическому признаку. Всё это, конечно, ничто по сравнению с тем, что к осуществлению ст. 26 и 43-50, предусматривавших

¹ В статье в "New Leader" 27 авг. 1951 г. Ганс Кельсен повторно воспроизвел свою низкую оценку Устава ООН как «несомненно одного из наиболее двусмысленных документов, когда-либо отредактированных в международном праве».

организацию вооруженных сил и Военно-Штабного Комитета для обеспечения коллективной безопасности и противодействия угрозам и нарушению международного мира, ООН даже не приступила. Между тем это составляло сердцевину ООН, ее главный смысл и назначение.

В небольшой, но очень содержательной статье “*The General Review Conference*”, помещенной в *International Organization* (т. 8, № 3 за 1954 г.), Я. Д. Робинзон насчитал двадцать четыре статьи Устава, которые за восемь лет частично или полностью устарели, стали беспредметными или были изменены. К этому перечню надлежит добавить не менее шести статей, которые были обойдены или истолкованы так, что несогласное меньшинство считало применение их прямым нарушением буквы и духа Устава.

С явным нарушением Устава были продлены полномочия генерального секретаря ООН Тригве Ли: без требуемой согласно ст. 97-й «рекомендации Совета Безопасности». Еще более радикальным обходом Устава, изменявшим всю структуру ООН, было принятие Ассамблеей, по предложению государственного секретаря Ачесона, знаменитой «резолуции объединения в интересах мира» (*Unity for peace resolution*). Эта резолюция 3 ноября 1950 г. была вызвана бездейтельностью Совета Безопасности, который был под бойкотом представителя СССР с момента нападения Северной Кореи на Южную. Резолюция уполномочивала Генеральную Ассамблею, созываемую в 24 часа в случае угрозы миру, его нарушения или акта агрессии, — «делать нужные рекомендации» для применения вооруженных сил, чтобы поддержать и восстановить мир и безопасность. Тем самым на Генеральную Ассамблею переносилась обязанность, возложенная Уставом на Совет Безопасности. Перемещался центр тяжести всей ООН. И осуществлено это было путем истолкования п. 2 ст. 11-й в прямом противоречии с указанным в ст. 10-й ограничением компетенции Ассамблеи. Кельсон назвал эту резолюцию — «успешной революцией» в системе ООН. Она, по его мнению, «установила новую систему коллективной безопасности».

Однако, и после принятия этой резолюции, без технической возможности осуществить в жизни свои «рекомендации», ООН обречена оставаться бессильной противодействовать агрессии и обеспечить взаимную международную безопасность коллективными мерами, — как то было и до 3 ноября 1950 г.

* * *

Пересмотр Устава ООН имеет уже свою историю. Этот вопрос был поднят два года тому назад делегациями Аргентины, Голландии и Египта и подвергся обсуждению в 6-ой комиссии 8-ой Генеральной Ассамблеи. Инициатива встретила более чем сдержанное к себе отношение. Одни (советский блок) отнеслись отрицательно; другие (большинство) предпочли до времени не занимать определенной позиции; и только немногие — во главе с США — поддержали предложение о созыве конференции.

Еще при обсуждении проекта Устава в 1945 году Молотов заявил, что советская делегация «против обязательности созыва конференции для пересмотра, в котором впоследствии может не оказаться нужды». И когда на 8-ой Ассамблее и в ее комиссии обсуждался вопрос о включении в повестку пункта о подготовительной работе для созыва такой конференции, советский блок дружно голосовал против. Советский Союз опасался как бы конференция не отменила или не ограничила любезного ему права вето, или требования «единомыслия» постоянных членов Совета Безопасности, на которых Устав возложил «главную ответственность» за поддержание мира и обеспечение безопасности.

Ряд государств Центральной и Южной Америки придерживались противоположного взгляда. Именно потому, что конференция открывала возможность осуществить то, на что многие члены ООН рассчитывали при утверждении Устава, то-есть, что вето не навсегда сохранится в системе ООН, — они были за созыв конференции и пересмотр Устава. Администрация США, повидимому, стоит за созыв конференции с целью некоторого ограничения права вето: при решении вопроса о приеме в ООН новых членов (ст. 4 п. 2), при назначении Генерального Секретаря Организации (ст. 97) и при процедуре мирного разрешения международных споров (ст. 33-38). Во всех «блоках», сложившихся в ООН, если не считать советского, — в азиатско-африканском, латино-американском, британо-имперском, арабском, — всюду имеется разномыслие по поводу целесообразности пересмотра Устава, а потому и созыва конференции.

Как бы то ни было, США, Голландия и Дания уже приступили — каждое правительство независимо от других — к разработке проектов о пересмотре Устава. Большинство же,

в том числе Англия и Франция, выжидают, не связывая себя тем или иным решением. Точно отдавая дань господствовавшим в ООН настроениям, и Я. Д. Робинзон, юрисконсульт и член делегации Израиля, закончил свою статью «агностически» — без определенного вывода в ту или другую сторону.

Сейчас, накануне 10-ой сессии ООН, политический климат, по всеобщему признанию, как будто улучшился. Тем не менее отношение к созыву конференции для пересмотра Устава и к самому его пересмотру отнюдь не стало положительным. Наоборот, среди противников или скептиков продолжают оставаться старые и испытанные друзья ООН. По их мнению, за десять лет существования ООН еще не успела окрепнуть и продолжает быть настолько хрупкой, что способна распасться от одного прикосновения. Лучше, поэтому, не трогать Устав и не созывать специальной конференции. Ведь фактически ООН существует и живет — когда по Уставу, а когда и помимо него или даже вопреки ему. Жизнь сильнее буквы закона — государственного или международного.

Эта сентенция утешает и удовлетворяет многих из тех, кто, вместо решения проблемы, готов удовольствоваться ее отсрочкой.

* * *

И перед сенатской комиссией по иностранным сношениям США встал вопрос о целесообразности созыва конференции для пересмотра Устава ООН. По обыкновению Комиссия решила выслушать мнение ряда авторитетных лиц о полезности и своевременности пересмотра Устава. Среди приглашенных в первую очередь был б. президент Харри Труман, активный участник создания ООН и ее большой энтузиаст.

«Самый факт существования ООН после периода страшного международного напряжения значителен и обнадеживает», — говорил Труман 18-го апреля с. г. — «Я пойду дальше. Я считаю, что, если бы у нас не было ООН, события последних десяти лет снова ввергли бы мир в неограниченную международную войну. И тот факт, что такой войны нет, должен быть в значительной мере приписан существованию Объединенных Наций». Труман напомнил при этом, какие усилия пришлось ему употребить, чтобы добиться появления Молотова в Сан-Франциско для обсуждения и утверждения Устава ООН, к которой Сталин со времен Ялты успел совершенно охладеть. Труман привел и свои слова на заключительном за-

седании в Сан-Франциско десять лет тому назад: «великое чудо, что мы вообще имеем этот Устав». Обстановка 1945-го года благоприятствовала соглашению пятидесяти различных государств. «Сколь ни трудно это было, сколь ни несовершенны были результаты, — создать ООН в 1945 г. было много легче, чем это было бы сейчас».

«Устав подлежит улучшению, что справедливо в отношении всех документов, написанных человеческими руками. Но мы не должны недооценивать трудностей и опасностей, связанных с попыткой добиться улучшения в настоящее время. Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы не потерять того, что мы уже имеем в ООН, ибо то, что мы имеем, весьма существенно для международного мира». Практика ООН, по мнению б. президента, свидетельствует, что возможно «существенное изменение» Устава, — каким была «резолюция единения в интересах мира», — без того, чтобы подвергнуть риску самое существование ООН при попытке ее исправить.

Тем не менее Труман не высказался категорически против созыва конференции для пересмотра Устава, он предоставил это решение другим. «Я не думаю, что мы должны противиться созыву конференции для пересмотра Устава, если большинство государств того хочет. Я думаю только, что мы должны подходить к этому с осторожностью и полностью отдавая себе отчет в том, что при нынешних обстоятельствах может оказаться невозможным достичь каких-либо ценных изменений». Заслуживает внимания, что, говоря о происхождении ООН и ее положительных заслугах и ценности, Труман не обмолвился ни одним словом о *главном* назначении ООН — организовать систему коллективной и взаимной международной безопасности взамен прежней национальной самозащиты на основе военных блоков, раздела сферы влияний и равновесия сил. Только при таком опущении Труман мог сказать об ООН то, что он сказал, и быть убедительным.

Этого упущения не было в речи б. президента США — Херберта Хувера, приглашенного для дачи своих показаний той же комиссией сената тремя днями позже.

Хувер никогда не был энтузиастом ООН. Совсем недавно он, вместе с немногими другими, рекомендовал США выйти из ООН. Теперь он изменил свой взгляд, не отказываясь от критического отношения к ООН. В отличие от Трумана, Хувер подчеркнул, что смысл ООН был в «замещении (системы) рав-

новесия сил, специальных военных союзов и пережившей свое время дипломатии всемирным и объединенным коллективным действием». ООН, как и Лига Наций, была «продуктом идеализма, который не учел пагубного влияния, оказанного тоталитарными правительствами на мир. Воинственные и агрессивные по своей природе, эти правительства, тем самым, являются материалом непригодным для построения международного права и мира... После первой мировой войны, частью из страха перед коммунистической инфильтрацией и московской конспирацией, четырнадцать европейских государств повернулись в сторону фашистского тоталитаризма, — что исказило идею Лиги. И, рядом с провозглашенной в Ковенанте Лиги коллективной безопасностью, стремление к реальному обеспечению своей безопасности завело членов Лиги в лабиринт больше чем десяти военных союзов, перекрывавших один другой и распространенных на две трети населения всего земного шара». Немногим лучше обстоит дело и сейчас: ООН «не выполнила всех наших надежд на мир», и «мы не только не имеем мира, а имеем усилившуюся холодную войну». Тем не менее у ООН имеются и шесть достижений: в Иране, Кашмире, Индонезии, Палестине, Ливии и Южной Корее.

На возможность пересмотра Устава ООН в нужном направлении Хувер смотрит безнадежно: этому препятствует наличие советского вето в Совете Безопасности, согласие коего одно из условий легального изменения Устава. «Мир нуждается в перемене своей ориентации до того, как в Устав могут быть внесены поправки, идущие навстречу пожеланиям сотен миллионов людей на земле». Тем не менее, — «нет оснований не заготовить поправок к Уставу и не провентилировать их перед широким мировым мнением». Таково было мнение Хувера.

* * *

Не подлежит спору, что нравы и учреждения видоизменяются не в прямой зависимости от формально-юридического закрепления этих изменений. Учреждения и право приспособляются к нуждам и потребностям жизни, часто не выжидая предварительного признания в законе. Это в такой же мере приложимо к международным учреждениям и праву, как и к государственным. Законы и учреждения всюду и всегда предназначены служить людям, а не наоборот.

Когда возникла Лига Наций, Клемансо, Вивиани и Леон

Буржуа в один голос предупреждали французских законодателей, Палату Депутатов и Сенат: Лига будет тем, чем вы ее сделаете; ее успех зависит от того, что вы сумеете извлечь из открывающихся возможностей. То же положение создалось и с возникновением ООН с тою лишь разницей, что один из главных участников этой организации оставался заведомо чужд и даже враждебен целям, которые начертаны были в ее Уставе. Основатели ООН утешали себя и других: создадим хотя бы несовершенную и дефективную организацию, — позднее можно будет ее реорганизовать. Это было правильно в том смысле, что нельзя искать совершенства в людских учреждениях, «перфекционизм» — иллюзорен. Но это было глубочайшим заблуждением — или заведомой неправдой, — поскольку всякая реконструкция ООН исключалась предоставлением тоталитарному СССР права сказать «нет» всем исходящим от других членов ООН предложениям об изменении Устава.

С ООН произошло то же, что не раз происходило в истории человечества. Учреждение, созданное с одними целями, на практике перерождалось и осуществляло не противоположные намеченным первоначально, но всё же иные цели. Внутренняя «мутация» влекла за собой «гетерогенность целей», — если применить к социально-политическому явлению биологическую и философскую терминологию.

Даже в странах с писаной конституцией государственный строй изменялся фактически до того, как изменения фиксировались в тексте конституции, а то и без того, чтобы конституция была соответствующим образом исправлена или дополнена. Положение и роль Верховного Суда в США — классический пример молчаливого приспособления режима к требованиям жизни. Но «эволюция», проделанная ООН, касалась не отдельных ее сторон, элементов или частных. Она меняла существо, самый смысл того, ради и для чего ООН была задумана и создана. К ней буквально приложимо то, что было подмечено еще в античные времена, — *Propter vitam vitae causam perdere*: ради существования утратить самый его смысл.

Это было очевидно с самого начала возникновения ООН. Могу сослаться на свою статью в № 11 «Нового Журнала» о «Сан-Францисской Хартии», помеченную 5 августа 1945 г. — день атомного взрыва в Хиросиме. И я был, конечно, не единственный и не первый, отнесшийся недоверчиво к тому «храму права, разума и справедливости», который, по выражению одного из его «архитекторов», американского сенатора Коналли,

воздвигли в Сан-Франциско. Один тот факт, что одновременно со Сталиным Устав ООН получил одобрение 89 американских сенаторов (против 2), убедительно свидетельствовал, что как тоталитарная диктатура, так и изоляционисты-сенаторы не усмотрели в нем ничего для себя опасного или вредного.

«Оргии энтузиазма», захватившей в 1945 г. большинство свидетелей истории, противостояла ничтожная кучка малoverов, скептиков, пессимистов, которых называли и «максималистами», и «Кассандрами»². К глубокому сожалению малoverов в такой же мере, как и энтузиастов, правы оказались первые. Свою статью я закончил словами: «Надежды на предотвращение войны и обеспечение прочного мира могут быть отныне связаны лишь со скорейшим отходом от практики, узаконенной Хартией (Уставом), и с радикальным пересмотром последней. Для этого необходимы, конечно, коренное изменение существующего в России строя и давление организованного общественного мнения на правительства демократических стран». И через десять лет я остаюсь при том же мнении: всё случившееся только подтверждает его.

* * *

Сказанное относится к ООН, если судить о ней по первоначальному ее заданию: «избавить грядущие поколения от бедствий войны», «объединить силы для поддержания мира и безопасности» и т. д. *Этого* задания ООН не выполнила. Здесь она, можно сказать, провалилась. Другое дело, если этому заданию не придавать главенствующего значения и видеть в ООН орудие мира лишь наряду с другими ее функциями или даже во вторую очередь по сравнению с другими заданиями. В таком случае достижения ООН неоспоримы и заслуживают всяческого признания.

² И меня не раз зачисляли в «Кассандры». Это меня не ранит, но представляется неверным. Мифологическая Кассандра вовсе не была тем, за что ее выдают: она вовсе не видела всё в мрачном свете. И кара, которой ее подверг Аполлон, сильнее ударяла не по ней, а по окружавшим ее, упорно отказывавшимся верить ее предсказаниям, несмотря на то, что они неизменно сбывались. В отличие от Кассандры, я воздерживался от предсказаний и только условно предупреждал: *если* поступят или не поступят так-то, то более чем вероятно, произойдет то-то. Общим с Кассандрой оказывалось лишь то, что, как правило, и мое окружение, поскольку до него доходили предостережения, им не внимало.

За десять лет ООН успела войти в международный обиход — стала учреждением, которым все правительства, по разным мотивам, дорожат. Ни одно не покинуло ООН, хотя некоторые и грозились, а многие спят и видят как бы скорее приобщиться к ней. Одиннадцать кандидатов не пропускает советское вето, а восемь других, становясь жертвой ответной меры, не могут собрать требуемого Уставом большинства в Совете Безопасности. К этим девятнадцати надо прибавить еще Австрию, Германию и красный Китай, которые тоже рвутся в ООН. Числиться членом ООН стало респектабельным, а не состоять в ней воспринимается как дискриминация, или ограничение в международной право- и дееспособности. Единственным исключением из общего правила остается «вечно-нейтральная» Швейцария, которая не вошла в ООН и не чувствует себя от того умаленной в правах.

В США примерный подсчет показывает ослабление отталкивания от ООН и увеличение ее популярности. Процент сочувствовавших выходу из Организации с 12 в 1951 г. понизился до 7% в 1954 г. Неудовлетворенность ООН, достигавшая в 1948 г. 54%, к октябрю 1954 г. упала до 25%, а удовлетворенность, наоборот, возрасла с 21% в 1948 г. до 62% в 1954 г. За время своего существования ООН не оставалась бездеятельной, и деятельность ее была разнообразна. Она служила всемирной трибуной для обсуждения международно-правовых проблем. Она продолжала служить символом, если не фактом, международной солидарности. Она служила дополнительным местом общения и обмена мнениями между дипломатами разных стран. Она стала местом, куда потерпевшие могли обратиться с жалобой, заранее зная, что практических результатов жалоба иметь не будет, но получая некоторое удовлетворение от самого факта публичного ее оглашения с трибуны ООН.

В этом отношении надлежит особо отметить сочувствие, которое встретило обращение Американской Федерации Труда в Экономический и Социальный Совет ООН 24 декабря 1947 г. с предложением обследовать условия принудительного труда в разных странах. Больше трех с половиной лет Советский Союз и его сателлиты делали что могли, чтобы затянуть образование соответствующей комиссии. Но она всё-таки была создана и 27 июня 1951 г. опубликовала обширный и чрезвычайно ценный доклад о результатах своего обследования.

Неоспорима полезность и множества «агентств», создан-

ных *при* ООН, с допущением к участию в них и не членом ООН. Фонд для детей, помощь продовольственная и сельскохозяйственная, техническая, здравоохранение, воспитание, наука, культура, экономика, финансы, банк для реконструкции и развития, помощь женщинам и т. д. Имеется актив у ООН и в политической области: предотвращение возможного столкновения в Иране, приостановление кровопролития в Палестине, Индонезии, Бирме, отпор агрессии в Корее. Не следует, однако, преувеличивать роль ООН в этой области. ООН способствовала более или менее удовлетворительному разрешению некоторых конфликтов, но роль ее не была решающей. С другой стороны ООН часто отказывалась от прямой своей обязанности вмешаться в международные конфликты, и они либо разрешались независимо от ООН (Триест, Австрия, блокада Берлина, раздел Индокитая), либо оставались висеть в воздухе (Южная и Северная Африка, Танганайка, Гвиана, Кашмир, арабо-израильские отношения).

Наконец, наиболее серьезное и радикальное выступление ООН — вооруженное сопротивление агрессии в Корее. Оно произошло и могло произойти лишь в силу неожиданной и счастливой случайности: по неведомой причине представитель СССР в Совете Безопасности Яков Малик отсутствовал, и голоса всех (прочих) постоянных членов Совета могли «совпасть», — как того требует ст. 27 Устава. Но на повторение такой счастливой случайности рассчитывать, конечно, не приходится. При этом нельзя забывать, что отпор агрессии в Корее, осуществленный под эгидой и с санкции ООН, но на 90% силами и средствами США, кончился тем с чего начался: агрессор удержал позиции и после оказанного ему вооруженного сопротивления, и условия перемирия это закрепили. Удивляться ли после этого, что авторитет ООН, как организатора международного мира и порядка, не слишком велик не только у Южной Африки, Индонезии, Израиля и арабских стран, но и у Голландии (Новая Гвинея), Бельгии (Конго), Франции (Северная Африка), Греции (Кипр). Одни члены организации ведут себя вызывающе по отношению к ООН, другие, игнорируя, проходят мимо ее постановлений. И как в свое время в Лиге Наций, в ООН возникли, внутри и рядом с ней, военные союзы и объединения. В противовес советскому блоку, всё возрастающему в объеме и мощи, с огромной потерей во времени и усилиях, создались северо-атлантическое объединение (НАТО), юго-восточное в Азии (SEATO), соглашение между США,

Австралией и Новой Зеландией, США и Южной Кореей, США и Турцией, Турцией, Грецией и Югославией. А в противовес НАТО советский блок создал в Варшаве свое анти-НАТО. Вместе с тем Кремль стал пропагандировать систему коллективной безопасности — не универсальной, а европейской.

Почему коллективная безопасность в Европе может удалась, когда всеобщая безопасность, на которую все согласились и которой придан был военно-технический аппарат, не удалась, — трудно понять. Как бы то ни было, на очереди обсуждение плана, выдвинутого французским министром иностранных дел Пинэ, о согласовании двух «региональных» блоков — западного НАТО с восточным анти-НАТО. Нужда в выполнении ООН ее главного назначения тем самым отпадет. И станет вопрос, к чему сведется смысл ее существования?

* * *

Ответ на него был дан недавно Уолтером Липпманом. Он на свой лад истолковал не только то, чем должна стать ООН, но и то, какой она была задумана и создана. Будучи неправ в последнем, Липпман прав в первом: он высказал *то, что есть*.

Представление об ООН, как о «коллективной Лиге для принудительного осуществления мира в противовес военной агрессии», по мнению Липпмана, — «широко распространенное недоразумение». Устав не облегчает коллективное осуществление мира, а предупреждает такое осуществление. Само вето — столь же американская идея, как и советская, — «включено в Устав с целью, чтобы военные меры не могли быть приняты ни против великих держав, ни против малых, находящихся под покровительством великих. Общий смысл вето в том, что военное действие против великих держав есть не что иное, как мировая война». Это доказывает, по мнению автора, что ООН с самого начала была задумана не в качестве новой системы ограждения мира и безопасности, а в качестве «*всемирного общества*» (*universal society*).

Липпман считает, что идея войны войне была популярна в эпоху первой мировой войны. В Устав же ООН она попала случайно: по видимости она была принята (*apparently adopted*), — «фактически же эта идея была отвергнута». Коллективные действия против агрессора, дозволенные Уставом, «в действительности являются ископаемыми, уцелевшими от раннего периода, сейчас давно уже оставшегося позади. Ибо эти отделы Устава не могут быть применены за исключением слу-

чаев, когда международное столкновение не имеет большого значения и не связано с серьезными интересами какой-либо великой державы». И как вывод: «Принудительное осуществление мира, сопротивление агрессии, как и защиту слабых предоставим вооруженным союзам». «Миссия ООН быть универсальным сообществом без суверенности и без военной силы, влияние коего возрастет над всеми суверенитетами и силами».

Не будем оспаривать ни критики, ни заключительного довольно туманного вывода Липпмана. Совершенно очевидно, как возникло его построение. Наблюдая «мутацию» ООН, то-есть то, чем она вольно или невольно стала, Липпман решил, что то, что есть, не могло не быть, оно и должно быть. И для большей убедительности стал доказывать, уже вопреки всякой очевидности, что ООН никогда и не мыслилась и не предназначалась ни к какой другой роли, кроме как быть «всемирным обществом».

Против «всемирного общества» ничего сказать, конечно, нельзя. Может быть в нем получает удовлетворение один из «политических неврозов», о которых писал Артур Кестлер полтора года тому назад. В свойственном ему фрейдовском стиле Кестлер назвал «политическим либидо» стремление человека утвердить себя в какой-либо идее, воплощающей систему оценок, «потребность к чему-либо принадлежать» или чему-нибудь быть сопричастным. Кестлер и Липпман могут быть правы, но как в таком случае быть с потребностью человека и человечества в предотвращении «бедствий войны» и прочего, о чем не слишком красноречиво, но подробно и многократно говорится в Уставе ООН?

* * *

ООН наталкивается на сопротивление с многих и разных сторон. Однако, главнейшим было и осталось сопротивление со стороны Советского Союза, который 1) отказывается расстаться с необходимой ему идеей абсолютного суверенитета государственной власти; 2) отрицает за «исторически обреченной» частью мира, т. е. за всеми капиталистическими и демократическими государствами, не входящими в орбиту Москвы, искреннее желание мира; и 3) считает своим «социалистическим» долгом использовать, по завету Ленина, *все* средства, до коварства и лжи включительно, в целях торжества

коммунизма, к которому «ведут все пути», как провозгласил Молотов, а за ним повторяют и другие члены хунты.

Если и в данном случае *высказать то, что есть*, это вкратце свелось бы к тому, что с советским правительством, таким, каким оно продолжает быть, никакое честное соглашение невозможно. Можно ли быть уверенным, что обещания не будут произвольно истолкованы и «выполнены» так, как были «выполнены» обещания, данные в Ялте, Потсдаме и Сан-Франциско десять лет тому назад?

* * *

Представляется маловероятным, чтобы конференция для пересмотра Устава ООН была созвана. Еще меньше шансов на то, чтобы Устав подвергся радикальному пересмотру, если бы конференция и состоялась. Даже если бы Москва сочла полезным удовлетворить домогательства Вашингтона и согласилась отказаться от вето при приеме новых членов ООН, при выборе Генерального Секретаря и при мирном разрешении международных споров, — существо дела не изменится. ООН, как учреждение, призванное гарантировать международную безопасность и мир, от этого не оживет, а останется в своем теперешнем состоянии прозябания.

М. Вишняк

О С. Н. ПРОКОПОВИЧЕ

Первая работа С. Н. Прокоповича «Рабочее движение в Германии и в Бельгии» появилась в 1899 г., а над последним, неоконченным, сочинением «Перспективы мирового хозяйства» он еще работал в 1954 г. Между двумя этими датами — свыше полстолетия огромной упорной работы мысли, целиком посвященной исследованию и освещению социально-экономических вопросов.

В Москве, в доме на 2-ом Николо-Песковской переулке, в котором многие годы жил С. Н., стены его кабинета с богатейшей библиотекой, были обиты пробковым деревом. Ни один звук с улицы, к тому же тишайшей, в кабинет не доходил. И не только с улицы, а даже из соседних комнат, где обычно было людно, где бывало всегда много посещавших Е. Д. Кускову. Можно было думать, что при такой тяге к максимальной тишине и спокойствию, С. Н. будет далек от текущей, всегда шумливой жизни. Будет похож на тех ученых, о которых когда-то с сарказмом говорил Бодлэр: город горит, улицы готовы обогреться кровью, а они, запираясь на замок в своем кабинете, занимаются вопросом о «свадьбе Изиды и Озириса». Прокопович-ученый — полная противоположность таким ученым. Не обладая легкой поступью публицистов, шагая тяжело с тяжелым вооружением из цифр, индексов, статистических законов, ссылок на первоисточники, С. Н., однако, обнаружил огромную, скорее свойственную именно публицистам, подвижность, быстроту в атаке острых социально-экономических вопросов, выдвигавшихся жизнью. Революция 1905-6 г. резко выдвинула рабочий вопрос. И Прокопович откликается на него «Рабочим вопросом в России», исследованием о «Бюджетах петербургских рабочих», брошюрами вроде «Что дает рабочим страхование на случай болезни». Революция столь же резко поставила аграрный вопрос. Прокопович освещает его в серии работ: «Аграрный вопрос и аграрное движение», «Аграрный вопрос в цифрах» (защищает отчуждение всех частновладельческих земель в пользу крестьян), «Аграрный кризис и мероприятия правительства», в докладах, больших ста-

тых, послуживших ему переходом к опубликованной позднее книге — «Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и динамических переписей».

В 1903 г., когда кооперативное движение было только в неясном зародыше, С. Н. посвящает ему небольшую брошюрку, в которой проглядывает его вера в будущность русской кооперации. Факты эту веру подтверждают. Несмотря на препятствия всякого рода и административные ущемления, кооперация, особенно в годы пред войною, быстро растет, приобретает значение. Принимая энергичное, руководящее участие в строительстве кооперации, Прокопович посвящает ей превосходную книгу — «Кооперативное движение в России, его теория и практика». В 1919 г., уже после большевистского захвата власти, эта книга появляется во втором издании с следующими прибавленными к ней в заключение словами:

— «Революция 1917 г., в первый период до большевистского переворота, сняла с кооперативного движения все административные путы, препятствующие его развитию. Кооперативные работники с изумительной энергией использовали дары свободы, принесенные революцией. Всё это давало надежды, что наше кооперативное движение сделает огромный шаг вперед. После большевистского переворота, сопровождавшегося уничтожением всех основ правового государства и политической свободы — эти надежды завяли. Тем не менее, и в это смутное и тяжелое время кооперация делает свое дело. Эта ее работа не может быть забыта. За время войны и внутригражданской распри кооперация оказала столько неоценимых услуг народу и государству, что трудно представить в будущем такую власть, которая посягнула бы на этот вид хозяйственной и общественной самодеятельности. Как бы далеко ни пошла надвигающаяся на страну реакция, правовое положение кооперации вряд ли будет затронуто и поколеблено. Должны же чему-нибудь учить уроки истории».

Руководясь этим убеждением С. Н. пишет ряд брошюр с целью помочь кооперации решать появляющиеся пред нею проблемы. В одной из этих работ, на основании разных анализов и, на первом месте, анализа бюджетов, он сделал очень интересную попытку установить какие группы крестьян будут наиболее активными строителями кооперации и какой род кооперации будет более всего развиваться. Не подлежит сомнению, что Россия должна была стать страной с могучей кооперативной сетью, и что в деревне кооперация создала бы креп-

кую демократию и способствовала бы поднятию крестьянского хозяйства на высшую ступень. Прокопович не мог себе представить власть, которая бы убила кооперацию. В лице Сталина и его наследников такая власть появилась: в их правление кооперация превратилась в орган тоталитарного государства.

Среди работ С. Н. Прокоповича, появившихся после 1904 г., когда им была написана книга «Местные люди о нуждах России», являющаяся первым его анализом отечественной экономики, исключительно важное значение имеет опыт исчисления для 50 губерний Европейской России народного дохода в 1900 г., опубликованный С. Н. в 1905 г. в «Трудах Вольно-экономического общества». Появление такой работы — знаменательно. Экономист, действительно серьезно изучающий экономику своей страны, не может не пытаться охватить мыслью всю совокупность проявлений ее хозяйственной активности, сумму ежегодно создаваемых в ней новых ценностей, материальных благ и услуг, именно то, что обычно называют народным, национальным доходом. Отсутствие такого, хотя бы приблизительного знания, порождает нелепые представления о пропорции главных хозяйственных частей в народном доходе и еще большую фантастику в представлениях о том, за какими группами или классами и в каком объеме закрепляется этот национальный доход. Пример первого типа незнания показал (во всеподданнейшем докладе о государственной росписи 1897 г.) С. Ю. Витте, заявивший, что в России доход от промышленности превышает на 33% общий доход от сельского хозяйства, тогда как в действительности, в те времена, доход от последнего больше чем в два раза превышал доход от промышленности. Что же касается рекордно искаженного представления о распределении национального дохода, его мы найдем в «Искре» 1902 г. — в статье Ленина, утверждавшего, что «малоимущие и неимущие слои» населения России, составляя в ней 90%, получают из национального дохода «каких-нибудь две-три десятых».

Чувство полной темноты в вопросе о величине народного дохода побудило министерство финансов в 1906 г., в связи с проектом введения подоходного налога, попытаться как-нибудь этот доход исчислить. Предприятие это оказалось весьма неудачным. Но совершенно иной была попытка С. Н. Прокоповича. Его работа (во втором ее издании) занимает только 21 страничку, но насыщенная цифрами, выпукло охватывающими все отрасли хозяйственной жизни России, она позволяет

читателю отдать себе ясный отчет в том, чем была вся экономика России в 1900 г. Стремясь определить не только главные, но и мелкие доходы, Прокопович подсчитывал доход от гороха и чечевицы, от сена и соломы, от овчин и осетровых рыб, от соли и ульев, серного колчедана и производства дрожжей и т. д. Требуемых для этого статистических данных почти не было, поэтому нужно подчеркнуть изобретательность, с которой С. Н. обходил препятствия, и терпение, с которым он отыскивал данные, хотя бы приблизительно способные заместить недостающие. Когда в 1907 г. я впервые ознакомился с его работой, она своим охватом всей хозяйственной активности страны произвела на меня очень большое впечатление и теперь снова обращаясь к ней, 49 лет после ее появления, уже зная ее недочеты и слабости, я сохраняю мое прежнее чувство восхищения перед устремленностью и настойчивостью исследовательской мысли автора.

В 1917 г., когда Прокопович был председателем Экономического Совета при Временном Правительстве, по его указанию и плану сотрудниками этого Совета был произведен подсчет народного дохода в 50 губ. Европейской России в 1913 г. Сравнение с 1900 г. дало возможность установить, что с того времени — от увеличения производительности труда и роста производительного населения — национальный доход в неизменных ценах увеличился почти на 40%, при чем, конечно, значительная часть прироста падала на годы пред войною 1914 г. Как ни ценен подсчет 1913 г., всё же он не принадлежит, в отличие от исчисления 1900 г., к числу работ «делающих эпоху». Он шел уже проторенным путем. Но очень ценной частью его, на чем особенно настаивал С. Н., была попытка приблизительно распределить национальный доход по принадлежности его к классам состоятельным и несостоятельным, трудовым. Подсчет, как и нужно было ожидать, немедленно показал фантастичность утверждений Ленина: доходы неимущих, трудовых слоев населения в 1913 г. занимали во всем народном доходе не «какие-нибудь» 20%-30%, а 73,6%, а в сельском хозяйстве даже 89,1%.

Незадолго до революции, в 1916 г., С. Н. Прокопович написал книгу «Война и народное хозяйство». Она появилась в 1917 г. и была переиздана с значительными изменениями в 1918 г. В ней исследуются расходы на войну, источники их покрытия, влияние войны на производство, транспорт, кредит, внешнюю и внутреннюю торговлю, экономическое положение

трудящихся. Этот обзор состояния русского хозяйства в 1914-1916 гг. сохраняет свою историческую ценность. Помимо того, сравнение первого издания книги Прокоповича со вторым представляет большой интерес для биографа С. Н. Из второго издания исключается вся последняя глава первого издания: «Экономические перспективы после войны». Октябрьская революция их сделала для С. Н. темными. Первое издание заканчивалось полемикой с представителями промышленности, настаивавшими на том, что для выхода из хозяйственной разрухи после войны «вопросы усиления производительности народного труда должны стать впереди вопросов распределения народного богатства». Во втором издании эта полемика заменена указанием на катастрофические для страны последствия, созданные «усилиями пролетариата повысить материальный уровень своей жизни, не считаясь со степенью развития производительных сил и размером народного труда». Психологическая окраска второго издания много мрачнее окраски первого. И это понятно. В 1917 г. С. Н. Прокопович прошел чрез Голгофу власти.* Ступени этой Голгофы видны в небольшой брошюре «Народное хозяйство в дни революции», составленной из трех речей Прокоповича. Первая на Государственном Совете в Москве 12 августа 1917 г.

— «Мы наблюдаем колоссальное падение производительности труда. Так дальше наша хозяйственная жизнь идти не может. Дальнейшее падение производительных сил угрожает гибелью всему государству, всему народу, армии, всем нам, делу революции. Граждане-капиталисты, отдайте в распоряжение Временного Правительства ваши предпринимательские способности и ваши капиталы. Граждане рабочие, отдайте государству ваш труд. Граждане крестьяне, накормите вашим хлебом армию и города».

Вторая речь через месяц — 11 сентября — на Кооперативном съезде в Москве.

— «Как кооператор от вас, из Совета Всероссийских кооперативных Съездов, вошедший во Временное Правительство, я хочу дать вам отчет о моей работе. Мне тяжело, товарищи, я сейчас переживаю очень тяжелое душевное состояние. Тяжко не мне одному, тяжело всем членам Временного Правительства. Мы на границе отчаяния».

* В июле 1917 г. С. Н. Прокопович стал министром торговли и промышленности, а позднее был министром продовольствия.

Третья речь 16 октября, почти накануне большевистского захвата власти, произнесена на заседании Временного Совета Республики. В ней уже полное отчаяние.

— «На северном фронте зернового фуража только на один день. Часть хлебопекарен остановилась, а через 2-3 дня все хлебопекарни остановятся за отсутствием муки. Продовольственное дело висит на ниточке. Если бы вы проехали по России — увидели бы до каких размеров достигла анархия. Мы должны перестать быть уговаривающими, перестать быть главноуговаривающими. Нам нужно создание органов власти. Переход к принуждению является необходимым, без него мы не можем спасти нашей родины».

Не место здесь говорить, по каким причинам весь сектор февральской демократии, к которому с молодости принадлежал и С. Н. Прокопович, был только «уговаривающим», не мог сложить настоящую крепкую власть, допустил победу большевизма, отнюдь не бывшую «исторически неизбежной». Но поскольку идет речь о тех экономических министерствах, которые возглавлял С. Н., я думаю, что среди людей того времени, он более чем кто-либо имел необходимые для того данные. Если судить даже по одной его книге «Война и народное хозяйство», у него именно для этого дела были очень нужные, обширные знания, значительно большие чем у других левых. К этому присоединялся и опыт, приобретенный на руководящих инстанциях кооперативного движения. Вдобавок у С. Н. было нечто отличавшее его от экономистов, иногда ловко владеющих сложным «взвешенным индексом», но лишенных практических знаний и не умеющих отличить хотя бы ячмень от пшеницы. Прокопович был сельским хозяином, управлявшим весьма большим имением «Старый Селец» (недалеко от Могилева), принадлежавшим его матери, а потом ему. В имении был крахмальный завод, правильно ведущееся молочное хозяйство и сыроварение, свиноводство; хозяйственные планы разрабатывались С. Н., он руководил продажными операциями и имение приносило доход. Благодаря этому на хозяйственные вопросы вообще С. Н., и в качестве литератора, и в качестве министра, мог смотреть не глазами тургеневского Рудина, а скорее — тургеневского же Соломина. Герцен однажды заметил, что «довольство», обладание некоторыми средствами «дает ширь всякому развитию и всякому росту, не стесняет ум боязнью пред будущим, оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет». Такого «закона», конеч-

но, нет. «Довольство» очень часто дает не «развитие» и ширь, а плодит только жир, безделье и паразитство, но оно же может давать и другие результаты — и это оно во многом способствовало сыну Яковлева стать Герценом, издавать «Колокол» и «Полярную Звезду».

«Довольство», приносимое «Старым Сельцом», сыграло большую роль и в жизни нашего выдающегося экономиста: создавало ему независимую от поисков заработка жизнь, возможность в течение ряда лет жить за границей, изучать ее культуру и рабочее движение, с удобством заниматься «предметами», к которым его влекло, иметь под руками настоящее сокровище — громадную ценную библиотеку, вызывавшую у меня, сознаюсь, накат зависти когда я попадал в обитый пробкой кабинет С. Н., а в «Старом Сельце», в особом для нее построенном доме, была библиотека с еще большим числом книг.

После октябрьской революции, С. Н. Прокопович, несмотря на его участие в Штабе, пробовавшем подавить восстание большевиков в Москве, не подвергся преследованиям. Его даже допустили к профессуре в Университете и Тимирязевской сельско-хозяйственной академии. Но он пришелся не ко двору в Советской России. Всероссийский комитет помощи голодающим, одним из учредителей и активным деятелем которого был С. Н., был уничтожен правительством, в 1921 г. Прокопович и Кускова были арестованы и в 1922 г., как и многие другие интеллигенты, высланы за границу, насильно сделаны эмигрантами. Сталин не следовал примеру Ленина: неугодных ему лиц он просто истреблял.

За границей начинается новый период в жизни Прокоповича. Он становится неутомимейшим наблюдателем советско-коммунистического строя и хозяйства, его исследователем, истолкователем, критиком. И на этом «посту» стоит без перерыва тридцать лет. В Берлине в 1923 г. он учреждает «Экономический Кабинет», издающий бюллетени, знакомящие с явлениями хозяйственной жизни СССР; пишет «Очерки хозяйства Советской России» (переведены на английский язык), первую из книг, посвященных им этому вопросу. В 1924 Экономический Кабинет Прокоповича переносит свою деятельность в Прагу, где, благодаря поддержке чешского правительства и Земгора, она широко разворачивается, выражаясь в серии докладов, издании под редакцией С. Н. двенадцати «Экономических Сборников» и 136 «Бюллетеней», в которых ему принад-

лежат ценные обзоры. В 1934 г. С. Н. выпускает в Париже с предисловием П. Н. Милюкова брошюру «Идея планирования и итоги пятилетки». В ней он объясняет, что планирование хозяйства не является изобретением СССР, а в разных формах, ощупью и робко, уже осуществляется капиталистическим хозяйством. И это планирование, уже сознательное, делается неизбежным (к чему с некоторой опаской отнесся Милюков), поскольку «мы стремимся на место безумия стихии поставить разум» и перейти к «творчеству новых, разумных форм хозяйственной жизни». Советское же планирование и результаты первой пятилетки Прокопович подверг жесточайшей критике:

— «Результаты пятилетнего плана получились настолько печальные, что даже советская власть начала, повидимому, терять веру в коммунизм. Иллюзии иногда играли в истории положительную роль. Но после всего того, что пережила Россия под властью советской и коммунистической, мы убеждены, что коммунистическая идея не принадлежит к числу подобных творческих иллюзий».

В 1938 г., спасаясь от нашествия Гитлера, Прокопович из Праги переселяется в Женеву, и здесь возобновляет издание своих бюллетеней на английском и французском языках. Гитлеровское правительство, недовольное их антигерманским направлением, производит дипломатическое давление на Швейцарию, требует высылки С. Н. и в ноябре 1941 г. он вынужден прекратить издание своих бюллетеней. Неутомимый работник, никогда не знавший отдыха, он принимается тогда за составление книг. Подытоживая собранный в его бюллетенях по 1940 г. материал, он прежде всего выпускает «*Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets*» (1944 г.), в том же году «*Die natürlichen Hilfsquellen der UdSSR*», а в 1948, когда опубликован план послевоенной пятилетки, пишет книгу «*Der Vierte Fünfjahrplan der Sowjetunion*». Наконец, в 1952 году издательство имени Чехова в Нью Йорке печатает его двухтомную работу «Народное хозяйство СССР», переведенную потом на французский язык. Книга эта, завершившая тридцатилетнюю исследовательскую деятельность С. Н., является как бы энциклопедией советского хозяйства — в ней цифры даны по 1950 г. и к уже печатавшемуся, но переработанному материалу, она делает ценные и интересные добавления, в их числе — «организация и техника планирования», «народный доход и формирование национального капитала» (особенно важна эта глава).

В 1923 г., приступая к своим исследованиям, Прокопович ставил вопрос: можно-ли «для объективной характеристики и научного анализа» советской экономики — пользоваться правительственными цифрами, а никаких иных, кроме них, в СССР нет. На этот вопрос, пишет он, «я без всяких колебаний отвечаю положительно». Несмотря на рекордную порочность советских отчетов и данных, их «агитационно-демагогический характер», всё же они, и только они, при умелом и постоянном чтении советской литературы, умелом анализе, умном сопоставлении всяких цифр и фактов, большом у их исследователя предварительном экономическом знании — способны освещать происходящее в СССР. Таково было убеждение С. Н. Поэтому — и это характерная черта его работ — за все эти 30 лет он никогда не прибегал к несоветским материалам — к тому, что появлялось в заграничной прессе. Он строил свои выводы только на советской информации и на советских цифрах. Он сжился с ними настолько интимно, что, сопротивляясь, они приоткрывали ему спрятанные за ними секреты. Держа их крепко в руках, Прокоповичу выжимкой из них удастся решить ряд важнейших советских ребусов, например, каковы потери при уборке зерновых культур, каков действительный «амбарный», а не лживо и пропагандно показанный сбор зерна, какова реальная плата советских рабочих, какова величина национального дохода, какова численность населения СССР и т. д. Вполне естественно, что к работам С. Н. обращаются все, серьезно интересующиеся советским хозяйством. Отсюда частые ссылки такого рода: «как показал Прокопович», «по словам Прокоповича», «по исчислению Прокоповича», «по данным Прокоповича». Элемент «обличительства» и разоблачения, в некоторой мере присутствовавший в первых работах С. Н., в дальнейшем, со времени второй пятилетки, совершенно стушевувается перед подчеркнутым объективизмом производимых им анализов советского хозяйства. Привыкая иметь дело с бесчисленными советскими цифрами и их обуздывать, С. Н. чувствовал себя среди них таким «*maître*», был столь убежден в своем искусстве вытаскивать из них ему нужное, что к некоторым, если можно так выразиться, «злостным» цифрам относился слишком снисходительно. Таковым было его отношение к советскому ценностному измерению продукции и национального дохода так называемыми «неизменными твердыми ценами 1926/27». Эта «снисходительность» особенно обнаруживается в главе «*Das Volkseinkommen*» в его книге 1944 г. на немецком языке о со-

ветском хозяйстве (стр. 352-366). По моему же убеждению, пресловутые «твердые цифры» следовало бы уже к концу первой пятилетки беспощадно бить кнутом и изгонять. (Советское правительство втихомолку выбросило их лишь в 1952 г. — последняя книга Прокоповича была написана до этого).

Несколько перефразируя слова одного французского писателя, можно сказать, что для С. Н. Прокоповича в экономических исследованиях самым главным была *«музыка фактов»*. Звуки в музыке выражаются нотами, факты в экономике цифрами. Чтобы цифры создавали настоящую «музыку», а не какофонию (присущую множеству советских отчетов), нужно особое искусство ими владеть, знание законов, правил, приемов, теории статистики. В экономике «музыка цифр», отражая факты, создается именно статистическим искусством. А это искусство С. Н. издавна изучал и очень любил. Напомню, что в 1916 г. появилась его работа — «Об основаниях выбора признаков для построения комбинационных таблиц», а в Праге он написал большую книгу «Познавательная ценность статистических рядов», состоящую из глав: «объекты статистического наблюдения, статистические ряды, корреляция статистических рядов, причинозависимости в массовых явлениях». Книга эта напечатана в 1936 г. Чешским Государственным Статистическим Управлением. Ничего, кроме оглавления, о ней не знаю, ибо чешским языком не владею, но слышал, что к этой философии статистики с большим почтением отнеслись чешские экономисты и статистики. Прибавлю, что на чешском языке появилась не только указанная работа, но много статей С. Н. и книга «Международная торговля придунайских стран после войны (первой)».

Кроме только что указанной книги, есть еще одна работа С. Н., относящаяся к мировой экономике и написанная им в Женеве: «*L'industrialisation des pays agricoles et la structure de l'économie mondiale après la guerre*». По многим причинам я не поклонник этой работы. Ее печатание происходило в 1945 г. Значит, она писалась в 1944 г. до окончания войны, а тогда никто (С. Н. — не исключение) не предвидел как может сложиться структура мировой экономики в результате коммунистического захвата Восточной Европы, появления на мировом экране нового гиганта — Китая, ухода Англии из Индии, Пакистана, Цейлона, Бирмании, ухода Голландии из Индонезии, Франции из Индокитая и т. д. Насильственная индустриализация аграрных стран Восточной Европы, Польши, Румынии, Бол-

гарии, Албании, производимая Кремлем, есть абсолютно никем непредвиденное экономическое явление. Поэтому, от начатой С. Н. работы «Перспективы мирового хозяйства», нужно было ждать важных добавлений к книге 1944 г., опирающихся на новейшие статистические данные, а не на цифры до 1938 г. Увы, 4 апреля с. г. С. Н. скончался, труд этот — насколько я знаю — остался незавершенным, хотя со свойственным ему упорством, преодолевая тяжкую болезнь, он несколько раз принимался за работу.

*
*

К тому, что говорил о С. Н. Прокоповиче как экономисте, я хотел бы в заключение добавить черты его общего социально-политического мировоззрения. Начав с восприятия народнических взглядов при большом почтении к П. Л. Лаврову, Прокопович в 24 года делается марксистом. Живя в 1894-98 гг. за границей (Англии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии), он активно участвует в существовавших в то время социал-демократических эмигрантских организациях и близко знакомится с основателями «Группы Освобождения Труда» — Плехановым, Аксельродом, Засулич. Нужно думать не раз из кассы «Старого Сельца» поступали деньги на нужды социал-демократических организаций. Но в 1898 году — Прокопович и Кускова выходят из партии. Группа «Освобождение Труда» объявляет, что по своим воззрениям Прокопович «стоит за рубежом социал-демократии» и Плеханов пишет Аксельроду: «теперь надо раздавить Прокоповича. Констатирование непринадлежности к Союзу есть самая приличная форма его исключения». Об этой истории мы узнаём, с одной стороны, из изданной в 1925 г. «Переписки Плеханова и Аксельрода», с другой стороны, под иным освещением, из статьи Е. Д. Кусковой в 1954 г. в «Новом Русском Слове». Вскоре после ухода из социал-демократической партии четы Прокоповичей появляется т. н. «Средо» Кусковой, выражающее взгляды и Прокоповича. «Средо», более чем скептически относясь к возможности образования в то время в России настоящей рабочей партии, считает, что задачей русского марксизма может быть лишь помощь экономической борьбе пролетариата и участие вместе с либералами в оппозиционной деятельности. Такая позиция вызывает ожесточенную критику со стороны российских социал-демократов. В 1899 г. выходит книга Прокоповича «Рабочее движение в Германии и Бельгии», превосходно документированная работа с описанием существующих в этих странах об-

ществ взаимопомощи, товариществ, профессионального и женского движения, христианского социализма, а в Германии положения социал-демократии в 1867-1890 г. и после 1890 г. т. е., после отмены исключительных законов против социалистов. Такой книги в России не было. За нее хватаются, — но почему в революционной и, больше всего, в социал-демократической среде она встречает эмоциональный отпор? Почему социал-демократические указатели литературы ссылаются на нее с большими предостерегающими оговорками? Нужно дышать воздухом того времени, чтобы на эти вопросы ответить.

Немецкая социал-демократия в глазах русских социал-демократов долгое время (думаю до 1906 г.) представлялась идеальным образованием, за которым во всем нужно следовать. Она имела «самую совершенную», проникнутую духом Маркса, «научнейшим социализмом», теорию и программу. Она была самой мощной, самой организованной в мире социалистической партией, а германские профессиональные союзы были самыми лучшими в мире массовыми рабочими организациями. Только качества, никаких недостатков. Берлин с его с. д. вождями был Меккой для русского марксизма. И не для одних подпольщиков, но и для выдающихся легальных марксистов — Струве, Туган-Барановского, Булгакова, Франка и других. Есть документ, картинно представляющий их пламенное преклонение пред Меккой — Берлином. С. Н. Булгаков, автор вышедшей в 1898 г. ортодоксальнейшей книги о «Рынках при капиталистическом производстве», позднее ставший протоиереем, «отцом Сергием» («Boulgakoff ist fromm, ist Priester geworden»), с изумлением восклицал К. Каутский), с великим раздражением, но весьма точно описал свои былые чувства при посещении Берлина.

— «Я был тогда глупым-глупым, наивным-наивным марксистом с благоговением взиравшим на самую улицу, по которой ступали «вожди» и в услаждение были мне вся тошнота берлинского асфальта и убийственное бездушие улиц. Мое знакомство состояло тогда исключительно из вождей германской социал-демократии — Каутский и Бебель, Браун и Адлер. Я находился в нежной переписке с Плехановым» (Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические заметки. 1946 г.). О таком же преклонении пред социал-демократическим Берлином, но в виду цензуры писем более косноязычно выраженном, говорят и письма Ленина в 1895 г. к родным.

Книга Прокоповича нечитавшим немецкую литературу со-

циал-демократическим кадрам открывала глаза на то, о чем сведущие люди уже знали. Они с ужасом узнавали, что в Германии, этой стране с. д. Мекки, с 1890 г. раздаются не привычные, революционно подымающие, подкрепляющие, наставляющие слова, а какая-то «опасная» реформистская речь с выпадами против ортодоксального марксизма, с его пересмотром, «ревизией», с нагибом тактики в сторону приспособления к «прусской законности». Это было по престижу Мекки, заслоняло ее свет. Получалось впечатление, что значительная часть немецкой с. д. тащит партию с высокой горы в болото законности, именно в то время когда русские революционеры стремятся забраться на гору, чтобы оттуда штурмовать самодержавие самыми незаконными средствами, ибо для законности почвы не было. И поскольку книга Прокоповича давала примеры весьма обоснованного отхода части немцев от ортодоксии, она у русских с. д., Плехановым крещенных в ортодоксию, вызывала эмоциональный отпор, казалась опасной, даже «вредной», мешавшей штурмовой воле, развращавшей мировоззрение. От нее, с ее изображением разных форм легального рабочего движения, веяло чем-то плохо согласуемым с психологией нелегально настроенных русских людей, к тому же забывавших, что Прокопович, соавтор «Credo», ушел из партии и со скептицизмом смотрит на тех, кто тогда представлял русскую социал-демократию. Чтобы отчураться от книги Прокоповича, на нее наложили одиозную этикетку «ревизионизм Бернштейна», хотя тот для Прокоповича не был авторитетом. «Недостаток теоретических взглядов Бернштейна, — писал он, — тяжело отзывался на всей его деятельности в качестве теоретика нового направления».

За книгою о «Рабочем движении», и как бы в дополнение к ней, последовала новая работа Прокоповича — «К критике Маркса», появившаяся в 1901 г. Ее нет в заграничных библиотеках. Единственный экземпляр ее можно найти, кажется, только в Британском музее. В эмиграции ее не было у самого Прокоповича и он даже плохо помнил, что такое написал пятьдесят лет назад. А если он забыл ее содержание, то тем простительнее мне, читавшему ее тоже пятьдесят лет назад, его забыть. Помню только что там критиковалась марксова теория трудовой ценности, какие-то другие стороны его концепции и, в общем, осталось впечатление большого отталкивания от Маркса.

Приняв всё сказанное во внимание — уход С. Н. из соци-

алдемократической партии, соавторство в «Credo», участие в либеральной организации «Освобождение», его книги «Рабочее движение» и «К критике Маркса» — какую характеристику общественной позиции Прокоповича давали его «ортодоксальные критики», например, в первое десятилетие девятисотых годов? Видный экономист, видный общественный деятель, председатель экономической секции Императорского Вольно-экономического Общества, председатель секции по страхованию рабочих при московском отделении Императорского Технического Общества, председатель разных кооперативных объединений, но, по выражению Плеханова, человек «за рубежом социал-демократии», с «отрывом от социализма», очень далекий от того, что именовалось «классовым идеалом пролетариата» и «классовой пролетарской партией». Если исходя именно из этого представления о Прокоповиче, подойти к появившейся в начале 1911 г. его книге «Проблемы социализма», — она должна поразить своей неожиданностью. Ведь в ней, после обстоятельного обзора истории развития социалистической мысли, Прокопович утверждает свое полнейшее приятие идеи социализма и не в какой-либо «умеренной» форме, а в форме крайней, называемой им «чисто пролетарской», концепции социализма. Взгляды, развиваемые Прокоповичем, в этой книге должны представлять исключительный интерес для тех, кто задался бы целью написать его биографию. Но помимо того она подводит нас к острым и большим проблемам современной эпохи, стоящей, хотя и того или нет, под знаком социализма. Ввиду этого я позволю себе из трудно находимой книги Прокоповича, и в отличие от других его работ мало кому известной — сделать несколько цитат, подобранных из разных мест последней главы «Проблемы социализма».

— «Социалистическая мысль должна быть не привнесена извне в рабочее движение, а извлечена из него, путем осознания его целей, как его идеология и теория. Современный социалистический идеал должен быть пролетарским делом, должен приобрести классовый характер. Социалистическая теория должна быть, наконец, поднята на высоту пролетарской практики. Только рабочий класс жизненно заинтересован в коренном изменении капиталистической формы производства и только рабочее движение в целом способно достигнуть целей социализма. Современный социализм должен стать теорией и идеологией рабочего движения, не парламентской формы его, не профессионального движения, не потребительной кооперации, а всего рабочего движения в целом, всей совокупности его совре-

менных форм. Рабочее движение имеет более богатое содержание чем то, что в нем видел Маркс; оно не только организует рабочий класс в политическую партию для захвата политической власти, но и создает в капиталистическом строе зародыши будущих социалистических отношений. Тем не менее, в процессе сложения нового общественного строя акт перехода политической власти в руки рабочего класса неизбежно сыграет очень крупную роль. Установление социалистического строя общества предполагает социализацию средств производства, их переход из частной собственности отдельных капиталистов в коллективную собственность тех или иных социальных групп. Эта социализация невозможна без нарушения прав буржуазной неограниченной собственности, следовательно, без определяющего влияния пролетариата на законодательство, без политического господства рабочего класса, подобного господству класса буржуазии в современном обществе. Установление политического господства рабочего класса предполагает не только пролетаризацию широких масс населения, ...но и широкое развитие всех форм рабочего движения, ...такой подъем уровня жизни рабочих масс, который сделал бы возможным высокое духовное развитие пролетариата... Социалистический строй явится результатом сознательной, планомерной деятельности общественных организаций, а не стихийного социально-экономического процесса. Представление о возможной организации в будущем строе дает нам изучение производительной деятельности организации потребителей, потребительных обществ и муниципалитетов. Эта организация рисуется нам в виде большого числа существующих рядом или перекрещивающихся организаций потребителей, начиная с товарищества потребителей и кончая национальным союзом или государством, совершенно самостоятельных и независимых друг от друга, обслуживающих различные материальные потребности граждан. Политическая организация социалистического строя лежит пока совершенно вне поля нашего предвидения. Единственное, чего мы можем ждать с уверенностью, это — того, что в социалистическом строе, будут осуществлены требования современной демократии... Если социалистический строй может быть создан лишь самодеятельностью рабочего движения, то, с другой стороны, развитию самодеятельности пролетариата сильно способствуют политические завоевания либеральной демократии. Поэтому, сотрудничество классов, которому совершенно нет места в области чисто социалистической работы, играет, напротив, весьма видную роль в процессе борьбы за политическую свободу. Политическая сила и успехи либеральной демократии имеют огромное значение для пролетариата вплоть до последнего предельного завоевания им по-

литического господства. Они определяют политическую форму, в которой будет изжит переход к социалистической организации общества. — Основной наш вывод таков: все социалистические идеи и идеалы имеют земные корни в какой-либо реальной форме коллективной собственности и сопутствующих ей общественно-экономических организациях. Если процесс социального развития благоприятствует развитию этого основания, развивается и идеологическая надстройка над ним, соответствующая социалистическая концепция становится крупной социальной силой, способной переустроить мир. Если же, напротив, эта форма коллективной собственности умирает,... вместе с нею умирает и идеал из нее выросший; порожденная ею идея становится иллюзией, утопией, мифом.

Прокопович кончает свою книгу выражением: «глубокой уверенности», что «социализм рождается и развивается не вне рабочего движения, не над ним, а в нем самом, им питается и вместе с ним воздвигает свою конечную цель».

Представление, что С. Н., как объявил Плеханов, был «за рубежом социализма», этой книгой Прокоповича категорически опровергается. Уход из социал-демократической организации, нежелание иметь дело с партией в том виде, в каком ее формировал тогда Плеханов, еще не означало быть «вне социализма». В намеченной С. Н. «пролетарской концепции» социализма отсутствует марксистская диалектика, обосновывающая идею «Zusammenbruch'a», она проникнута духом эволюции, но несомненно пользуется методом материалистического понимания истории. В ней нет «диктатуры пролетариата», но сохраняются идеи о «политическом господстве пролетариата», «социализации частной собственности капиталистов», «пролетаризация населения» и нужно быть сверхреволюционером, чтобы видеть в ней какую-то умеренную, пропитанную «бернштейнством», форму социализма.

Как ее согласовать, с существовавшими представлениями об «умеренной» позиции Прокоповича в 1899-1901 гг.? Можно ли предположить, что он резко переменял свои взгляды? Может быть на него большое влияние оказала революция 1905-6 гг. и он повернул круто влево? Но «Проблемы социализма» написаны в 1910 г., когда ошибки революции, безнадежно загнувшей влево и вся послереволюционная обстановка уничтожали психологию «прыжка». Кроме того, мысль Прокоповича, о чем говорит всё до того им написанное, работала методично и отнюдь не была склонна к легким прыжкам и резким поворотам. Чем же, повторяю, тогда объяснить неожиданное появление

«пролетарской концепции» в «Проблемах социализма»? В том то и дело, что неожиданностью казалось то, что неожиданным в сущности не было. Книга «Рабочее движение в Германии и Бельгии», попав в среду со своеобразной психологией, о которой я говорил, подверглась неправильной, искажающей ее смысл, оценке. А между тем из нее, очень «рабочефильской», путь вел прямо, без всякого «прыжка», к концепции «Проблем социализма», являющихся, по правильному указанию самого Прокоповича «логическим продолжением» предыдущей работы. Книга «К критике Маркса», даже если бы в ней была самая беспощадная критика Маркса, тезисам 1911 г. не могла противоречить. Не противоречит им и участие Прокоповича в руководимой Струве либеральной организации «Освобождение». Ведь Прокопович всегда настаивал на «сотрудничестве классов» в деле борьбы за *политическую* свободу.

В 1911 г. появление «Проблем социализма» не привлекло к себе большого внимания, общественная обстановка тех лет не способствовала обсуждению теоретических вопросов социализма. И с тех пор, насколько я знаю, С. Н. к ним больше не возвращался — ни в одной книге, ни в одной брошюре. Спрашивается — в какой мере он сохранял в последние годы свои прежние взгляды? После всего за последние десятилетия пережитого разочарования, неизбежно порождавшегося ошибками всего рабочего движения, в частности, русских рабочих в 1917-1918 г., и немецких рабочих допустивших приход к власти Гитлера — остался ли С. Н. социалистом? Идеализация массового рабочего движения могла исчезнуть, но что он остался социалистом — в том нет сомнения. Это явно проступает во всей его критике советского строя, в том особом внимании, с которым он следил за опытом планирования хозяйства, будучи убежден, что социализм может быть осуществлен только путем сознательной (и научной) планомерной деятельности, а не стихийным процессом. Наверное более, чем когда-либо, он был убежден и в другом своем тезисе: проникновение социализма в жизнь происходит не «на следующий день» после крушения капиталистического строя, а еще при нем и в нем. Эта мысль, абсолютно чуждая большинству русских социалистов в 1911 г., — ныне нашла свое полное подтверждение. Ткань капиталистического строя современных развитых стран настолько покрыта яркими, цветными пятнами в разных формах начавшего осуществляться социализма, что о прежнем капитализме, как его описал в 1867 г. «Капитал» Маркса, не

может быть и речи. От «Капитала» остается лишь могучий призыв с максимумом зоркости следить за эволюцией капиталистического хозяйства, за всей вообще экономикой, ибо она бесспорная «база» всякого общества. И без усталости Прокопович за нею следил и ее изучал. Эта отмеченность Марксом у него осталась на всю жизнь.

От концепции 1911 г. многое может остаться, в том числе, столь хорошо уже осуществляющаяся в Швеции, идея о необходимости социалистического синтеза политического, профессионального, кооперативного движения, но многое должно в ней исчезнуть в прямой зависимости от грандиозных перемен, происшедших во всем мире, появления новых форм общественных отношений, новых перспектив, открываемых новейшей техникой, современной наукой вообще, экономической наукой и статистикой в частности. Отвечая на мой запрос, Е. Д. Кускова подтвердила, что С. Н. считал нужным возвратиться к написанному в «Проблемах социализма» и ряду вопросов дать новое освещение. Иначе и не могло быть. Следовать за эволюцией жизни для С. Н. был непреложный закон. Я догадываюсь, что им было бы, например, расширено представление об экономической организации будущего строя, совершенно выброшено из лексикона утверждение о «политическом господстве пролетариата», отвергнуто — ибо оно узко — понимание социализма только как «классового» идеала пролетариата, пересмотрена теория «пролетаризации» с учетом обнаружившегося громадного роста численности служащих (нерабочих), стойкости крестьянского хозяйства, сохранности ремесла, внесены изменения в мысль о возможности «классового сотрудничества» только в политической области, но не в экономической.

Три года назад я собирался поехать в Женеву и о всех этих актуальных вопросах переговорить с Прокоповичем, с интересом узнать, как он на них стал смотреть. Как жалею, как упрекаю себя, что это намерение не осуществил! Свершилось непоправимое...

Е. Юрьевский

КОММЕНТАРИИ

1. ЧТО ДАЛЬШЕ?

На этот вопрос, связанный с Женевской Конференцией, никакого сколько-нибудь определенного ответа никто пока дать не может. Все более или менее согласны в том, что в Женеве основные международные проблемы не только не были разрешены, но по-настоящему даже не были поставлены. Что никакие конкретные решения на первой после долгого перерыва конференции «четырех» приняты не будут — это конечно можно было предвидеть. С западной стороны вопрос так и ставился: Женева была задумана как предварительная попытка установить контакт для дальнейших переговоров, при чем заранее предполагалось, что переговоры эти займут значительный промежуток времени. Применяя заимствованную из музыки метафору, можно сказать, что имелась в виду не оперная увертюра, в которой намечаются основные *темы*, подлежащие дальнейшей разработке, а скорее нечто вроде прелюдии, устанавливающей общую *тональность* музыкального произведения.

Можно было, однако, ожидать, что обе стороны широко используют пропагандные возможности этого форума, на котором было сосредоточено внимание народов всего мира. Но и этого в сущности не произошло. Особенно неожиданной оказалась в этом отношении воздержанность советских представителей на конференции. Правда, Булганин начал с декларации общих целей советской политики. Но так как это было простое повторение многократно ранее делавшихся заявлений и притом поданное, повидимому, без всякого пропагандистского пафоса, то оно осталось без резонанса не только в зале конференции, но и за ее пределами. Достаточно указать на то, что в Женеве большевики не старались использовать ту идею нейтрализации Германии и вообще Средней Европы, которую они так усиленно пропагандировали в период, предшествовавший созыву конференции. Возможно, что одним из сдерживающих факторов было их нежелание открыть для противной стороны возможность поднять вопрос о положении в Восточной Евро-

пе, т. е. в зоне советского влияния. Возможно также, что они пришли к заключению, что в данный момент выгоднее настаивать на сохранении существующего положения, для них во многих отношениях всё еще благоприятного. Как бы то ни было, они в значительной мере ограничились тем, что может быть названо пропагандой «жестов и улыбок».

С другой стороны, и западные представители не воспользовались возможностью развернуть на конференции широкую программу юдлинного замирения мира. Единственным драматическим западным выступлением было известное предложение президента Айзенхауэра о взаимной (между Америкой и Россией) «воздушной инспекции». Что бы ни думать о его практической стороне, оно несомненно произвело достаточно сильное впечатление как доказательство доброй воли и, повидимому, в значительной мере рассеяло то, в корне ошибочное, представление о «воинственности» Америки, которое еще держалось в разных европейских странах. Оно привело в некоторое — хотя бы только временное — замешательство советскую делегацию, и в первую очередь главного делегата, Булганина, который только потом, уже в Москве, попытался взять реванш своими шуточками, немедленно же подвергшимися «разъяснению» со стороны возглавляемого им правительства. С другой стороны, оно сделало Айзенхауэра «героем дня» на конференции и укрепило его международный престиж и значение.

Но подлинное испытание «нового курса» в международной политике остается еще впереди. Можно думать, что решающей будет назначенная на октябрь конференция министров иностранных дел. На ней уже нельзя будет избежать постановки основных и в то же время совершенно конкретных проблем. Без такой конкретной программы она была бы совершенной бессмыслицей. Трудности, с которыми придется встретиться представителям западных держав, как будто бы для всех очевидны. Пока нет еще никаких указаний на то, чтобы советское правительство было готово было пойти на серьезные уступки. Четырнадцать заседаний, растянувшихся на целый месяц, понадобились для того, чтобы китайцы, несомненно согласующие свою тактику с Москвой, согласились наконец освободить незаконно ими задержанных американских граждан, а дальше перед этой конференцией стоят гораздо более серьезные вопросы. В момент, когда я пишу эту статью, окончательные результаты московских переговоров Аденауэра еще неизве-

стны, но непримиримость советской позиции в основных вопросах проявилась уже с полной ясностью. Неизвестно также, как далеко пойдет сравнительная уступчивость Малика, проявленная им при обсуждении проблемы ограничения вооружений в Организации Объединенных Наций. Это только слабый проблеск надежды, полагаться на который было бы опрометчиво.

Значит ли это, что Женевская конференция была бесполезным, а может быть даже и вредным предприятием? Как известно, мнения такого рода высказываются как в западной, так и, в особенности, в русской эмигрантской среде. Главный аргумент этих критиков конференции сводится к тому, что Женева ослабила волю к борьбе с коммунизмом — как в подвластных советской диктатуре народах, так и в народах западного мира, а среди последних к тому же возродила иллюзии насчет возможности «мирного сосуществования» с коммунистическим режимом. Более решительные критики идут даже дальше и находят возможным говорить о «позорной капитуляции» западных правительств перед советской властью. Последнее обвинение можно просто отвести — за неимением для него каких бы то ни было фактических оснований. Можно посоветовать этим критикам внимательно перечитать текст недавней филаделфийской речи президента Эйзенхауэра (24 августа с. г.). В ней они найдут категорическое заявление о невозможности принятия статус кво, построенного на «несправедливости по отношению ко многим народам» и на «угнетении человеческих существ в гигантском масштабе»; о невозможности для Америки, как бы она ни стремилась к тому, чтобы избежать войны, «продать человеческую свободу за чечевичную похлебку призрачного мира»; о том, что никакие аргументы не могут оправдать ни разделения Германии, ни иностранного господства над «плененными странами», ни существование «международного политического аппарата, действующего внутри границ суверенных государств с целью политического и идеологического их подрыва». «Мы никогда не сможем, — заключил Эйзенхауэр, — принять всё это зло, как часть того мирного соглашения, которого мы хотим и к которому мы стремимся». Как это всё похоже на «позорную капитуляцию»!

Но вернемся к критике результатов Женевской конференции в её более умеренной форме. Основной её порок заключается в том, что она, хотя и учитывает психологические факторы, дает им крайне упрощенное и однобокое толкование. Не Женевская конференция повела к усилению тяги к миру,

а наоборот повсеместное усиление этой тяги повело к созыву этой конференции. В основе своей это — вполне законное, здоровое и естественное для человеческой природы стремление. За исключением моментов пароксизма националистической лихорадки, обычно к тому же разжигаемой соответствующей пропагандой, ни один народ никогда не хочет войны. Никакая отвлеченная критика пацифизма этого факта упразднить не может. В наш век, когда, по замечательному выражению Айзенхауэра, «у мира нет никакой альтернативы» (кроме всеобщего разрушения в результате атомной войны, которая альтернативой, в смысле решения проблемы, считаться конечно не может), эта тяга к миру становится в тысячу раз более сильной и в то же время более оправданной. Никакое, сознающее свою ответственность, правительство ей противиться не может. Всё, что оно может делать, это — пытаться удержать ее в надлежащих границах и дать ей политически целесообразное направление. Но этого можно добиться не путем отрицания самой возможности мирного исхода, а только путем повторных и настойчивых попыток такой исход найти. С усиленной тягой к миру, конечно, связана опасность возникновения иллюзий, недооценки стоящих на пути к миру трудностей, ослабления бдительности и воли к самозащите — словом той неразумной и отрешенной от реальности разновидности пацифизма (правильнее было бы сказать — псевдопацифизма), которая действительно подлежит критике и с которой надо бороться. Но и для борьбы с этой опасностью нет иного пути, кроме вышеуказанного. Как ни дорого обходится такой способ обучения, приходится признать, что народы учатся только на опыте — тем методом, который англосаксы называют методом «пробы и ошибки» (trial and error method). Казалось бы, и наш собственный национальный опыт последних десятилетий должен был бы, в наших глазах, быть подтверждением этой горькой истины.

Сомнительны и утверждения критиков Женевской конференции насчет пагубного влияния, которое она может оказать на психологию подвластных коммунистической диктатуре народов. И в этом случае положение несомненно гораздо сложнее чем оно им представляется. Трудно допустить, чтобы у этих народов, едва оправившихся от пережитой ими всего десять лет тому назад военной катастрофы, тяга к миру и боязнь войны были слабее, чем у народов западного мира. Можно думать, напротив, что у них, как у наиболее пострадавших,

они еще сильнее. Утверждать поэтому, что в них всякие попытки к мирному сговору могут вызвать только разочарование, — более чем рискованно. Какова бы ни была сила их враждебности к коммунистическому режиму и сила желания от него освободиться, едва ли возможно представить себе, чтобы они готовы были купить это освобождение ценою атомной войны, т. е. самоуничтожения. Вот почему нет оснований сомневаться в достоверности показаний иностранных корреспондентов, писавших о том сочувственном интересе, с каким население Москвы следило за Женевской конференцией. Было бы странно, если бы таких настроений не было и в странах-сателлитах.

Пусть эти настроения в такой же мере заключают в себе элемент иллюзии, как и в странах западного мира. Но тогда перед советским правительством и его восточно-европейскими сатрапами встают такие же трудности и такие же опасности как и перед правительствами западными. Пусть в меньшей мере, но и им всё-таки приходится считаться с народными настроениями, вызванными «новым курсом» их международной политики. Ведь до сих пор одним из излюбленных оружий их пропаганды была идея враждебного иностранного окружения, картина агрессивного Запада, и в особенности агрессивной Америки, вот-вот готовой зажечь пожар мировой атомной войны. Эта же идея внешней опасности служила также главным аргументом в пользу необходимости дальнейших усилий и дальнейших жертв со стороны населения и для оправдания различных крутых правительственных мер. Оружием этим больше пользоваться нельзя — во всяком случае в той же мере как раньше и до тех пор, пока «новый курс» официально остается в силе. А это значит, что в какой-то степени тенденция к психологической демобилизации присуща сейчас и народам России и вообще всей советской империи.

С этим связаны еще неизбежные психологические последствия открывшейся сейчас, хотя бы и в самых скромных размерах, возможности сношения с Западом. Очень легко свети все относящиеся сюда явления к простому пропагандному трюку советского правительства, стремящегося одурачить наивных иностранцев. Легко, но мало убедительно. Дело не в намерениях советского правительства, которое, само собою разумеется, преследует при этом свои цели, а в том, какой эффект это, небольшое пока, приоткрытие железного занавеса может иметь не только на Западе, но и в России. Мы

достоверно знаем, какое большое значение имело военное сотрудничество и соприкосновение с Западом для роста «западных» настроений в Советском Союзе и какие огромные пропагандные усилия были сделаны советской властью после войны для того, чтобы эти настроения выкорчевать. И в этом отношении «новый курс» вынуждает советское правительство применять тактику, которая, каковы бы ни были ее цели, связана с риском оживления интереса и симпатии к Западу в подвластном ему населении. Игнорировать этот фактор, или даже одну возможность его возникновения, было бы политической близорукостью. Проникновение в советскую сферу даже слабой струи западного воздуха может с лихвой искупить поверхностные и скороспелые заключения наивных иностранных туристов о «настоящем положении в России». Да и не одни наивные туристы поедут в Россию: даже и только что побывавшие там американские фермеры в большинстве своем этой наивности не проявили.

Приоткрытие «железного занавеса» важно не только для русского народа, важно оно и для Запада. Всякое увеличение информационных возможностей, как бы оно ни было ограничено, должно быть оцениваемо как положительный фактор. Я знаю, что существует мнение, начисто отрицающее какую бы то ни было возможность для иностранного наблюдателя получить подлинную, не поддельную информацию о России, в силу созданных советским режимом условий. Но и это — неубедительное и неоправдываемое фактами преувеличение. В конце концов даже самая сильная и хитроумная диктатура не может прикрыть всю реальную жизнь огромной страны подобием гигантской «потемкинской деревни», построенной специально для иностранных визитеров. Давно пора отказаться от этого лубочного представления. Есть вещи, которые никак скрыть нельзя — по крайней мере от серьезных и вдумчивых наблюдателей, обладающих достаточным запасом предварительных знаний и достаточно развитой способностью к критическому анализу, умеющих отличать реальное от показного, положительное от отрицательного, подлинную народную жизнь от официального фасада. Утверждать, что таких наблюдателей в западном мире вообще нет, было бы явным абсурдом. И конечно, всякое, хотя бы малейшее, уменьшение препятствий на их пути, увеличивает ценность накапливаемой этими наблюдателями информации — ценность не только «академическую», но и политическую. В эпоху «мирного сосуществования», в

1920 и ранних 1930-ых годах, когда Россия была открыта для иностранцев в гораздо большей мере чем сейчас, далеко не одна просоветская и попутническая литература явилась результатом контакта. Появился целый ряд серьезных, обстоятельных и критических работ, сыгравших немалую и положительную роль в деле ознакомления с Советской Россией и с природой советского режима. То же самое произошло и после войны, во время которой немногочисленные иностранцы, находившиеся в России либо как официальные, дипломатические и военные, представители западных союзников, либо как корреспонденты западных газет, получили гораздо большую возможность наблюдения над русской жизнью или даже непосредственного соприкосновения с нею, чем в предвоенные годы или в последующий период «холодной войны». Для примера, можно было бы указать на достаточно внушительное число американских книг, основанных на этом опыте и, несмотря на его кратковременность, имеющих большую информационную ценность. В той мере, в какой «новый курс» открывает или может открыть такие же возможности, игнорировать при его оценке значение этого фактора было бы большой — методологической и политической — ошибкой.

Такой же ошибкой является, на мой взгляд, и огульное отрицание какой бы то ни было пользы за «культурным контактом» с Советской Россией, в форме приезда в западные страны советских ученых, писателей, артистов или хотя бы даже «колхозных деятелей», которые конечно относятся к несколько другой категории. Как правило, отрицающие пользу этого контакта идут дальше и категорически утверждают его вредность для дела борьбы против коммунистического режима. Само собою разумеется, что приезжающие из России находятся в совсем другом положении чем западные ученые, писатели, артисты и фермеры, которые уже поехали или, в случае продолжения «нового курса», еще могут поехать в Россию. Доказывать, как это сейчас с такой страстностью делается, что «культурные посланцы» из России едут на запад по правительственному наряду и что их выступления в западных странах подвержены правительственному контролю — значит ломиться в открытые двери. Но это ни в какой мере не исчерпывает вопроса. Как бы тщательно ни были подобраны эти посланцы и как бы сильна ни была их оглядка на правящую ими суровую власть, всё-таки остается возможность, более того — даже вероятность — что в душе своей они унесут в

Россию такие мысли и чувства по отношению к Западу, каких у них раньше не было и какие в намерения советского правительства никак входить не могли. И чем больше будет таких случаев, тем лучше — не для советской власти, а именно для дела борьбы с коммунистической идеологией и психологией.

Остается вопрос о влиянии, которое «культурный контакт» может оказать на людей западного мира. Что с ним будет связана опасность возникновения и укрепления политически вредных иллюзий, в какой-то мере правильно (в той же мере, в какой это правильно по отношению к общей тяге к миру, о которой я говорил выше). Но, во-первых, не следует размеров этой опасности преувеличивать: степень отталкивания от советского режима или, наоборот, более примирительного к нему отношения — будет определяться в гораздо большей степени актами советской политики и международными событиями, нежели любыми пропагандными эффектами «культурного контакта». Во-вторых — и это самое главное — в корне ошибочно представление о том, что этот контакт, поскольку он будет отражаться на психологии западного мира, непременно будет лить воду исключительно на советскую мельницу. Я уже не говорю о фантастическом, на мой взгляд, утверждении, что всякий успех советской науки, советской литературы, советского искусства за границей укрепляет политический престиж советской власти и потому должен быть признан вредным. Но подойдем к вопросу с другой стороны. Мы же сами неоднократно сетовали на то, что иностранцы смешивают Россию и русский народ с советским режимом и переносят на всё русское свою враждебность к коммунизму. И вот теперь многие из тех, кто особенно страстно против такого смешения протестовал, готовы бить в набат в связи с дружественным гостеприимством, оказанным советской земледельческой делегации местным американским населением. Между тем из всего, что мы знаем об этой поездке, совершенно ясно, что в этом приеме сказались вовсе не какие-либо симпатии к коммунизму (не надо забывать, что это произошло на американском Среднем Западе — физической и духовной родине сенатора Мак-Карти!) и даже не политические иллюзии насчет советского режима, а несколько наивная, но от этого психологически не менее значительная, радость по поводу того, что русские оказались такими же людьми, как и американцы, и что с ними можно разговаривать по-человечески. Разве это не выигрыш для того русского дела, судьбой

которого мы озабочены? Для укрепления привычки думать о России и русском народе не в неперменной связи с коммунизмом и советским режимом личное общение может оказаться гораздо более действенным, чем любые исторические и политические рассуждения на эту тему. То же самое относится, конечно, и к другой стороне в этом едва начавшемся «культурном обмене». Для психологии тех подсоветских русских людей, которым удалось встретиться с поехавшими в Россию американскими фермерами, общение с ними, как бы оно ни было ограничено, вероятно имело такое же положительное значение. И там непосредственное впечатление от живых американцев должно было столкнуться с созданным настойчивой пропагандой представлением о враждебном русскому народу «американском агрессоре», а столкнувшись — пошатнуть его, а то и окончательно рассеять.

Опасность того, что в новом международном климате, если ему суждено быть более или менее длительным, почва для чрезмерного оптимизма, для разных иллюзий и неверных интерпретаций, окажется более благоприятной, чем это было в истекшем десятилетии, — конечно остается. Но из этого не следует, что борьба с иллюзиями станет безнадежной. В заявлениях некоторых из критиков «нового курса» явно звучали ноты почти панического и по существу пораженческого настроения. Могло получиться впечатление, будто делу антикоммунистической борьбы приходит конец. Но дело этой борьбы вообще было бы безнадежным, если бы оно могло рассчитывать на успех только в моменты международных и внутренне-политических кризисов, в атмосфере военной тревоги и мировой неустойчивости. На принципе «чем хуже — тем лучше» никакой здоровой и целесообразной политики построить нельзя. И во всякой политике, преследующей цели, которые в короткий срок осуществлены быть не могут, должно быть достаточно гибкости, чтобы она могла изменять свою тактику в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Готов допустить, что при возникающих теперь новых обстоятельствах борьба с иллюзиями окажется более трудной. Весьма вероятно — и на это есть уже некоторые указания — что при попытках добиться мирного сговора с советской властью западные правительства (включая американское) сократят объем и понизят тон своей антисоветской пропаганды. Но то, что при известных обстоятельствах невозможно для официальной дипломатии, продолжает оставаться возможным для органов общественного

мнения в свободных странах. Их прямой задачей и будет борьба с опасными и вредными иллюзиями, с вольной или невольной дезинформацией, с нарушающими правильную политическую перспективу толкованиями. В эту борьбу, в меру своих сил, может и должна вложиться и эмиграция — всех тех стран, которые находятся под властью коммунистической диктатуры.

Но скажу еще раз: эта, по существу своему, пропагандистская, работа будет обречена на неуспех, если она будет носить чисто отрицательный характер. Безнадежно было бы строить ее на таких лозунгах, как например, «никаких конференций с советскими представителями!», «никаких попыток к мирному сговору с советской властью!», «никакого культурного обмена со странами, находящимися под коммунистической диктатурой!» Безнадежно не только потому, что она окажется психологически недействительной, но и потому, что она будет в несоответствии с объективным положением вещей. Нельзя закрывать глаза на происходящие в мире перемены. И было бы более чем странно думать, что в момент, когда весь мир находится в движении, в одной Советской России всё остается неизменным.

2. ЕЩЕ ОБ ЭМИГРАЦИИ

В предыдущей книге «Нового Журнала» я посвятил часть своих «Комментариев» эмигрантской политике. Из некоторых откликов на эту статью я вижу, что мои утверждения были поняты в более категорическом смысле, чем тот, который я хотел в них вложить. Мне казалось, что я сделал все необходимые оговорки, но очевидно они оказались недостаточными. Поэтому для начала постараюсь в немногих словах рассеять возникшие — или могущие возникнуть — недоразумения. Прежде всего я отнюдь не имел в виду какое-либо огульное осуждение всей политической деятельности русской эмиграции в ее совокупности. Многие из моих критических замечаний (об «осуждении» вообще лучше не говорить — на роль «судьи» я ни в какой мере не претендую), конечно, не относятся к тем серьезным и ответственным попыткам политической деятельности, наличия которых в эмиграции я нисколько не отрицаю. Знаю я и то, что среди эмигрантских политических деятелей есть люди не хуже меня (и вероятно даже лучше меня) понимающие различие между целесообразной и нецелесообразной политикой. Не отрицал я огульно и возможность политических объединений в эмигрантской среде — в тех случаях, когда до-

говаривающиеся об объединении группы достаточно одна с другой «конгениальны». Химерой я назвал только идею все-эмигрантского объединения, построенного на принципе «самого широкого фронта» и связанного с претензией на «национальное представительство». При этом речь моя шла главным образом об эмиграции в массе. Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что большинство, а может быть и ни одно, из эмигрантских политических начинаний (то же относится и к начинаниям культурным) массовой поддержки за собой не имеет — даже в тех поневоле скромных размерах, в каких она вообще возможна в условиях эмигрантского существования. И на мой взгляд основная причина этого явления лежит не в ошибках «вождей» и «партий», а в некоторых психологических особенностях самой эмигрантской «массы».

К отсутствию этой массовой поддержки я еще вернусь в дальнейшем. Сейчас же хочу обратиться к той теме, которую я только наметил в конце своей предыдущей статьи — о судьбе политической мысли и культурного творчества в русской эмигрантской жизни. В прошлый раз я высказал мнение, что работа политической мысли в эмиграции почти заглохла. Хочу пояснить, что именно я имел в виду. Казалось бы, высказываний по различным политическим вопросам в эмигрантской прессе более чем достаточно. О политике у нас говорят и пишут вероятно больше, чем о чем-либо другом. Но, во-первых, предметом обсуждения являются почти исключительно проблемы текущей политики, вопросы, имеющие политическую злободневность. Повышенный интерес к этим вопросам, конечно, вполне понятен и законен, но всё-таки это есть область политической публицистики, а не того, что можно назвать политической мыслью, в более широком и глубоком смысле слова. Обсуждение политического «сегодня» нельзя безнаказанно отделять ни от изучения и оценки связанного с ним прошлого, ни от попыток наметить перспективы дальнейшего исторического развития. Мы пережили огромный исторический опыт — не только более трагический, но и более сложный и значительный, чем тот, который выпал на долю наших отцов и дедов. Много ли сделано в нашей среде для осмысления этого опыта? Часто ли появляются в нашей эмигрантской печати посвященные ему статьи — за исключением полемически окрашенных попыток использовать его в качестве материала для ущемления политических противников? Много ли можно назвать эмигрантских книг исторического или историко-философ-

ского характера, которые бы ставили себе эту задачу? Не стоим ли мы в этом отношении в сущности перед почти пустым местом?

Не лучше обстоит дело и в области историко-политического прогноза. Спешу оговориться: я конечно не имею в виду попыток наметить ту или иную конкретную программу восстановления России на другой день после освобождения ее от коммунистического господства. Именно такие попытки время от времени делаются и именно их ценность чрезвычайно сомнительна — потому что нам не дано знать ни сроков этого освобождения, ни, следовательно, той конкретной политической, экономической и международной обстановки, с какой тогда придется считаться. Речь идет о другом — о тщательном изучении и осторожной оценке тенденций настоящего развития, заключающих в себе семена будущего. Возьмем такие кардинальные вопросы как возможность укрепления демократии в послебольшевистской России, судьбы русского народного хозяйства, формы взаимоотношения между отдельными национальностями на территории теперешнего Советского Союза, реорганизация системы народного образования — перечень этот можно было бы увеличить. Некоторых из этих вопросов эмигрантская пресса почти совсем не касается, другие — как например, вопросы о национальностях обсуждаются преимущественно в порядке страстной полемики. В лучшем случае дело не идет дальше формулировки того, что данный автор считает наиболее желательным — без объективного учета его осуществимости. Рецептов для разрешения указанных проблем эмиграция, конечно, приготовить не может — и более чем сомнительно, чтобы у нее стали такие рецепты спрашивать. Но она может — и должна была бы — накопить *материалы* и выработать *общие установки*, которые могли бы помочь в их разрешении. Почти никаких следов работы такого рода я сейчас в нашей эмигрантской среде не вижу.

Неиспользованным остается и тот специфический эмигрантский опыт, в котором, наряду с его для всех очевидными теневыми сторонами, есть всё-таки и немаловажное преимущество. Слава Богу, мы-то от внешнего мира никаким железным занавесом не отделены. Напротив, эмигрантское рассеяние по многим странам мира открыло перед сотнями тысяч русских людей такие возможности для непосредственного ознакомления с иностранной и в особенности западной жизнью, каких ни одно из предыдущих русских поколений не имело.

Но, если я не ошибаюсь, это ознакомление в подавляющем большинстве случаев носит чисто обывательский, бытовой характер. Следов достаточно широко распространенного внимания к политическому и общественному строю западных стран или к их культурной жизни — опять-таки не видно. Показательно, что у нас более охотно говорят о том, что мы даем или можем дать западному миру (в большинстве случаев — с явными преувеличениями), чем о том, чему мы можем научиться у Запада. А научиться у него мы можем многому — и в области его достижений, и путем анализа его дефектов, — и наука эта имеет самое прямое и самое жизненное отношение к попыткам решения наших собственных русских проблем. Эмиграции выпало на долю жить в эпоху растущей взаимозависимости всех областей земного шара, а в ее среде широко распространен национальный провинциализм, отсутствие внимания к международному развитию, неспособность принять его в расчет при размышлениях и высказываниях о судьбах нашей родины. Чтобы не быть голословным, укажу на то, более чем скромное место, какое — за очень немногими исключениями — международная жизнь или внутренняя жизнь западных стран занимает в эмигрантской печати. И большей частью это происходит не по вине редакторов эмигрантских периодических изданий. Эмигрантских писателей, занимающихся этими вопросами и в них компетентных, можно перечесть по пальцам, так что за статьей соответствующего содержания редактору часто не к кому обратиться. Так же обстоит дело и с проблемами русской внешней политики, которая в сознании среднего эмигранта повидимому сводится к международным махинациям советской власти, трактуемым при этом вне всякого отношения к историческому прошлому и к историческим перспективам.

Так эмиграция не выполняет одной из своих самых очевидных и самых настоятельных задач — не делает дела, к которому она по самому своему положению, можно сказать, призвана. Все мои рассуждения исходят из предпосылки, что время для этой работы еще не прошло, что перед нами — период длительного, затяжного кризиса. Но если бы каким-нибудь чудом Россия открылась для эмиграции завтра, боюсь, что ей пришлось бы возвращаться на родину с пустыми руками.

До сих пор я говорил только об односторонней сосредоточенности большинства эмиграции на политической злободневности, воспринимаемой обычно вне сколько-нибудь широкой

перспективы. Но тревожные симптомы можно найти и в том духе, в котором обсуждение этих политических проблем большей частью ведется. Дух этот таков, что позволяет сомневаться в уместности в этом контексте самого слова «проблема». Оно предполагает наличие чего-то, что еще подлежит дальнейшему выяснению, — и следовательно необходимость дальнейших умственных усилий, готовность к пересмотру установившихся представлений и оценок, к поискам новых фактических данных и возможных новых точек зрения. Между тем, следя за эмигрантской публицистикой в целом (конечно, и здесь бывают счастливые исключения), слишком часто получаешь впечатление, что пишущие и говорящие чувствуют себя одаренными своего рода «папской непогрешимостью», — так велика их уверенность в том, что не только их исходная точка зрения, но и все их конкретные выводы никакому сомнению подлежать не могут. Всё ясно, всё в сущности уже решено, а если кто с ними несогласен, то это происходит либо от полной слепоты, либо, еще того хуже, от злого умысла. При такой психологии (тем, кто в ее наличии может усомниться, рекомендую почитать хотя бы статьи по национальному вопросу, появившиеся в разных эмигрантских изданиях за последние годы) дискуссия собственно перестает быть дискуссией, так же как проблемы перестают быть проблемами. Дискуссия предполагает взаимный обмен мыслями, в процессе которого каждая сторона что-то воспринимает от другой и чему-то от нее учится. Это должно быть совместное искание истины, а не простое противопоставление взаимно непримиримых и друг для друга непроницаемых точек зрения. В наших же словесных турнирах умственно и психологически забронированные противники насакакивают друг на друга и потом один от другого отскакивают, оставаясь в полной интеллектуальной безопасности, до того их броня непроницаема. В результате вместо дискуссии получается бесплодный спор, или точнее словесная прерва, разжигающая страсти ее участников и их сторонников, но никакого разъяснения в «обсуждаемый» вопрос не вносящая. Это классический пример того спора, о котором англо-саксы говорят, что он «дает больше жару, чем свету».

В этих условиях о работе политической мысли говорить довольно трудно. А ведь в ней должна была бы состоять одна из главных функций эмиграции. В самой России развитие политической мысли почти невозможно — по очевидным для

всех причинам. И было время, когда наша эмиграция худо ли, хорошо ли, но эту функцию всё-таки выполняла. Если сравнить теперешнюю картину с той, что была в двадцатых и тридцатых годах, то впечатление происшедшего с тех пор увядания получится неотразимое. Конечно, и тогда бывали проявления тех самых нежелательных тенденций, о которых я говорил на предыдущих страницах, но наряду с этим было и другое, и удельный вес этого другого был несравненно больше, чем сейчас. Были и искания новых путей, и пересмотр ранее воспринятых представлений, и попытки установить историческую перспективу. А главное была атмосфера большой умственной свободы, большая степень объективности в подходе к политическим проблемам, которые действительно воспринимались как *проблемы* — и большая готовность к подлинной дискуссии и к взаимному интеллектуальному общению.

Нужно ли говорить, что такое же понижение уровня произошло и в области выполнения другой, казалось бы, провиденциально эмигрантской миссии — сохранения и развития русской культурной традиции? Достаточно сравнить эмигрантскую продукцию в литературе, науке, искусстве за первые двадцать лет существования эмиграции с тем, что было сделано после того, чтобы убедиться в правильности этого утверждения. Об этом уже не раз писали, в том числе и на страницах нашего журнала, и мне нет необходимости распространяться на эту тему. Хочу сказать только одно: я отказываюсь принять радикально пессимистические выводы из неоспоримого факта ослабления эмигрантской культурной работы, не хочу поддаваться связанному с такими выводами пораженческим настроениям («это неизбежно и ничего с этим всё равно не поделаешь»). Я в полной мере учитываю значение того фактора, на который пессимисты обычно указывают: общее действие «бега времени», приносящего с собою и «биологические потери», и удлинение срока отрыва от родины, и растущую денационализацию, особенно среди более молодых поколений эмиграции. Всё это конечно создает для продолжения культурной работы в эмиграции огромные трудности, но это не значит еще, что, при достаточном напряжении желания и воли, с этими трудностями нельзя бы было бороться. Самое угрожающее то, что именно этого напряжения в нашей эмиграции сейчас не видно. Говоря прямо, в эмиграции не чувствуется достаточно интереса к культурному творчеству и

культурным начинаниям. У одних это просто равнодушные к русскому культурному делу за рубежом. У других — это прохладный интерес, не сопряженный с готовностью как-нибудь этому делу помочь. Наконец, есть и такие, для которых ценность культурной работы подвержена сомнению — если только она не может быть непосредственно использована для политических целей. Книга лирических стихотворений, роман не имеющий своим предметом советской жизни, философский трактат, историческое исследование — «всё это не то, что сейчас нужно». «Единое на потребу» — это такие литературные и научные произведения, которые (даже независимо от их объективной художественной или научной ценности) могут служить оружием в борьбе против коммунизма и советской власти. Те, кто так рассуждают, забывают об одном весьма существенном обстоятельстве: отрицание автономии культуры во имя безраздельного господства политики, непризнание за художественным, философским, научным творчеством самостоятельной, независимой от политической злободневности, ценности — есть один из главных, теоретических и практических, устоев советского режима. Утверждение этого принципа, не на словах, а на деле, т. е. путем свободного культурного творчества, уже само по себе есть один из необходимых элементов борьбы с тоталитарным коммунизмом. И наоборот, подавшись соблазну сплошной «политизации» всей нашей жизни, мы станем на позицию нашего врага и в какой-то мере окажемся духовно им побежденными.

Конечно, и работа в области политической мысли, и культурное творчество не могут быть достоянием всех — и для того и для другого нужны особые способности и особая компетентность. Но даже и самый кабинетный ученый нуждается в каком-то резонансе, в хотя бы небольшой аудитории, с которой он мог бы поделиться своими мыслями. О поэтах и писателях и говорить нечего. Культурная работа в эмиграции не может быть оживлена одними усилиями самоотверженных одиночек, не встречающих со стороны эмигрантского общества ни интереса, ни сочувствия. По самой сути дела этот интерес и это сочувствие могут выразиться только самым конкретным способом — путем достаточной материальной поддержки. Речь идет не о благотворительности, а о том, чтобы книги не только читались, но и покупались. Трудно представить себе что-нибудь более плачевное, нежели теперешнее состояние русского книжного рынка в эмиграции. Ни

для кого не секрет, что сравнительно небольшое число издаваемых в эмиграции русских книг (да и журналов) имеет тираж, который трудно назвать иначе как ничтожным по сравнению с численностью эмиграции. Если бы не щедрость Фордовского Фонда сделавшего возможным существование в течение последних пяти лет Чеховского издательства*, мы бы остались при двух-трех русских издательствах небольшого масштаба, выпускающих книги только изредка. Обычно ссылаются в объяснение этого положения на эмигрантскую бедность. Нисколько не отрицая материальных трудностей эмигрантского существования, особенно в европейских странах, я всё же не могу признать этот аргумент от «бедности» особенно убедительным. Во всяком случае, здесь в Америке имеется теперь внушительное число русских эмигрантов как старых, так и новых, материально достаточно обеспеченных для того, чтобы обеспечить существование русских издательств и русских журналов — без американских субсидий и вообще без всякого меценатства. А между тем не только этого нет, но и помимо издательского дела почти никакие культурные начинания не получают со стороны эмиграции той материальной поддержки, на которую они имели бы право рассчитывать.

Стыдно в этом признаться, но в этом отношении наша эмиграция стоит далеко позади других эмиграций из Восточной Европы. И среди них далеко не все материально блестяще обеспечены. И у них не меньше политических разногласий и разделений, чем у нас. Это не мешает им однако находить в своей среде материальные средства для поддержки культурной работы, пропорционально несравненно более значительные чем те, которые уделяет на свою культурную работу эмиграция русская. Не так давно у меня был по этому поводу разговор с одним из моих друзей, принадлежащих к одной из «малых» (по численному признаку) национальностей. Выслушав мои сетования, он мне сказал: «А не происходит ли это потому, что вы, русские, принадлежите к большому и могущественному народу, культура которого давно уже получила всеобщее признание. Вот вы и чувствуете, что вам

* Следует отметить еще YMCA Press в Париже, издающее русские книги преимущественно религиозно-философского содержания. Но и это предприятие не русское, а созданное и ведущееся нашими американскими друзьями.

нечего особенно стараться, так как за вас ваше дело уже сделали и продолжают делать Толстой и Достоевский». Это было сказано без всякой иронии и могло бы быть принято за комплимент. Но внутренне я воспринял эти слова как упрек — конечно, не намеренный. Плохо наше дело, если мы действительно живем только на капитал, не нами приобретенный и нами не умноженный. Даже и для поддержания культурного престижа России во внешнем мире этого недостаточно. Для духовного же здоровья самой эмиграции успокоиться на положении такого «рантье» и, признав существующий порядок вещей, удовлетворительным, отказаться от попытки коренного его улучшения — было бы просто опасным.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

СБОРНИК ПАМЯТИ С. Л. ФРАНКА. Под редакцией протоиерея о. Василия Зеньковского. Мюнхен. 1954.

Всякая книга, посвященная памяти умершего — философа, ученого или поэта — является до известной степени его собственным посмертным произведением. За чтением сборника, посвященного С. Л. Франку, это становится особенно очевидным. Во всех статьях, в особенности статьях первой части, носящих скорее характер воспоминаний и как бы бесед с умершим другом, чем научных исследований, духовный образ С. Л. Франка светится с такой силой, что они поистине кажутся внушенными им. Причем — и это мне представляется особенно характерным, — образ покойного не только не двоится, но почти что и не колеблется. У всех участников сборника и в душе и перед глазами всё тот же С. Л. Франк: высоко даровитый оригинальный мыслитель и во всем и всегда верный себе человек. Не думаю, чтобы о ком-нибудь другом из современных русских мыслителей могла бы выйти книга такого внутреннего единства. Легко себе, например, представить, какой разброд пониманий, оценок и симпатий представлял бы собой сборник, посвященный памяти Н. А. Бердяева. Такая исключительная согласованность, как в толковании франковской философии так и в ее оценке, является, конечно, результатом внутренней цельности и личности и творчества С. Л. Франка.

Статьи В. С. Франка, Г. П. Струве и А. В. Карташева (в последней прекрасно зарисована внешность философа: «медлителен, неговорлив, с тихим голосом; бесстрастен, нерезв, нешутлив. Выразительно-лучисто улыбается лишь своими большими выпуклыми глазами. Казалось: вот такой был Адам. Такова порода первых восточных людей. Что-то по природе почтенное, даже величественное») важны, главным образом благодаря выяснению той обще-культурной обстановки, в которой в предреволюционной России, в борьбе с революционным марксизмом зарождалась и развивалась новая идеалистическая философия.

Путь, пройденный С. Л. Франком от марксизма через идеализм к религиозной философии и дальше к православию, представ-

ляет собою как бы классический пример пути, которым прошли многие русские ученые, получившие впоследствии известность не только в русско-эмигрантских, но и в широких европейских кругах. Как Франк, так и Бердяев, Булгаков, Струве — бывшие марксисты. Есть в биографии Франка черты, связывающие его развитие и с развитием Соловьева. Оба в отрочестве испытали сильное религиозное влияние своих дедов. Франк вспоминает, как дед водил его в синагогу и перед смертью просил продолжать заниматься древнееврейским языком и библией. Дед Соловьева, священник, водил внука в церковь и однажды как бы посвятил его служению Богу. Оба философа в отрочестве круто отошли от «веры отцов», но оба, пройдя критический период, отдали свои большие духовные силы научно-философскому оправданию этой веры. Сближает обоих мыслителей и их глубоко-терпимое, подлинно экуменическое настроение: став православным, Франк не отрекся от еврейства, как и Соловьев, став католиком, не отрекся от православия. Оба искали не лучшей веры, а ее вселенской полноты. По отношению к Франку об этом свидетельствует Лот-Бородин. Признавая, что метафизика Франка была, прежде всего, конгениальна неоплатонизму восточных отцов, она, в своей осторожной и тонкой статье всё же отмечает, что Франк «не только интеллектуально интересовался инославными вероисповеданиями, но им и искренне симпатизировал, особенно католицизму, ценя в нем и догматический чекан и самую структуру его дисциплинированной церковной организации, как действительно нужный оплот в современном хаосе». Такое отношение Франка к инославным вероисповеданиям вытекает и из его философско-религиозных построений. Как ученый, глубоко осведомленный в истории культуры и религии, Франк не мог не видеть, что вероисповедания в гораздо меньшей степени являются разными измерениями внутрехристианского опыта, чем разными культурно-историческими оформлениями его.

Будучи в своем экуменизме, как и во многих своих метафизических построениях, весьма близок Соловьеву, Франк стилистически выгодно отличается от своего учителя. В его философских построениях нет того, я сказал бы в стиле самого Соловьева, «отвлеченного рационализма», того, как бы оторванного от внутреннего опыта и эмпирического знания логического конструктивизма, того гладкого саморазвития, то отталкивающихся, то стремящихся друг к другу понятий, что так затрудняет чтение Соловьева.

Как с Соловьевым, так много общего у Франка и с Бердяевым. Как на пример, укажу хотя бы на учение об онтологических предпосылках гносеологии и на одинаковое истолкование учения Бэме

(Ungrund). Бердяев пишет: «у Беме Ungrund находится в Боге, у меня же — вне Бога». Ту же мысль, почти теми же словами, высказывает и Франк. Касаясь этого вопроса прот. В. Зеньковский пишет в своей статье: «Франк отходит от Беме лишь в том смысле, что «безосновность» не входит в существо Бога». Из этого совпадения вытекает целый ряд других соприкосновений, что однако никак не исключает как раз в учении о свободе весьма существенных расхождений между обоими мыслителями.

Но если у Франка по существу очень много общего с Бердяевым (как впрочем и с Соловьевым и с целым рядом других мыслителей русского ренессанса: свою большую теоретическую близость с Франком подчеркивают в своих статьях как Вышеславцев, так и Лосский), то по стилю мышления нельзя себе представить более чуждых и даже противоположных друг другу мыслителей, чем Франк и Бердяев.

Если понятия Соловьева уж очень услужливы, уж очень легко снимают всякую дистанцию между сказуемым и несказуемым, забывая характерное для всех мистиков изречение Тютчева «Мысль изреченная есть ложь», то понятия и формулы Бердяева отличаются совершенно исключительной строптивостью, каким-то революционным бунтарством; они и не пытаются справиться с «непостижимым», а стремятся лишь к его отражению и ознаменованию. На поверхностный взгляд как будто бы легкий писатель, Бердяев на самом деле является одним из самых трудных. Иероглифика его афористически-интуитивных писаний расшифровывается весьма не легко. Для людей, не очень сведущих в вопросах философии, его книги представляют собой сплошной соблазн. Начинать с них свои занятия философией никому не следует, не следует ими и кончать, т. к. они сами в себе не закончены. Всё замечательное, духовно-питательное творчество Бердяева представляет собою нерасторжимое единство большого дарования и рокового несовершенства.

Я так подробно остановился на Соловьеве и Бердяеве, чтобы установить то место, которое Франк занимает в новейшей русской философии. Думаю, что прав прот. Зеньковский, считающий, что Франку в этом развитии принадлежит первое место. Рядом с ним можно было бы назвать, пожалуй, только еще Н. О. Лосского. И Соловьев и Бердяев и больше, но и меньше чем философы. Больше всего они дают духовно-встревоженному и философски-образованному читателю не тогда, когда он вместе с ними, в их понятиях думает над вечными вопросами философии, а когда он думает о них самих, как о таинственных иероглифах непостижимой жизни. Говоря

более современным и более философским языком можно сказать, что Соловьев и Бердяев являются в гораздо большей степени философами-экзистенциалистами, чем Франк. Как всякий религиозный философ и Франк в известном виде — экзистенциалист, но и как таковой, он, прежде всего, защитник метафизики и онтологизма. Отсюда его солидная критическая фундаментация («Предмет знания»), его осмотрительные но и смелые систематические построения («Непостижимое»), его стилистическая ясность и его писательское изящество.

Дать хотя бы самое общее представление о гносеологическом, метафизическом и религиозном учении Франка с его существенными излучениями в политическую и художественную сферу — в небольшой рецензии конечно нельзя (в работах Франка по истории философии и литературы прекрасно ориентирует обстоятельная статья Д. И. Чижевского). Рецензенту не остается ничего иного, как отослать читателя к сборнику, где он найдет ряд статей с разной степенью обстоятельности и ясности освещающих все стороны философии Франка.

К сожалению, самая центральная тема этой философии: Франк и Николай Кузанский, не вполне удалась В. Н. Ильину. В его статье много глубокого, солидного знания и много живой, крылатой мысли. Всё несчастье статьи лишь в том, что она к этому знанию не снижается, а лишь заоблачно проносится над ним. Автор пишет без ясного представления о том, для кого он пишет, и, не давая себе отчета в том, что для выяснения сложного взаимоотношения между Франком и Николаем Кузанским важно и что нет. Благодаря этому случается, что на 20 строках, с пулеметной быстротой выбрасываются 26 имен лишь наскоро, как бы набегу связанных автором воедино. Связь эта остается для не слишком осведомленных читателей совершенно невнятной, а для специалистов зачастую — весьма спорной. Большая, может быть и не очень удачно сокращенная, статья не продвигается по прямой дороге, ведущей от Кузанского к Франку, а ассоциативно разбегается по сторонам, благодаря чему получается как бы случайное чередование имен и тем: Ходасевич, Тютчев, Державин, Толстой, Фет (стр. 92), Фома Аквинат, Джордано Бруно, Леснардо да Винчи, Радищев, Лосский (стр. 95) и дальше: Эдмунд Гуссерль и снова стихотворные цитаты из Тютчева и Фета. Повторяю, статья очень богата и научной эрудицией и философской мыслью, но читателю на этом богатстве ничего нешить. Ее основной недостаток прекрасно выражен эпиграфом к статье «Всё растекается и рвется вон из меры».

Полную стилистическую противоположность статье Ильина, ее,

как говорят артиллеристы, «рассеянному веянию», представляет собою «сосредоточенный огонь» в статьях прот. Г. Флоровского «Религиозная метафизика С. Л. Франка» и С. А. Левицкого «Этика Франка». Думаю, что размышления прот. Флоровского наиболее глубоко проникают в проблемы франковской мысли. Подчеркивая отказ Франка отделять веру от знания, как его основную гносеологическую мысль, прот. Флоровский правильно определяет философию Франка, как всеобразный вариант экзистенциализма, и связывает с этим недоверие Франка к «роскоши былых догматических учений и споров». Лишь очень относительно принимая эту позицию, Флоровский глубокомысленно защищает догматизм изящною формулой: «Мистическое молчание есть один из слагающих моментов подлинной религиозности, но богословское умолчание (или замалчивание) есть всегда признак религиозного упадка». Отсюда Флоровский переходит к проблеме взаимоотношения Евангелия и платонова учения в построении Франка и вскрывает, анализируя проблему взаимоотношений Бога и Мира, неслиянность христианства с платонизмом, перекликаясь здесь с прот. В. Зеньковским, статья которого заканчивается словами: «Правда, концепция всеединства Франка не вводит нас в обетованную землю христианской истины, но она уже стоит на пороге ее».

Свою вдумчивую статью С. А. Левицкий начинает с рассмотрения тех опасностей, которые носит в себе всякое учение о всеединстве. Защищая Франка от обвинения в пантеизме, явно несовместимом с христианством, и определяя позицию Франка, как панэнтеизм, Левицкий всё же осторожно указывает на то, что всякая монодуалистическая позиция часто недооценивает зло и умаляет свободу.

Быть может отчетливее чем другие авторы сборника характеризует Левицкий «непостижимое» Франка. Он убедительно показывает, что непостижимое не должно связывать с неспособностью нашего разума к постижению абсолютного. «Непостижимое — пишет Левицкий — непостижимо не только в силу ограниченности человеческого рассудка. Оно непостижимо, так сказать, и для себя самого, по самой своей природе, превосходящей рамки рациональности. Пронизывая все планы нашего бытия, оно всё же остается «явною тайной», почему самые глубокие вопросы, как напр. вопросы свободы и зла остаются рационально неразрешимыми. Зло, пишет Франк, можно только описывать, но нельзя и не должно объяснять, т. к. его объяснение было бы уже и его оправданием».

В дальнейшем Левицкий останавливается на ряде очень важных проблем: на необходимости борьбы против мирового зла, не-

смотря на его прочную укорененность в отпадшем от Бога мире, на разнице между «спасением» мира, возможным только через «обожение мира и человека» и его совершенствованием, над пониманием Франком прогресса, как «блюдения богоустановленных основ мира» и на упорной борьбе Франка против ереси утопизма.

Быть может самую глубокою проблемой, связанной с жизнью и творчеством С. Л. Франка, является проблема, затронутая в очень ценной статье Л. В. Зака. Кем был С. Л. Франк: только-ли созерцателем-философом, устремленным к Богу или уже и мистиком, знавшим тайну слияния своей души с Богом? М. Лот-Бородина цитирует следующие смиренные слова Франка: «Бог создал меня свободным философом и таким да примет Он меня в Свое лоно». Думаю, что эти слова верны по отношению к жизненному пути Франка, на котором он с редкою полнотою раскрыл свои дары. Но, судя по прикровенным словам, почти намекам Т. С. Франк и по рассказу Л. В. Зака о предсмертных часах Франка, можно как будто бы с уверенностью сказать, что ему были даны подлинно-мистические переживания. Надо думать, что возможность такого предсмертного восхождения на духовные вершины была с самого начала заложена в мыслителе Франке и что этой возможностью и объясняется глубина и значительность его творчества.

К книге приложен прекрасный портрет С. Л. Франка работы его брата Зака и очень тщательно составленная Л. А. Зандером библиография всех работ покойного. Надо надеяться, что сборник заинтересует русских читателей и по крайней мере некоторым из них откроет путь к духовно-питательным истокам русской философии.

Ф. Степун

К. МОЧУЛЬСКИЙ. *Андрей Белый.* УМСА-Press, Париж. 1955.

Из наследия недавно скончавшегося исследователя, имеющего огромные заслуги в области истории русской литературы и русской мысли, появилась книга, посвященная несомненно наиболее оригинальному представителю второго поколения русских символистов, Андрею Белому. К. Мочульским написаны книги о Гоголе, Владимире Соловьеве, Достоевском и Блоке, авторах, с произведениями и идеями которых творчество Андрея Белого связано теснейшим образом, а Гоголь и отчасти Достоевский оказали решающее влияние на художественную прозу Белого.

Новая книга Мочульскаго примыкает по типу к его двум большим работам о Достоевском и Блоке. И поэтому мы найдем в ней те же несомненные достоинства и те же недостатки. В некоторых отношениях книга стоит выше прежних работ автора. Она построена

на, как широкая биография, где литературное творчество Белого подано в теснейшей связи с историей его жизни. Биография не замыкается в тесные рамки жизни Белого, но дает широкую картину того духовного и литературного движения, участником которого он был. Таким образом эта книга, наряду с книгой автора о Блоке, дает очень много для характеристики той эпохи, которую с полным правом можно причислить к центральным эпохам в развитии русской литературы. Если еще отметить, что книга написана прекрасным языком и что автор не скупится на хорошо подобранные цитаты, то надо признать, что «Андрей Белый» Мочульского принадлежит к наиболее значительным явлениям в области истории русской литературы и русской духовной жизни за последние годы. Не следует забывать и того, что, если о Достоевском и Блоке существует обширная литература и Мочульскому при работе над книгами, посвященными этим писателям, работы предшественников, хотя бы и неудачные, могли служить исходным пунктом, то ведь о Белом, кроме крайне неудачной книги Масленникова, специальных работ нет, если не считать нескольких блестящих характеристик мемуарного и общего характера (Б. Зайцев, М. Цветаева, Ф. Степун). Автору книги пришлось обработать огромный и «распыленный» по отдельным, частью трудно доступным, изданиям материал. Этому до некоторой степени могли помочь три тома Воспоминаний Белого («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»), но отчасти они даже затрудняли работу автора, нуждаясь в постоянной проверке иным и более объективным материалом.

Если мне приходится остановиться на некоторых недостатках этой книги, то не для того, чтобы умалить ее указанные мною достоинства. Надо принять во внимание, что книга автором не была «доработана». Печатание ее производилось под наблюдением других лиц; о «недоработанности» ее свидетельствуют и «Добавления» в конце книги, содержащие весьма существенные страницы биографии, не попавшие при печатании на свое место, и некоторая путаница на стр. 40–46, где отрывки изложения содержания симфонии «Возврат» попали в иной контекст (стр. 45–46, которые должны бы были стоять в конце главы на стр. 42). Есть и ряд неясностей в формулировках, чего мы не находим в прежних работах Мочульского. Есть и отдельные неточности, напр. в изложении содержания произведений Белого (напр. изложение «Петербурга» на стр. 170; кстати на страницах, посвященных этому роману имя одного из героев «Лихутин» пишется всё время «Ликутин»). Но все эти внешние недостатки стоит упомянуть главным образом для того, чтобы снять с автора вину за *внешние* дефекты книги.

Существенное другое. Как и в других своих книгах автор придерживается «биографического метода», т. е. пытается всякое проявление художественного и идейного творчества автора вывести из тех или других переживаний поэта или мыслителя. Уже в книге о Владимире Соловьеве биографический метод искажил перспективу, в которой подана автором философия Соловьева; биографически казалось так убедительно считать *основной* «философской интуицией» Соловьева его «Софию», но этой биографической интерпретации противоречит анализ системы Соловьева в целом, даже и тот анализ, который дает тот же автор в той же книге. В книгах о поэтах и писателях биографическое «объяснение» их произведений может быть и убедительнее. Но ведь биография дает нам в первую очередь сведения о *поводах*, по которым написано то или иное произведение, и часто ничего не может сказать о тех идеологических или эстетических *основах*, из которых произведение выросло и без которых никакие поводы и побуждения к возникновению такого именно произведения привести бы не могли. По отношению к Белому такая подмена основ его творчества поводами к написанию того или иного произведения приводит часто (конечно, не всегда) к совершенно неверному впечатлению, что часть произведений Белого — личные памфлеты и литературные пасквили. Иногда повод и основа совпадают или тесно связаны (пережитые в свое время идеологические увлечения, кризисы и повороты и материал воспоминаний), но тогда к «поводу» нельзя уже относиться, как к чистому поводу, как только к поводу: внешнее событие или внутреннее переживание должно проникнуть в какую-то душевную глубину, чтобы появиться в сознании художника слова, как идея, в которой материал внешних и внутренних событий приобрел совершенно иное значение и психологический вес.

Кроме установления поводов создания произведений, биографический метод требует также «объяснения» сюжетов, тем и отдельных мотивов произведений на основе данных жизни их автора. Это мы и находим в книге. Нередко Мочульский очень удачно сводит к личным переживаниям Белого те или иные *отдельные мотивы* его «симфоний» и романов. Но по большей части сближения конкретных лиц и событий с созданными «по их поводу» художественными образами страдают невероятными натяжками. Сближение отца-Аблеухова (в «Петербурге») с отцом Белого — профессором Бугаевым, сближение Аблеухова-сына (хотя бы только в отдельных эпизодах романа) или Митеньки из трилогии «Москва» с самим Андреем Белым даже читателю, незнакомому с романами, знающему их только из изложения Мочульского, покажутся чистым произволом. Для Мочульского до-

статочны самых ничтожных мелочей для таких сближений. Для отца-Аблеухова это главным образом его «озорная поэзия» и любовь к полубесмысленным *bons mots*, отчасти жизненный педантизм, затем — некоторые элементы его чтения (Конт, Милль и т. п.). Но ведь «озорная поэзия» и «бонмотизм» — черты крайне распространенные: вспомним «озорную поэзию» Вл. Соловьева, Алексея Толстого (в полном собрании его стихотворений в «Большой Библиотеке Поэта» «озорная поэзия» занимает десятки страниц) или «шарады» в «Плодах Просвещения»! Педант-сенатор и педант-математик, конечно, совершенно различные типы, а свои философские интересы представители одного и того же поколения, конечно, удовлетворяли из тех же самых источников. На образе профессора математики Коробкина (в трилогии «Москва») отразились некоторые черты отца Белого, математика, но все жизненные отношения в семье Коробкиных совершенно не похожи на то, что мы знаем о семье Бугаевых: стареющая мать Митеньки ничем не напоминает мать-красавицу Белого; в семье большую роль играет дочь Надя, дочери у Бугаевых не было; сам Митенька, «уродец» и домашний вор, нисколько не похож на Белого!

Литературные произведения, конечно, отражают жизненный опыт их авторов, но кроме того — и их творческую фантазию и литературные и идейные мотивы их внутренней жизни. Обо всем этом в книге сказано слишком мало. Вместо этого Мочульский ищет случайных совпадений, делая из них далекозаходящие выводы: так звуковое созвучие имен Балк-Блок (в «Москве») приводит Мочульского к выводу, что в изображении кощунственной «игры в мистерию» Белый хотел дать сатиру на Блока и отсюда вывод: «Вот и всё, что осталось в памяти коммуниста (!?) Белого от мистических зорь начала века». Что осталось вовсе не только это, показывают возникшие одновременно с «Москвой» воспоминания Белого!

Существованию «образцов» литературных героев и ситуаций в жизни каждого автора противостоит тот основоположный факт, что в художественном оформлении создается образ действительности, более совершенный, чем сама действительность, — более совершенный хотя бы потому, что более последовательный. Сотни людей, учеников, коллег, знакомых видали профессора Бугаева, спорили с ним — любителем поспорить, бывали у него, в гостях, но никто не дал такого яркого образа ученого-оригинала, как Белый — вовсе не потому, что он, как сын, видал отца чаще и ближе, а потому, что Белый *художник слова!* И ведь с такой же пластичностью, как отца, Белый рисовал (не «портретировал» только) десятки других образов своих, иногда только мимолетно им встреченных знакомых. Воз-

можно, что эти рисунки очень мало соответствуют действительности, но это — такие же *художественные* образы, как и образ отца, матери, близких друзей. Когда в своей книге о Достоевском Мочульский ищет живой «образец», с которого списаны Ставрогин или Иван Карамазов, он забывает о том, что этот образец — только несовершенная *конкретная реальность*, а образы Достоевского обладают несравненно более совершенной *художественной реальностью*.

Конечно, в произведениях Белого очень сильна автобиографическая струя. Возможно, что автобиографичность — одна из характерных черт русского литературного развития вообще: вспомним такие замечательные художественные оформления собственной жизни, как «Былое и думы» Герцена, «Детство, отрочество и юность» Толстого, «Историю моего современника» Короленко, «Детство», «В людях» и «Мои университеты» Горького, еще незавершенные циклы воспоминаний А. М. Ремизова и Ф. А. Степуна и ряд автобиографических поэм (у Белого «Первое свидание»). Во всех этих произведениях сплетаются «*Dichtung und Wahrheit*». И «*Dichtung*» присоединяется к действительности по большей части помимо воли автора: автобиография всегда *интерпретация* собственного прошлого. Белый дал автобиографические повести («Котик Летаев», «Крещеный китаец») и три упомянутых тома Воспоминаний, к которым надо еще присоединить отдельные очерки, замечательные «Воспоминания о Блоке». Нельзя забывать, что они написаны в условиях, в которых Белый вынужден был дать не только *автоинтерпретацию*, но и *апологию* своего прошлого. Апологию «в принудительном порядке». И надо скорее, чем упрекать Белого за некоторые элементы его автостилизации, удивляться тому искусству с которым он сумел в своих воспоминаниях сказать многое, не соответствующее «духу» (лучше: бездушности!) времени. Но с биографическим в автобиографических произведениях Белого соединено идеологическое: «Крещеный китаец» просто роман, и здесь «тема Эдипа» (о чем у Мочульского удачные замечания, стр. 178 и след.) поглощает почти всё автобиографическое. «Котик Летаев» — «символическая феноменология духа», замыслом своим (развитие индивидуума повторяет духовную историю человечества) поразительно напоминающая «Феноменологию духа» Гегеля; в трех томах Воспоминаний масса идеологических тем, вовсе не связанных с автобиографией, таковы напр. замечательные литературные характеристики (напр. блестящая характеристика Бальмонта, — лучшее, что историк литературы мог бы сказать об этом, несправедливо почти совершенно забытом, поэте), проблема внешних причин и идеологических мотивов зарождения символизма и т. д. Иные темы — биографичны до некоторой степе-

ни, но их постановка перерастает данные автобиографии: такова напр. тема «быта» в первом томе Воспоминаний. И автобиография Белого «оформлена» в рамках таких общих тем (больше всего сходства в характере построения Воспоминаний с «Былым и думами» Герцена, где такая же широта тематики при такой же «видимой» автобиографичности). Но именно здесь возникает самый интересный вопрос, касающийся Белого, как художника: «как сделаны» его произведения.

Именно в пренебрежении к этой проблеме главная слабость книги Мочульского, при всех ее несомненных достоинствах. Биография заслоняет от Мочульского идейное содержание произведений: увидев в «Петербурге» «тему Эдипа», он не заметил или не отметил гораздо более важную тему — проблему *революции*, как отцеубийства. Но еще гораздо меньше мы узнаём из книги о стиле Белого. Положительные, иногда восторженные отзывы автора о тех или других стихотворных или прозаических произведениях Белого поддержаны только цитатами из них. Так же не мотивированы анализами и отрицательные характеристики. На читателя это производит впечатление чистого субъективизма. И во многих случаях здесь, действительно, самый безудержный субъективизм: «Крещеный китаец» представляется Мочульскому так: «слог становится проще, трезвее, логичнее», (стр. 233-4), чем в «Котике Летаеве», но достаточно просмотреть несколько страниц, чтобы увидеть, что язык Белого в «Крещеном китаец» «насыщен», «пересыщен» огромным количеством неологизмов, часто фантастических и часто непрозрачных. Фабула «Петербурга» кажется Мочульскому запутанной «суматохой подробностей», даже «бессмысленной» (170-1), но в действительности она не сложнее фабулы любого романа Достоевского. Только на каком-то, хотя бы самом беглом «показе» художественных приемов Белого можно было бы говорить о развитии его стиля: в прозе — от «симфоний» к двум большим романам, затем к поздним романам¹ и к Воспоминаниям. Совершенно субъективны и суждения о поэзии Белого. Отдельные цитаты, которые Мочульскому «напоминают» то Тютчева, то Пушкина, то Фета должен обдумать сам читатель. А мне почти все случаи отмеченных Мочульским «сходств» представля-

¹ «Москва», из которой Мочульскому остался неизвестным третий том; в нем Коробкин, вышедший из психиатрической лечебницы, его дочь, Лизаша фон Мандро — все собираются вокруг Киерко; роман заканчивается взрывом бомбы в квартире Киерко, и о судьбе героев Белый обещает рассказать в следующем томе, уже не написанном.

ются мнимыми: почти во всех цитатах слишком много от Белого и слишком мало от Пушкина, Тютчева, Фета и т. д. Между тем Тютчев и Боратынский очень и очень отразились в поэтическом творчестве Белого. Более всего, правда, Некрасов (в «Пепле», на что в книге указано).

И здесь последнее мое критическое замечание об этой книге. Символизм явление в значительной степени эзотерическое, «поэзия для поэтов», «литература для литераторов»: Брюсов, давая своим книгам «иностранные» заглавия, Белый, создавая своеобразный стиль «симфоний», конечно, прекрасно понимали, что «средний интеллигент», читатель и почитатель Апухтина и Надсона, этих книг ни покупать (разве по недоразумению), ни читать не будет. И поэтому в них множество тем, реминисценций и намеков, понятных только для «знатоков» современной литературы русской и западно-европейской, знатоков «вечных спутников» и проблем современной культуры. Масса аллюзий на сотоварищей по литературной идеологии и «врагов». В книге приняты во внимание почти исключительно русские символисты (в первую очередь Блок) и русские классики. Но даже и в области русской литературы учтено далеко не всё. Белый несомненно отозвался в своем творчестве на русский футуризм: отзвуки словотворчества Хлебникова и стихотворной техники Маяковского у *позднего* Белого многочисленны. Об этом в книге — ни слова. Еще удивительнее, что и влияние Гоголя освещено очень недостаточно (напомню, что Мочульскому принадлежит книга о Гоголе!). Если не анализировать стиля, то, конечно, приходится ограничиться общими фразами, которые и читаем в книге (стр. 157 и другие). Притом и тут сближения случайны (село Целибеево будто бы напоминает Миргород. Ничуть!)

Но еще более удивляет читателя, что такой знаток европейской литературы и культуры, как Мочульский, не замечает или не хочет замечать связей творчества Белого с европейским художественным и литературным движением его времени. Встречаем только отдельные замечания, напр. об источнике «кентавров» в раннем творчестве Белого: Мочульский упоминает Беклина, но сколько угодно кентавров и на картинах популярных в России Франца Штука и Макса Клингера. Невыяснено отношение Белого к творчеству фламандского художника Энзора. Немецкий друг Белого, Христиан Моргенштерн упоминается только как «антропософ». Между тем это замечательный оригинальный поэт, кстати наиболее яркий представитель немецкой «озорной поэзии». А художественный и литературный Мюнхен? Неужели всё это прошло без следа перед сознанием жадно впитывавшего в себя все «впечатления бытия» Белого? И достаточны

ли совсем беглые упоминания о Метерлинке и Ибсене? А сколько было других поэтов вовсе не упомянутых? Западная литература как будто не существовала для Белого. Кое-что об этом сказано кратко, неясно и сбивчиво, и всегда «мимоходом».

Мочульский — противник формалистов (150), о «шумном выступлении и бесславном исчезновении» которых он говорит, возводя их отчасти к стихологическим работам Белого (они «устарели», но в чем, об этом ничего не сказано). Но не надо быть формалистом, чтобы попытаться дать читателю понятие об особенностях стиля Белого. Однако стиль вряд ли можно связать с биографией, как ее понимает Мочульский. Биографический метод мстит применяющим его исследователям, обесценивая историко-литературную часть их работ о поэтах и писателях. Я почти не сомневаюсь в том, что моим личным заблуждением является отсутствие интереса к биографии писателей, как таковых. Но одностороннее применение биографического метода, конечно, также научное заблуждение. Биографический метод по отношению к теоретическим статьям Белого сказался в книге Мочульского только в том, что он излагает их содержание «попутно». Это очень удобно для автора, но очень неудобно для читателя, желающего получить общую характеристику взглядов Белого в их эволюции. Изложение статей Белого, часто запутанных и иногда сумбурных, в общем очень удачно, но было бы еще удачнее, главное рельефнее и ярче, если бы автор попытался дать какую-то синтетическую картину.

В целом, как уже отмечено, книга Мочульского прекрасная биография, интереснейшая картина значительной части истории русского символизма. И как такую мы должны оценить ее достаточно высоко. Но историк литературы еще должен ждать адекватной характеристики Белого, как художника слова. Многое, вероятно, было бы сказано самим Мочульским, если бы ему удалось окончательно обработать книгу. Мои замечания поэтому имеют целью не умалить его заслуги, а указать будущим работникам на их задачи и возможности...

Дм. Чижевский

Е. ЗАМЯТИН. *Лица.* Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1955. 286 стр.

В этой посмертной книге Евгения Замятина собраны свыше 20 его статей и очерков на литературные темы. Большая часть этих статей была в свое время напечатана в разных журналах, по преимуществу советских. Насколько можно установить по приложенному к книге перечню, неправильно озаглавленному «Библиография» — собственно говоря, это указатель первопечатных текстов, неточный и

небрежно составленный, — четыре статьи печатаются в этой книге впервые («Чехов», «Цель», «Генеалогическое древо Уэллса»¹ и «Для сборника о книге»), две были напечатаны только по-французски («Андрей Белый» и «М. Горький») и одна появилась в печати уже после смерти Замятина, совсем недавно, на страницах «Нового Журнала», («Встречи с Б. М. Кустодиевым»). Не предназначавшееся для печати письмо Сталину было тоже не так давно опубликовано в зарубежной печати (на это указания в «Библиографии» нет). Остальные статьи были и написаны и напечатаны в течение советского периода жизни Замятина, между 1919 и 1930 гг.

Статьи в книге распадаются на три основных группы: 1) литературные портреты и характеристики современников Замятина, основанные на личном знакомстве (Блока, Белого, Сологуба, Горького, Андреева, Кустодиева); 2) статьи критические и литературно-теоретические; и 3) статьи на тему литературы и революции. Посерединке между двумя первыми группами стоят речь о Чехове, произнесенная на вечере Московского Художественного Театра в 1925 г., и очерки об иностранных писателях: Анатоле Франсе, Герберте Уэллсе, О-Генри и Шеридане. Два последних написаны в форме предисловий к русским переводам их сочинений, причем очерк о Шеридане носит характер живо и интересно написанной биографии. Уэллсу посвящены два очерка: «Герберт Уэллс» и «Генеалогическое древо Уэллса». Первый из них, представляющий собой настоящее критическое исследование, вышел отдельной книжкой в 1922 г. В 1955 г., когда у себя на родине Уэллс более или менее предан забвению, немного странно читать восторженные страницы его русского поклонника. Но не надо забывать того, что это было писано в 1922 г., а также, что об Уэллсе как плодовитом социально-бытовом романисте Замятин говорит очень сдержанно: преклоняется он перед научной фантастикой Уэллса, к которой у него самого лежало сердце. Во всяком случае в литературе об Уэллсе очерку Замятина можно отвести видное место, а историка литературы заинтересует и его попытка установить литературную генеалогию и влияние Уэллса. Сегодняшнего читателя, может быть, еще более удивит восторженное отношение Замятина к Анатолю Франсу. Даже в 1924 г. немного странно было читать параллель между Франсом и Львом Толстым, как «вершинами» французской и русской литературы. Можно спросить: неужели, беря французскую литературу в более широком отрезке времени (и говоря только о романе), Замятин ста-

¹ Эта статья, впрочем, в «библиографии» вообще отсутствует: может быть она входила в книжку об Уэллсе? Тогда почему печатать ее под отдельным заглавием?

вил Франса выше Бальзака и Стендаля? Или, имея в виду лишь новейшую литературу, как мог Замятин забыть Пруста? Отчасти неумеренность отзыва Замятина о Франсе можно отнести за счет «некрологического» характера его статьи. Конечно, у Франса есть и сейчас поклонники и даже в какой-то мере последователи (Франсу, например, во многом обязан в своем раннем творчестве Ольдус Хаксли), и может быть потомству суждение Замятина покажется не столь уж странным и преувеличенным, как нам (литературные репутации меняются в обе стороны — и иногда неожиданно и очень быстро!) Во всяком случае сохранить для потомства суждение Замятина следовало, хотя бы уж потому, что Франс, как и Уэллс, наложил заметный отпечаток на творчество самого Замятина. Не случайно в частности, что особенно высоко Замятин ставил такую вещь, как «Восстание ангелов». Прямолинейный скептицизм, еретичество ради еретичества, несомненная враждебность христианству (или во всяком случае некоторым его сторонам), восходящие к Франсу, сказались и в художественных произведениях Замятина (например в романе «Мы», в некоторых «Нечестивых рассказах»), и в такой статье (вошедшей в настоящий сборник), как «О литературе, революции и энтропии». В «Мы», этой самой крупной вещи Замятина, как раз скрестились влияния Франса и Уэллса, хотя есть в ней и кое-что от Достоевского; есть, конечно, и собственное замятинское.

Замятинские портреты современников неравноценны. Хорошо написан и с интересом читается рассказ о встречах и совместной работе с художником Кустодиевым. Есть интересные черточки и неожиданная для сдержанного Замятина теплота в несколько разбросанном очерке о Блоке.² Гораздо слабее, ибо отвлеченнее и надуман-

² В рассказе Замятина о последнем периоде жизни Блока есть одно интересное, но вызывающее сомнения утверждение. Отмечая, что Блок всегда говорил «медлительно, металлически, холодновато», Замятин пишет, что только два-три раза он «слышал в металле острое, жало»: «Один раз он говорил так о марксизме. Другой раз — он только что прочитал заграничную *Русскую Мысль* Струве — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова. «Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи». И написал об этом очень резкую статью для невышедшей *Литературной Газеты* Союза писателей. Это было в апреле 1921 года — перед последней его поездкой в Москву». Из дневника Блока мы знаем, что он получил через кого-то (в печатном издании дневника это лицо обозначено звездочками) первый номер возобновленной П. Б. Струве в Софии «Русской Мысли». Этому номеру Блок посвятил под 20 апреля длинную за-

нее, литературный портрет Ф. К. Сологуба (кстати, непонятно, почему в тексте и оглавлении этот очерк дан под названием «Федор Сологуб», а в «библиографии» озаглавлен «Morbus rossica» с указанием, что впервые он напечатан в сборнике «Современная литература» под названием «Белая любовь»!) В коротенькой статье о Белом (правда, написанной для иностранцев) почти отсутствует элемент личной характеристики, и, несмотря на некоторые отдельные интересные замечания, она кажется слабой по сравнению с блестящим портретом Белого у Цветаевой и интересной и продуманной характеристикой у Ходасевича. Очерк о Горьком, тоже написанный для иностранцев, страдает идеализацией и умолчаниями. Малоинтересна статья о Леониде Андрееве, сводящаяся к одному небольшому анекдоту, не слишком даже характерному.

пись (шесть печатных страниц; см. «Дневник Ал. Блока. 1917-1921», под редакцией П. Н. Медведева. Издательство писателей в Ленинграде, 1928, стр. 233-39). Никаких «грубых слов», никакого возмущения в этой записи нет. Есть зато кое-что совсем другое. Блок подробно перечисляет содержание журнала. Цитирует редакционное обращение «К старым и новым читателям *Русской Мысли*» и говорит, что оно, как и весь журнал, «проникнуто острым национальным чувством». Упоминает далее «Размышления о русской революции» П. Б. Струве, «Воспоминания» кн. Е. Н. Трубецкого, статьи К. И. Зайцева «В сумерках культуры» и П. Н. Савицкого «Европа и Евразия», рассказы Бунина и Сургучева и некоторые другие вещи. Останавливается на дневнике З. Н. Гиппиус и пишет: «Это очень интересно, блестяще, большею частью, я думаю, правдиво, но — своекорыстно... Патриотизм и национализм всей *Русской Мысли* — тоже не то, что требуется. Это — правда, но *только часть...*» Еще более подробно останавливается Блок на статье Петроника (псевдоним П. Н. Савицкого) «Идея родины в советской поэзии», где идет речь и о его «Двенадцати» и «Скифах», и дает довольно длинные цитаты из нее. После этого Блок выписывает *целиком*, без комментариев, статью П. Б. Струве о софийском издании «Двенадцати», подчеркивая в ней то место, где П. Б. Струве вспоминает «вещное признание» самого Блока о том, что он принадлежит к «детям страшных лет России». Запись кончается сразу после этого указанием (ироническим?) на цену «Русской Мысли» в валюте разных стран. Как видим, ни о каком «собачьем лае *«их»* здесь нет и речи. Есть даже признание частичной правды эмиграции. А ведь Блок говорил тут наедине с самим собой. Если верить редактору 8-го тома «Собрания сочинений» Блока в издании «Советский Писатель», В. Н. Ор-

Всего интереснее в книге литературно-критические статьи и особенно те, в которых Замятин вводит читателя в свою собственную творческую лабораторию («Закулисы», «О синтетизме» — последняя по поводу портретов Анненкова дает интересный анализ «неореализма»). В отзывах Замятина о текущей литературе много меткости и бесстрашия, и они читаются с интересом и сейчас. Есть и сильные места в не предназначавшемся для печати письме к Сталину с просьбой о разрешении выезда за границу, но оно всё же производит несколько смешанное впечатление, ибо нельзя забывать, что далеко не всякий советский писатель мог даже обратиться к Сталину с таким письмом. Если ходатайство Замятина было удовлетворено, то, вероятно, как он сам говорит, он был этим обязан Горько-

лову, рукопись статьи Блока для «Литературной Газеты» затерялась. Но отрывок из нее был сначала напечатан К. И. Чуковским в его книге «Александр Блок как человек и поэт» (1924), а оттуда воспроизведен в означенном восьмом томе сочинений Блока под данным ему редактором тома названием «Отрывок статьи о белоэмигрантской печати». Редактором же этот отрывок датирован «Весна 1921 г.» Это несомненно отрывок из той статьи, о которой говорит Замятин. О «Русской Мысли» в отрывке нет ни слова, но из всего контекста ясно, что именно «Русскую Мысль», в это время им полученную и нашедшую отклик в его дневнике, он имеет в виду, когда пишет о «значительном изменении тона» зарубежной русской печати (Блок, кстати, говорит именно о зарубежной печати, а не о «белоэмигрантской») и от имени редакции «Литературной Газеты» заявляет, что «она радуется тому, что в Европе раздалась, наконец, настоящие русские голоса, что с людьми можно, наконец, спорить или соглашаться серьезно». «Возражать всякой литературной швали (продолжает Блок)... у нас никогда не было потребности, но разговаривать свободно, насколько мы сможем, с людьми, говорящими по-человечески, мы хотим». В статье действительно есть фраза о «мелких шавках», которые «визгливо лают из-за забора», но именно этим *обывательским* шавкам противопоставляются «настоящие русские голоса». А весь тон записи в дневнике свидетельствует о том, что «Русскую Мысль» Блок относил к последним. Очевидно, Замятину его разговор с Блоком, который вероятно касался и «шавок», и более серьезного отношения к зарубежной «Русской Мысли», запомнился неотчетливо. Досадно, что рукопись статьи Блока, которая, по словам Орлова, была в распоряжении Чуковского, пропала. Или она не пропала, но советские редакторы не захотели воспроизводить статью целиком?

му, хотя тот в последнюю минуту и сделал слабую попытку отговорить Замятина от его намерения. Между прочим Замятин писал Сталину: «Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде — меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком». Это предсказание Замятина не сбылось, но нельзя не отметить того, что по-настоящему к русской эмиграции Замятин не примкнул и в зарубежных изданиях участия не принимал.

Как во многих изданиях Чеховского издательства, в книге Замятина много досадных опечаток. Есть и две ошибки (одна из них, вероятно, описка), которые издательству надлежало исправить: Андрей Белый из Бориса Бугаева стал *Андреем* Бугаевым (стр. 77), а знаменитый чешский писатель Карел Чапек превратился в «Карэля Капэка» (стр. 146)! Малосодержательное анонимное предисловие от издательства производит впечатление написанного наскоро. О неряшливо составленной «библиографии», в которую последним номером вошла эта же самая «Библиография», уже упоминалось выше.

Глеб Струве

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР. Плечо с плечом. Париж. 1955.

Нам, жителям гремящего Нью-Йорка, приятно отдохнуть на стихах нашего собрата, в течение долгих лет живущего в садах французского сельского Прованса. «Тишина. Зеленый угол сада... Ничего другого не хочу». Даже завидно, несмотря на то, что мы знаем, что в этих чужих «хозяйских» садах наш поэт ведет нелегкую трудовую жизнь, при которой издание третьего сборника стихов кажется почти подвигом. В отличие от большинства поэтов «незамеченного» поколения, Екатерина Таубер в лежащих перед нами стихах на судьбу свою не жалуется. «И вот опять плечо с плечом, — И снова жизнь прекрасна в малом». — «За черною работой — Пусть месяцы и годы протекут — Благословеньем станет этот труд». Светлый оптимизм поэта уходит и за пределы земной жизни. Чем-то вещим, словно из древних заветов Вольных Каменщиков звучит стих: «Нерасторжим и вечно свят — Союз исчезнувших с живыми». В некоторых стихах Ек. Таубер перекликается с Райнер Мария Рильке. Вопреки «ахматовскому канону» на спутника жизни не только нет жалоб, но есть нечто противоположное: «Любовь росла, как дерево, годами — И с каждым годом крепла, как вино».

Голос Таубер — подчас наивно-трогательный, подчас беспощадно-точный, но чаще всего серьезный, вдумчивый и в то же время верующий, — мало похож на голоса других, живущих во Франции поэтов.

Бывает, конечно, как и у многих поэтов, что рука, ритм или синтаксис не совсем поспевают за образом или чувством, но зато бывают и находки! «К Страшному зрея Суду, кладбище тускло бежит» Или: —

«Хорошо б теперь на паперть
Храмов вековых.
Но и храм то нынче заперт,
И дорог свернулась скатерть,
Что вела до них».

Чувствуется вера в благодать и благость Божью. «Не будет храмов. Пастырей не будет, Но Он придет и стадо укрепит». И — благодарность Творцу за то, что «Солгали весны... Но осень льет густое позднее вино».

Григорий Забежинский

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

От Инст. по Изуч. Истории и Культуры СССР

- Д. КАРОВ. *Партизанское движение в СССР в 1941-45 гг.* Мюнхен. 1954.
Н. СЕМЕНОВ. *Государственное устройство и органы управления СССР и РСФСР (в схемах)*. Мюнхен. 1954.
В. П. МАРЧЕНКО. *Планирование научной работы в СССР на опыте Украинской Академии Наук*. Мюнхен. 1953.

От Изд. имени Чехова

- АНРИ ТРУАЙЯ. *В горах*. Роман. Перев. с франц. Е. Добромысловой. Н. И. 1954.
Свящ. А. СЕМЕНОВ-ТЯНЬШАНЬСКИЙ. *Отец Иоан Кронштадтский*. Н. И. 1955.
Ю. САЗОНОВА. *История русской литературы. Древний период*. Томы 1 и 2. Н. И. 1955.
АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ. *Избранные сочинения*. Под ред. проф. Н. С. Арсеньева. Н. И. 1955.
Вел. Кн. ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ. *В Мраморном дворце*. Из хроники нашей семьи. Н. И. 1955.
ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ. *Падение Франции. Вторая мировая война*. Книга III. Перев. с англ. Е. Нелединского. Н. И. 1955.
С. МАКОВСКИЙ. *Портреты современников*. Н. И. 1955.
-
- А. А. КАРЕЛИН. *Вольная жизнь*. Изд-во Профсоюза г. Детройта. 1955.
А. ГЕЙНЦЕЛЬМАН. *Священные огни*. Стихи. Изд-во Пиронти. Неаполь. 1955.
НИК. СЕРГИЕВСКИЙ. *Гишпанская затея*. Историч. роман. Второе издание. Н. И. 1955.
АНДРЕ ЧЕРЯЧУКИН-ТЦЕЦИУ. *Соната*. Рио де Жанейро. 1955.
IVAN FEDOROV'S PRIMER OF 1574. Facsimile Edition with Commentary by Roman Jakobson and Appendix by William A. Jackson. Cambridge, Mass. 1955.
OXFORD SLAVONIC PAPERS. Edited by S. Kononov. Vol. V. 1954.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

В долл.

<i>Проф. Н. Алексеев</i> — Идея государства, 412 стр.	3.00
<i>А. Бенуа</i> — Жизнь художника. Том I, 409 стр.	3.00
Том II, 404 стр.	3.00
<i>И. А. Бунин</i> — Петлистые уши и другие рассказы, 383 стр.	3.00
<i>Марк Вишняк</i> — Дань прошлому, 409 стр.	3.00
<i>Е. Замятин</i> — Лица, 282 стр.	2.50
<i>Г. П. Данилевский</i> — Сожженная Москва, 316 стр.	2.50
<i>А. И. Деникин</i> — Путь русского офицера, 382 стр.	2.75
<i>В. А. Маклаков</i> — Из воспоминаний, 410 стр.	3.00
<i>Арнольд Д. Марголин</i> — Основы государственного устройства С.Ш.А. Перевод с английского, 157 стр.	1.00
<i>Д. С. Мережковский</i> — Александр I и декабристы, 416 стр.	3.00
<i>Онорэ Морроу</i> — Свободны навеки. Перевод с английского, 419 стр.	3.00
<i>Опальные повести</i> — под редакцией В. Александровой, 426 стр.	3.00
<i>Русская лирика от Жуковского до Бунина</i> , антология под редакцией А. А. Боголепова, 409 стр.	2.75
<i>Оскар Хандлин</i> — Вырванные с корнем. Перевод с английского, 378 стр.	3.00
<i>Алексей Хомяков</i> — Избранные сочинения, под редакцией проф. Н. Арсеньева, 415 стр.	3.00
<i>Винстон Черчилль</i> — В одиночестве. Вторая мировая война. Книга IV. Перевод с английского, 372 стр.	2.75
<i>Евгений Чириков</i> — Юность, 395 стр.	3.00
<i>Александр Эртель</i> — Смена, 416 стр.	3.00

• • •

Эти книги, как и многие другие самого разнообразного содержания, можно получить в русских книжных магазинах.

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1954 ГОД

КНИГА 38-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. П. Ершов — Нинель. В. Набоков — Другие берега. СТИХИ: Георгий Иванов — Дневник. Стихи А. Величковского, И. Одоевцевой. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. Гофман — Клевета о Достоевском. В. Марков — Мысли о русском футуризме. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: В. Неведомская — Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой. Е. Брешковская — 1917-й год. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: А. Тыркова — Ф. И. Родичев. Е. Кускова — Трагедия М. Горького. Б. Вышеславцев — Ответ моим критикам. М. Карпович — Комментарии. БИБЛИОГРАФИЯ: М. Карпович — Our Secret Allies: The Peoples of Russia by E. Lyons. Н. Тимашев — Soviet Law and Soviet Society by C. Guins. Роман Гуль — Н. Клюев. Полное собрание сочинений. М. Коряков — The Five Seasons by Karl Eska. В. Коварская — Russian Icons, Introduction by Ph. Schweinfurth. Ю. Мак Лейн — Soviet Russian Literature by G. Struve. Ю. Сазонова — М. Осоргин. Письма о незначительном.

КНИГА 39-я. Содержание: ПРОЗА: М. Алданов — Бред. Игорь Гузенко — Падение титана. Петр Ершов — Нинель. Алексей Ремизов — Тонь ночи. СТИХИ: Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, М. Толстой, И. Легкой, А. Величковского, Ю. Одарченко. С. Маковский — К стихотворениям М. Волошина. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Н. Ульянов — Застигнутый ночью. С. Тарасов — Возможный автор «Слова о полку Игореве». ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Л. Дадина — М. Волошин в Коктебеле. Е. Каннак — С. Ковалевская и М. Ковалевский. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов — Выдумки о ранней революционности Ленина. Д. Иванцов — Агрономы на производстве. М. Вишняк — О Вышинском. Б. Двинов — Пораженчество и власовцы. М. Карпович — Комментарии. БИБЛИОГРАФИЯ: М. Гофман — По поводу академического издания сочинений Пушкина. Петр Ершов — Б. Зайцев. Чехов. С. Юрасов — И. Одоевцева. Оставь надежду навсегда. Глеб Глинка — Еп. Иоанн Сан-Франциский. Время веры. Г. Забежинский — Л. Алексеева. Лесное солнце. А. Гольденвейзер — А. Марголин. Основы государственного устройства США. Г. Аронсон — Глеб Глинка. На перевале. Вера Коварская — J. Croisé. Sortie de secours. М. Карпович — Марк Вишняк. Дань прошлому. Мих. Коряков — А. Ренников. Минувшие дни.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1955-м году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 40 крузейро



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня
